

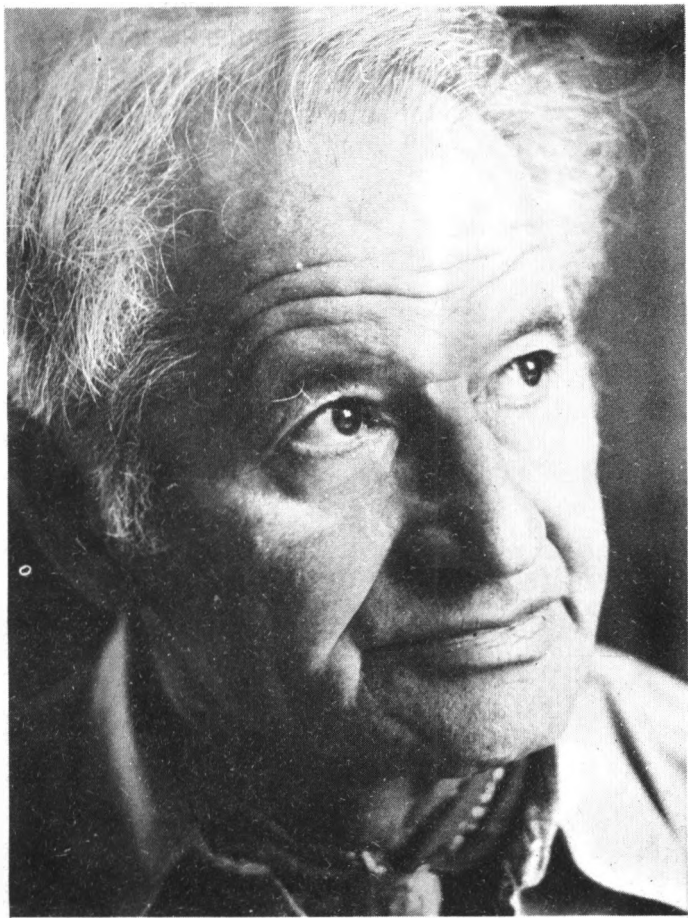


ГЕНРИ РОТ
НАВЕРНО ЭТО СОН

ГЕНРИ РОТ • НАВЕРНО ЭТО СОН



ГЕНРИ РОТ
НАВЕРНО ЭТО СОН



ГЕНРИ РОТ в Иерусалиме, 1977

(фото Ализы АУЭРБАХ)

ГЕНРИ РОТ
НАВЕРНО
ЭТО СОН



БИБЛИОТЕКА-АЛИЯ
1977

Henry Roth
CALL IT SLEEP

עיריית חיפה
מערכת תרבות הפנאי
מרכז תרבות לעולים
בית ארדיסטין - ספריה
מס. מלאי.....

1222

Перевел с английского Г. Геренштейн
Редактор И. Глозман
Художник Л. Ларский

©

ALL RIGHTS RESERVED

כל הזכויות שמורות
לספרית-עליה

ת.ד. 7422, ירושלים

היוצאת לאור בסיוע:

האגודה לחקר תפוצות ישראל, ירושלים

וקרן זכרון למען תרבות יהודית, ניו-יורק

OCR Давид Титиевский, июнь 2021 г., Хайфа

*Эде Лу Уолтон
посвящаю*

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Генри Рот родился в 1906 году в Австро-Венгрии. Ему было полтора года, когда его привезли в Америку. В двадцать восемь лет он стал американским писателем: в Нью-Йорке вышла его книга "Наверно это сон". После этой книги он замолчал на долгие годы. Как сказал впоследствии сам Рот — "конец романа был и концом романиста".

Между тем у книги сложилась собственная судьба. Роман был замечен, выдержал два издания, получил благоприятные отзывы в прессе, хотя и был зачислен критиками "не по тому ведомству": тридцатые годы в Америке — годы увлечения "социальным романом"; теоретики рассуждали в печати о новом пролетарском романе, которому принадлежит будущее. Первое произведение нового писателя, в котором глазами маленького мальчика была показана жизнь бедняков-иммигрантов, было принято как опыт этого самого пролетарского романа. Впрочем, коммунистические "Нью Мэссиз" и "Дейли Уоркер" с таким определением не согласились: роман не устраивал их своей субъективностью и интроспективностью — т. е. как раз тем лучшим, что в нем было.

Генри Рот в юности и не помышлял о том, чтобы стать писателем: он собирался быть зоологом. Но его друг, Лестер Уинтер — тоже еврей-иммигрант, только вполне ассимилированный — писал стихи, занимался современной литературой, покупал книги и снабжал ими Рота. Кроме того Лестер с самых студенческих лет был близок с преподавательницей литературы Нью-Йоркского университета, Эдой Лу Уолтон, женщиной замечательной и независимой: на Рота она тоже оказала большое влияние. Лестер постепенно превращался в "поэта-песенника", автора текстов для музыкальных комедий, что вызывало большое неудовольствие Эды. С Ротом было по-другому.

Все началось с джойсовского "Улисса". Лестер нашел эту книгу скучной. Рот прочел ее — и понял, что его собственный мир, мир еврейских иммигрантов-бедняков, гнездящихся в Нижнем Ист-Сайде — тоже материал для литературы.

Эда была первым человеком, поддержавшим его, поверившим в его литературное дарование. Он занял место Лестера в ее жизни — и стал полностью от нее зависим.

Много лет спустя Рот сказал:

— То, что я полностью зависел от Эды, делало меня еще ближе к тому ребенку, жизнь которого я описывал.

Роман "Наверно это сон" был посвящен Эде Лу Уолтон.

Роман автобиографичен. Это история трех лет жизни еврейского мальчика в иммигрантских трущобах Нью-Йорка. В начале романа мальчику шесть лет, в конце — восемь.

Нужно понять, что такое эти трущобы, и уразуметь, что когда американская критика говорит о нищете их обитателей, то это не совсем то, что подразумевает русский читатель. Дети здесь не знают голода, и ботинки на них всегда целые. Нет и настоящей безработицы — ведь это десятки годы. Отец маленького Давида не может ужиться ни на одной работе и так часто переходит с одной на другую, что семья этого стыдится. Однако его заработка им хватает на необходимое. Мать и тетка не нарадуются дешевизне продуктов. Трагедия их в другом: они безнадежно одиноки. А что такое для них Америка?

— Я знаю, что живу в номере сто двадцать шесть по Баддестрит, — говорит мать Давида, мягкая и романтическая Геня.

— ... Я знаю, что слева от меня есть церковь, справа овощной рынок, сзади железнодорожные пути и впереди, через несколько домов, магазинная витрина, замазанная известью, а на витрине рожицы... В этих пределах лежит моя Америка, и если я пойду дальше, я заблужусь. Даже, — засмеялась она, — если вымоют эту витрину, я не найду дороги домой.

— ... Я думаю, — говорит отец, раздражительный, желчный, подверженный приступам непостижимой ярости, — я думаю, что когда ты выходишь из дома на голую землю, в поля, ты тот же человек, которым был в доме. Но когда ты выходишь на мостовую, ты становишься другим. Ты чувствуешь, как меняется твое лицо.

На стене висит картинка, которую мать купила у лоточника за десять центов: высокая пшеница и васильки. Она напоминает ей об Австрии и о доме. И Давид чувствует, что

картина все время туманно возникает в его памяти, как смутное воспоминание.

Нет, они не тоскуют по старой Австрии — и они бы ни за что туда не вернулись. Во всяком случае, сестра матери, рыжая Берта, говорит: "Никогда! Слава Богу, что я вырвалась оттуда!.. Здесь все же лучше! От той тишины у меня лопались мозги".

Их одиночество — не тоска по оставленной родине. Пожалуй, это и не социальное одиночество. В конце концов в Ист-Сайде сколько угодно еврейских семей. Их одиночество — в них самих.

Одинок отец, которого гнетут тяжелые воспоминания и для которого невозможно поделиться с людьми тем, что стало черным пятном в его жизни.

Одинока мать в своей крошечной Америке. Когда-то она запоем читала романы, а теперь и в газету не заглядывает. Да и как бы она прочла? Ведь языка она не знает.

Одинок реб Идл Панковер, учитель Давида в хедере: он мучает своих учеников, и они мучают его, как могут, и почти никогда не вспыхивает между ними искра взаимопонимания.

Но больше всех одинок Давид. У него нет друзей, ему страшно в хедере, где свирепствует реб Идл, страшно на улице, где командуют большие и жестокие мальчишки, страшно дома, когда возвращается с работы отец. Только наедине с матерью ему тепло, только у нее на коленях он находит спасение, только ей он осмеливается задавать вопросы. Но самые главные вопросы остаются без ответа — потому что ей он их задать не может. Жизнь вокруг груба и непонятна, и непостижим Бог, и страшен полусумасшедший отец с его маниакальной мнительностью, и отвратительны сексуальные игры, в которые его вовлекает девочка-хромоножка, и невыносимо видеть, как чужой и неприятный человек смотрит на его мать...

В отличие от "романов социального протеста", где все характеры настолько определены экономической и культурной средой, что кажутся, по выражению американского автора статьи о романе — Уолтера Аллена, ее физиологическими выделениями, герои романа Рота выше своей среды. Они — носители древней культуры и всегда остаются ими. Рот удивительно тонко показывает это с помощью диалога. Когда обитатели Ист-Сайда говорят по-английски, их речь примитивна и корява. Но дома Давид и его родители говорят на идиш — и писатель передает их разговоры языком чистым и

правильным, богатым и гибким, точным в передаче мыслей и эмоций. Трагедия эмигрантов, покинувших общество с традиционной культурой ради общества без устойчивой культурной традиции, вообще связана с неминуемым унижением человеческого достоинства. Комическое странно переплелось с трагическим в их образах и судьбах. Страшное — а роман этот, быть может, одна из самых страшных книг о детстве — с высоко-поэтическим.

Потому что главное в Давиде — это вовсе не круг игр и ребячьих фантазий, а его художественное постижение мира. Он сын своих родителей, плоть от их плоти; необузданность отца и нежная мечтательность матери, которая так любила австрийские романы, узнаваемы в поэтическом воображении их сына. Образ пророка Исайи, о котором реб Идл рассказывает в хедере, тревожит мальчика и превращается в образ Света: "Свет! И Исайя, и этот ангельский уголь. На его губах".

И Свет, который — сам Бог: "Яркий. Ярче, чем день. Ярче".

Наступает минута, когда он ощущает этот Свет в себе самом. Минута, когда ему больше не страшна темная лестница — потому что Свет с ним и в нем.

Еще несколько раз реальный ослепительный свет, который для мальчика как бы сливается с его представлениями о Боге, с тем, который "ярче, чем день", вспыхивает на страницах романа — то как блеск солнца на воде, то как синефиолетовая молния, то как короткое замыкание. В последний раз эта вспышка чуть не оказалась для Давида роковой.

И вот этот образ света, пронизавший роман, и сообщил ему то высокое поэтическое звучание, благодаря которому он качественно отличен от бесчисленных "социальных романов". Немало романов-сверстников, вызвавших некоторый шум при своем появлении, давно уже забыто. А роман Рота пережил в шестидесятые годы второе рождение. Сейчас он переиздается снова, переводится на многие языки и говорит людям нечто такое, в чем они нуждаются.

Свет, который видел маленький Давид, вероятно, никогда не угасал в сознании автора. Но после выхода книги Рот стал членом коммунистической партии, обладавшей, по его словам, "необыкновенной притягательностью для интеллигенции", особенно для нью-йоркских евреев. Может быть, ему показалось, что тут свет перерабатывается в полезную энергию? Коммунизм казался панацеей от всех бед — от нищеты, невежества, безработицы и, конечно, антисемитизма. Но писатель-коммунист должен был найти другого героя —

”малограмотного, воинственного, твердого”. Рот и нашел его: это был бывший боксер в среднем весе, потерявший руку в результате несчастного случая. Этому герою следовало, по решению Рота, прийти к мысли о необходимости вступить в профсоюз. Чтобы описать его по-настоящему, надо было отправиться на Средний Запад — герой непременно должен был быть рабочим-христианином со Среднего Запада — и изучить историю Гражданской войны в США. И тут Рот с ужасом обнаружил, что утонченный и изнеженный Юг ему куда милее, чем трудовой и прогрессивный Север. Роман о члене профсоюза так никогда и не был написан.

В 1938 году Рот женился. У него родились два сына. Он работал — техником по точным приборам, больничным санитаром, репетитором, рабочим на птицеферме. У него и самого появилась птицеферма в штате Мэн — ”Водоплавающие Рота”. Иногда он пытался писать. Но к профессиональному писательству не возвращался.

После разоблачения ”культа личности Сталина” Рот вышел из коммунистической партии. Двадцать лет спустя, в интервью, данном ”Джерузалем Пост” в Иерусалиме, он сказал:

— По вине коммунистической партии зря растратило свой талант целое поколение писателей-евреев. Едва лишь писатель создаст что-нибудь достойное, как книгу тут же объявляют ”продуктом буржуазного разложения”...

Партийность стала путями для его таланта. Трудно писателю бесконечно спорить с самим собой. Еврейство же, которое Рот так трагически осветил в своей книге и от которого отходил все дальше в течение всей своей жизни, стало для него в последние годы источником нового самоощущения: ”В молодости все стремятся ассимилироваться, — сказал Рот, — а к старости возвращаются к еврейству”.

Он дважды приезжал в Израиль, он подумывает о том, чтобы и совсем переселиться сюда, он вновь стал писать и — вновь вернулся к еврейской теме. Новый рассказ — ”Землемер” — вошел в сборник ”Еврейские американские писатели”. Это рассказ о том, как в человеке проснулось еврейское самосознание.

ПРОЛОГ

*(Молю тебя, не задавай вопросов —
это и есть Золотая Земля)*

Маленький белый пароход "Питер Стьювезант", перевозивший иммигрантов из зловонных и тряских дешевых океанских кают к зловонным и шатким наемным квартирам Нью-Йорка, слегка покачивался у каменной набережной в тени потрепанных ненастьями бараков и новых кирпичных строений Эллис Айленда. Капитан поджидал последних служащих, рабочих и полицейских, плывущих в Манхеттен. Это был конец субботы, и пароход отправлялся в свой последний рейс. Оставшимся пришлось бы ждать до понедельника. Пароходный гудок проревел хрипло и предупреждающе.

Несколько человек в комбинезонах вышли из просторных дверей иммиграционной части и не спеша спустились по серой дорожке, ведущей к докам.

Это был май 1907 года, года, которому суждено было забросить огромное количество иммигрантов на берега Соединенных Штатов. Весь этот день, как и во все дни этой весны, палубы парохода были заполнены сотнями и сотнями иностранцев, уроженцев почти всех стран: коротко подстриженными тевтонцами с тяжелыми челюстями, бородатыми русскими, евреями с жидкими бакенбардами, покорными словацкими крестьянами, гладколицыми и смуглыми армянами, прыщавыми греками, датчанами с морщинистыми веками. Весь день кружилась на палу-

бах многоцветная смесь ярких чужеземных костюмов. Пятнистые желто-зеленые фартуки, цветистые шарфы, вышитые домотканые наряды, обшитые серебряной тесьмой овечьи жилеты, яркие платки, желтые ботинки, меховые шапки, кафтаны, тусклые до полу пальто из габардина. Весь день резкие, возбужденные голоса, возгласы восхищения, взрывы радостного удивления поднимались с палуб пестрыми волнами.

Но теперь палубы были пусты и спокойны. Их доски нежились на солнце, как бы отдыхая от напряжения, от тяжести тысяч ног. Все, кому в этот день был разрешен въезд, уже сошли на берег. Осталась лишь женщина с ребенком на руках. Она только что поднялась на палубу в сопровождении мужчины.

Во внешности этих последних пассажиров не было почти ничего необычного. Мужчина, очевидно, уже провел некоторое время в Америке и теперь встречал жену и сына с дальних берегов. Можно было предположить, что большую часть этого времени он прожил в центре Нью-Йорка. Он мало обращал внимания на статую Свободы, на город, поднимающийся из воды, и на мосты, пересекающие Ист Ривер. Но, возможно, он был слишком возбужден, чтобы терять время на эти достопримечательности. На нем была обычная для рядового жителя Нью-Йорка тех лет одежда, недорогая и неяркая. Черный котелок подчеркивал резкость черт и бледность его лица. Куртка, свободно сидящая на высокой худощавой фигуре, была застегнута доверху, где в У-образной выемке накрахмаленного воротничка помещался тугой узел черного галстука. О том, что его жена была из Европы, можно было скорее догадаться по ее робкому, удивленному взгляду, чем по одежде, так как одета она была, как американка. На ней были черная юбка, белая блузка и черный жакет. Очевидно, муж предусмотрительно послал ей эти вещи, когда она была еще в Европе, или принес их на Эллис Айленд, чтобы она надела их перед выходом.

И только ребенок на руках женщины был одет по-иностранному. Это впечатление создавалось в основном за счет голубой соломенной шляпы с лентами того же цвета в горошек, развевающимися по плечам.

Если бы ее не было, никто не смог бы выделить из толпы этих женщину и ребенка как только что прибывших иммигрантов. Они не тащили стянутых простынями огромных узлов, грузных плетеных корзинок, дорогих сердцу пуховых перин, ящиков со сладостями, бутылок с чистым оливковым маслом и редких сыров. Большая черная сумка была их единственным багажом. Но, несмотря на это, несмотря на их более чем обычную внешность, двое мужчин в комбинезонах, сидевших, развалясь, на корме, с сигаретами в зубах, с любопытством глазели на них. И старая торговка с корзиной апельсинов на коленях постоянно косила свои подслеповатые глаза в их сторону.

Все дело было в совершенно необычном поведении этих людей. И торговка, и те двое в комбинезонах видели достаточно мужей, встречающих своих жен и детей после долгой разлуки, и знали, как такие люди должны себя вести. Представители наиболее импульсивных наций, как, например, итальянцы, часто танцевали от счастья, кружились в экстазе и выделяли пируэты. Шведы порой просто разглядывали друг дружку, дыша открытыми ртами, как задыхающиеся собаки. Евреи плакали, тараторили, чуть ли не вышибали глаза своими резкими порывистыми жестами. Поляки ревели и обнимались так свирепо, словно отрывали куски тела. Англичане клевали один другого быстрыми поцелуями, и потом было видно, как влечет их друг к другу, но они никогда не доходили до объятий.

Но эти двое стояли молча, порознь. Отчужденные, обиженные глаза мужчины смотрели вниз, на воду. Он поворачивал лицо к жене лишь для того, чтобы метнуть негодующий взгляд на голубую соло-

менную шляпу мальчика. Затем зло озирался на палубу, опасаясь, что кто-нибудь наблюдает за ними. Жена смотрела на него с тревогой и мольбой. Ребенок, прижатый к ее груди, внимательно глядел испуганными глазами то на него, то на нее.

В общем, это была весьма любопытная встреча.

Они простояли так в странном молчании несколько минут, и женщина, пытаясь разрядить напряженность, улыбнулась и, коснувшись руки мужа, робко сказала:

— Так это и есть Золотая Земля, — она говорила на идиш.

Вместо ответа мужчина что-то промычал. Она вздохнула, как бы набираясь смелости, и продолжала с трепетом:

— Прости меня, Альберт, я такая глупая.

Она ждала, что его непреклонность дрогнет, что он скажет хоть слово, но ничего не услышала в ответ.

— Но ты выглядишь таким худым, Альберт, таким изможденным. И твои усы — ты сбрил их.

Его быстрый взгляд блеснул, как лезвие ножа, и угас.

— Ты, должно быть, страдал на этой земле, — она продолжала мягко, несмотря на его недовольство, — ты ни разу не написал мне. Ты похудел. Ах! Так здесь, на этой новой земле, та же старая бедность. Ты голодал. Я вижу. Ты изменился.

— Не имеет значения, — огрызнулся он, не поддаваясь ее жалости, — это не извиняет тебя. Как это ты не узнала меня? Кто еще мог прийти за тобой? Ты что, знаешь кого-нибудь в этой стране?

— Нет, — умиротворяюще ответила женщина, — но я была так напугана, Альберт. Ну, послушай меня. Я была в замешательстве. Я ждала в этой огромной комнате с самого утра. О, какое ужасное ожидание! Я видела, как они уходят, один за другим. Кузнец с детьми из Стрижа. Сапожник с женой. Все с "Кайзерин Виктория". А я — я оставалась. Завтра — вос-

кресенье. Мне сказали, что никто не сможет приехать забрать меня. А что, если бы меня отправили назад? Я была вне себя!

— Так ты меня винишь? — в его голосе была угроза.

— Нет! Нет! Ну, конечно, нет, Альберт! Я просто объясняю.

— Так дай же теперь мне объяснить, — сказал он резко, — я сделал все, что мог. Я взял день на работе. Я четыре раза звонил в эту проклятую "Гамбург-Америкен-Лайн". И каждый раз они говорили мне, что тебя нет на борту.

— У них не осталось больше билетов третьего класса, и мне пришлось взять четвертый.

— Понятно, теперь-то я знаю. Тут уж ничего не попишешь. Так или иначе, я приехал сюда. Последний пароход. А ты что делаешь? Ты отказываешься меня узнать. Ты меня не знаешь, — он уронил локти на поручень и отвернул свое негодующее лицо, — так ты меня приветствуешь.

— Прости меня, Альберт, — она робко гладила его руку, — прости меня.

— И без того эти полукровки в голубых пиджаках немало надо мной поиздевались, так ты еще дала им правильный возраст этого щенка. Не писал ли я тебе говорить — семнадцать месяцев, потому что это сэкономит половину денег за дорогу? Или ты не слышала, как я говорил с ними?

— Как я могла слышать, Альберт? — запротестовала она. — Как я могла? Ты же был по другую сторону этой... этой клетки.

— Все равно, почему ты не сказала — семнадцать месяцев? Смотри! — он указал на нескольких человек в голубых костюмах, торопившихся к набережной. — Вот они, — его голос сдавило заносчивой угрозой. — Если он среди них, тот, который так много спрашивал, я уж поговорю с ним, пускай только подойдет сюда.

— Ах, оставь его, Альберт, — воскликнула она с беспокойством, — пожалуйста, Альберт! Ну что ты

имеешь против него? Что он мог сделать. Это ж его работа.

— Что ты говоришь? — его глаза не отпускали голубые костюмы, приближавшиеся к пароходу. — Он совсем не обязан так хорошо ее делать.

— И все-таки я соврала ему, Альберт, — торопливо сказала она, пытаясь отвлечь мужа.

— Уж ты соврала, — огрызнулся он, направляя свой гнев на нее, — сначала ты соврала, а потом сказала правду. И сделала из меня посмешище!

— Я не знала, что делать, — она в отчаянии ковыряла пальцем проволочную сетку под поручнем, — в Гамбурге доктор смеялся надо мной, когда я сказала — семнадцать месяцев. Мальчик такой крупный, он родился большим, — она улыбнулась, погладив сына по щеке, и тревога тут же ушла из ее глаз. — Скажи что-нибудь своему отцу, Давид, милый.

Ребенок лишь спрятал голову за спину матери.

Отец посмотрел на него, на чиновников внизу и помрачнел, чем-то озадаченный.

— Сколько, он сказал, ему лет?

— Доктор? Больше двух, а когда я говорила, он смеялся.

— А сколько ему на самом деле?

— Семнадцать месяцев, я же сказала тебе.

— Почему же тогда ты им не сказала, что семнадцать? — он замолчал и пожал плечами. — О! В этой стране нужно быть более сильным, — он помедлил, посмотрел на нее внимательно и вдруг помрачнел. — Ты привезла его свидетельство о рождении?

— Зачем... — она казалась смущенной. — Может быть, оно в ящике, на пароходе. Я не знаю. Может быть, я его оставила, — в неуверенности она поднесла руку к губам. — Я не знаю. А это важно? Я никогда об этом не думала. Но папа может его прислать. Нужно только написать.

— Хмм! Ну ладно, опусти его, — он резко кивнул в сторону ребенка, — не нужно все время носить

его. Он достаточно большой, чтобы стоять на собственных ногах.

Она заколебалась и неохотно поставила ребенка на палубу. Испуганный, покачивающийся малыш укрылся за матерью и вцепился в ее юбку.

— Ну ладно, теперь все кончено, — она попыталась быть веселой, — теперь все позади. Правда, Альберт? Что бы я там ни натворила — теперь не имеет значения, правда?

— Представляю, что еще ждет меня! — он отвернулся от нее и угрюмо склонился над поручнем. — Прекрасно себе представляю!

Они замолчали. Коричневые тросы соскользнули с причальных тумб, и матросы на нижней палубе стали вытаскивать из воды эти намокшие стальные канаты. Лязгнул колокол. Судно дрогнуло. Чайки, плававшие перед его носом, испугались хриплого рева гудка и поднялись с зеленой воды с тонким скрипучим криком, а когда судно отвалило от каменного причала, плавно заскользили над ним на почти неподвижных, напоминающих кривые турецкие сабли, крыльях. Белый след, тянувшийся за пароходом к Эллис Айленду, начал расти и слабеть, растворяясь в зелени воды. По одну сторону изгибался темный берег Джерси, обрамленный частоколом корабельных мачт; по другую сторону поднимались над бухтой, как рога, башни Бруклина. А перед ними, над ослепительной рябью воды, озаренной заходящим солнцем, возвышалась на своем пьедестале статуя Свободы. Круглый диск солнца закатился за нее, и для тех, кто смотрел с парохода, ее черты были скрыты тенью, ее объем исчез, масса казалась сплюснутой. На фоне светлого неба лучи ее венца были как иглы мрака, проткнувшие воздух. Тень превратила ее факел в плоский крест — почерневшую рукоятку сломанного меча.

Свобода.

Ребенок и мать в изумлении смотрели на огромную фигуру.

Пароход шел по большой дуге в сторону Манхеттена. Перед его носом проплывал Бруклин. Цепи и опоры мостов сплетались вдалеке в прозрачные и жесткие волны, застывшие над Ист Ривер. Западный ветер, покрывший бухту сгустками бриллиантов, доносил свежий, соленый запах моря и играл ленточками шляпы за спиной мальчика. Это привлекло внимание отца.

— Где ты отыскала эту корону?

Испуганная внезапностью вопроса, мать опустила глаза.

— Эту? Это прощальный подарок Марии. Старой няни. Она сама купила шляпу и пришила ленту. Правда, красиво?

— Красиво? Она еще спрашивает! — он говорил, почти не шевеля худой челюстью. — Ты что, не видишь, как эти идиоты на корме уже пьют на нас зенки? Они смеются над нами! А что будет, когда мы сядем в поезд? Он выглядит в ней, как клоун. Из-за него все эти неприятности.

Резкий голос, гневный взгляд и рука, указывающая на него, напугали мальчика. Он не понимал, почему этот незнакомец так злится на него. Он прижался к матери и разревелся.

— Тихо! — прогремел голос над ним.

Съездившись, мальчик зарыдал еще громче.

— Ша, дорогой, — руки матери легли на его плечи.

— И это перед самым приездом! — прокричал взбешенный отец. — Он начинает это! Этот вой! Это что, будет продолжаться до самого дома? Тихо! Ты слышишь?

— Это ты его пугаешь, Альберт, — возразила она.

— Ах, так это я? Успокой его. Иними эту соломенную шестерню с его головы.

— Но здесь холодно, Альберт.

— Ты таки снимешь ее, когда я.., — прилив злобы не дал ему договорить, и когда жена отвернулась, его длинные пальцы сорвали шляпу с головы мальчика. В следующее мгновение она уже плыла по зе-

ленной воде за бортом парохода. Мужчины на корме переглянулись с усмешкой. Старая торговка вскрикнула и затрясла головой.

— Альберт! — у женщины перехватило дыхание. — Как ты мог?

— Я мог! — выкрикнул он. — Надо было оставить ее там! — он лязгнул зубами и торопливо оглядел палубу.

Она подняла рыдающего ребенка и прижала к своей груди. Ее отсутствующий, ошеломленный взгляд блуждал между пышущим злобой лицом мужа и кормой корабля. Шляпа еще прыгала и кружилась на серебристо-зеленой дорожке за кормой, и концы ленточек скользили по воде. В глазах женщины показались слезы. Она быстро вытерла их, тряхнула головой, как бы отбрасывая воспоминания, и отвернулась от кормы. Перед ней маячили мрачные купола и квадраты стен города. Белый дым над зубчатыми крышами бледнел в свете заходящего солнца и таял в небе. Она прижалась лбом ко лбу ребенка и шепотом успокаивала его. Это была огромная, невероятная страна, земля свободы и неограниченных возможностей, Золотая Земля. Женщина опять попыталась улыбнуться.

— Альберт, — робко позвала она. — Альберт!

— Хмм?

— Геен вир войнен ду? Ин Нью-Йорк*.

— Нейн. Бронзевиль! Их об дир шойн гешрибен.**

Она кивнула неуверенно, вздохнула...

Винты забились, упираясь в воду. "Питер Стювезант" приближался к причалу. Но продолжал медленно, по инерции, плыть, словно не хотел останавливаться.

* — Мы будем жить здесь? В Нью-Йорке?

** — Нет. В Браунсвилле. Я уже писал тебе об этом. (идиш).

КНИГА 1

ПОДВАЛ

1

Стоя перед кухонной раковиной и разглядывая яркие медные краны, блестевшие на недостигаемой высоте, и медленно набухающие, падающие капли, Давид опять почувствовал, что при создании этого мира никто не подумал о нем. Ему хотелось пить, но чугунные бедра раковины покоились на таких высоких ножках, что, как бы он ни тянулся, как бы ни прыгал, ему не достать было до крана. Откуда приходила вода, прячась в изгибах медных труб? Куда она шла, исчезая с бульканьем в отверстия раковины? Какой загадочный мир скрыт, вероятно, в стенах дома? Но ему хотелось пить.

— Мама! — позвал он, стараясь перекричать шварканье метлы в соседней комнате. — Мама, я хочу пить.

Невидимая метла остановилась и прислушалась.
— Сейчас иду, — ответила мать.

Стул взвизгнул своими колесиками, скрипнула задетая створка окна. Шаги матери приближались.

Стоя в дверях на верхней ступеньке (две ступеньки вели из кухни в комнату), мать с улыбкой смот-

рела на него. Она казалась огромной, как башня. Старое серое платье вздымалось от босых лодыжек к поясу, изгибалось на груди и широких плечах и открывало ее полную шею в рамке изношенных кружев. Ее лицо слегка покраснелось от работы. У нее были мягкие, полные губы и темные волосы. Едва заметная тень на впалых щеках придавала ее лицу с большими карими глазами сдержанное, почти скорбное выражение.

— Я хочу пить, мама, — повторил он.

— Знаю, — ответила она, спускаясь по ступенькам, — я слышала. — И, искоса глянув на него, она подошла к раковине и повернула кран. С шумом потекла вода. Мать постояла у раковины, загадочно улыбаясь и пробуя пальцем бурную струю в ожидании холодной воды. Потом наполнила стакан и подала мальчику.

— Когда я стану большим? — недовольно спросил он, беря стакан обеими руками.

— Придет время, — ответила она с улыбкой.

Она редко широко улыбалась. Чаще просто глубокая складка обозначалась над ее верхней губой.

— Потерпи немножко.

Не сводя глаз с матери, он пил большими, неровными глотками. Потом он протянул ей стакан, удивляясь тому, что воды в нем почти не убавилось.

— Почему я не могу говорить с водой во рту?

— Никто не услышит тебя. Ты напился?

Он кивнул, удовлетворенно мурлыча.

— И это все? — спросила она, явно поддевая его.

— Да, — нерешительно ответил он, ища разгадку в ее взгляде.

— Я так и думала, — покачала она головой, изображая разочарование.

— Что?

— Сейчас лето, — она показала на окно, — становится все жарче. Кого ты должен освежить своими ледяными губами?

— О! — он поднял улыбающееся лицо.

— Ты ничего не помнишь, — упрекнула она и с гортанным смехом подняла его на руки.

Погрузив пальцы в волосы матери, Давид поцеловал ее в бровь. Знакомое тепло и запах ее кожи и волос.

— Сюда! — со смехом показала она на свою щеку. — Но ты слишком медлил, и сладкий холод прошел. Губы для меня, — напонила она, — всегда должны быть холодными, как вода, которую они пьют. — Она опустила его на пол.

— Когда-нибудь я наемся льду, — предупредил он, — тогда тебе понравится.

Она засмеялась. Но потом строго сказала:

— Ты пойдешь когда-нибудь на улицу? Утро уже совсем состарилось.

— Ай!

— Иди, иди. Хоть на немножко. Я должна подмести, ты же знаешь.

— Хочу сначала календарь, — надулся он, прибегая в трудную минуту к своей привилегии.

— Получай! Но все равно ты после этого пойдешь на улицу.

Он подтащил под календарь на стене стул, вскарабкался на него, оторвал вчерашний листок и стал перебирать пальцами другие, оставшиеся до следующего красного дня. Красные дни были воскресеньями. В эти дни отец бывал дома. Давид с ужасом следил, как они приближаются.

— Ну, получил свой листок, — сказала мать. — Слезай, — она протянула руки.

Но он не хотел.

— Покажи мне мой день рождения.

— Вот горе мое! — воскликнула она с нетерпеливым смехом. — Каждый день я тебе показываю.

— Покажи еще раз!

Она полистала календарь, подняла тонкую пачку листков.

— Июнь, — шептала она, — июль, двенадцатое... Вот! — нашла она.

— 12 июля 1911 года. Тебе исполнится шесть лет. Давид посмотрел на странные цифры.

— Еще много страниц, — сообщил он.

— Да.

— И это черный день.

— В календаре, — засмеялась она, — только в календаре. А теперь слезай!

Держась за ее руку, он прыгнул со стула.

— Теперь я должен спрятать, — объяснил он.

— Еще и спрятать. Я сегодня, кажется, так и не закончу работы.

Слишком поглощенный своими делами, чтобы обращать внимание на ее жалобы, он открыл дверцу шкафа и вытащил коробку из-под ботинок, свою драгоценную шкатулку.

— Смотри, как много уже набралось, — указал он гордо на толстую пачку измятых листков в коробке.

— Замечательно! — она удивленно заглянула в коробку. — Ты снимаешь листки с года, как с кочана капусты. Ты готов идти гулять?

— Да, — он без особого рвения спрятал коробку.

— Где твоя матроска? — проворчала она. — С белыми полосками. Куда я ее...? — Она нашла матроску. — Еще дует немного.

Давид поднял руки, и мать натянула на него курточку.

— Ну, моя радость, — сказала она, целуя его. — Ступай вниз играть, — она подвела его к выходу и открыла дверь, — только не уходи очень далеко. И не приходи, пока не засвистит свисток, если я не позову тебя раньше.

Он вышел в коридор. Дверь перекрыла свет за ним, словно закрывшееся веко. Он посмотрел на лестницу, падающую вниз, в темноту. Давид не боялся остаться один на этих ступеньках, но лучше бы на них не было ковра. Как мог он слышать свои собственные шаги в темноте, если ковер глотал все звуки? А если не слышишь своих шагов и ничего не

видишь, как ты можешь быть уверен, что действительно находишься на лестнице, а не спишь? За несколько ступеней до нижней площадки он остановился и робко посмотрел на дверь подвала. Она как бы выгнулась от давящей изнутри темноты. А вдруг не выдержит?.. Но дверь держала. Он спрыгнул с последней ступеньки и побежал по узкому коридору к льющемуся с улицы свету. Давид словно нырнул в волну. Слепящий бурун солнечного света нахлынул на него, затянул его в водоворот блестящих пятен и отступил... Ряд домов, наполовину укрытых тенью, канава, урна, разинувшая рот, обломки, выброшенные на берег, — его улица.

Мигая, он ждал на низком крыльце, пока глаза привыкали к свету. Потом он увидел мальчика, сидящего на краю тротуара, и сразу узнал его. Это был Иоси. Они недавно поселились в доме Давида на верхнем этаже. У Иоси было очень красное толстое лицо. Его старшая сестра хромила и носила странные железки на ноге.

— Что это он делает, — подумал Давид, — что у него в руках?

Он спустился с крыльца и неслышно приблизился.

Иоси вытащил механизм будильника из корпуса. Оголенные медные, геометрической формы внутренности тикали, когда он их подталкивал, жужжали и замирали, позванивая.

— Еще может ходить, — обрадовал Иоси Давида.

Давид сел рядом. С интересом смотрел он на блестящие зубчики, которые двигались, тогда как соединяющие их ажурные сердцевинки оставались неподвижными.

— Отчего он ходит? — спросил Давид. (На улице он говорил по-английски.)

— Ты что, не видишь? Потому что это машина.

— Аа-а!

— Он будит моего отца утром.

— Моего отца он тоже будит.

— Он говорит, когда надо есть и когда спать. Вот здесь видно, но я снял стрелки.

— А у меня дома есть календарь, — сообщил Давид.

— А у кого нет календаря?

— Я сохраняю свой. У меня уже большая книжка с номерами.

— А кто не может так?

— Но его сделал мой отец, — это была главная деталь в истории с календарем.

— А кто твой отец?

— Он печатник.

— А мой работает в ювелирном магазине. В Бруклине. Ты когда-нибудь жил в Бруклине?

— Нет, — покачал головой Давид.

— А мы жили, прямо рядом с папиным магазином на Рейни Авеню. Где работает твой отец?

Давид задумался.

— Не знаю, — признался он наконец, надеясь, что этот вопрос не заинтересует Иоси.

Но Иоси сказал:

— Мне не нравится Браунсвилл. Мне больше нравится Бруклин. Мы там находили сигары в канаве. Мы их бросали в теть и убегали. Кто тебе больше нравится, тети или дяди?

— Тети.

— А мне нравится мой отец, — сказал Иоси, — мать всегда кричит на меня.

Он вставил ноготь между двумя колесиками. Яркая желтая шестеренка вдруг отскочила и упала в канаву у его ног. Он поднял ее и сдул пыль.

— Хочешь?

— Да, — Давид протянул руку.

Иоси уже хотел положить шестеренку на его ладонь, но вдруг передумал.

— Нет, она как пенни. Я ее брошу в автомат и получу резинку. Вот, возьми лучше эту, — он выудил из кармана шестеренку покрупнее и дал ее Давиду. — Она как двадцать пять центов. Пойдем, попробуем?

Давид застеснялся.

— Я должен ждать здесь, пока засвистит свисток.

— Какой свисток?

— На фабрике.

— Ну и что?

— Ну и тогда я смогу пойти домой.

— Почему?

— Потому что они свистят в двенадцать, а потом в пять. Тогда я могу идти.

Иоси моргал, не понимая.

— А я пойду куплю резинку, — сказал он, стряхнув с себя недоумение, — в автомате.

И он затрусил к магазину на углу.

Разглядывая свою шестеренку, Давид опять подумал, что все мальчишки на улице знали, где работают их отцы, а он не знал. У его отца было так много работ. Только узнаешь, где он работает, а он уже переходит в какое-нибудь другое место. И еще он всегда говорил: "Они смотрят на меня с насмешкой. Они издеваются надо мной. Сколько человек может вытерпеть? Да поглотит их огонь Божий!"

Ужасная картина вставала перед глазами Давида — воспоминание о том, как однажды за ужином мать посмела сказать, что, может, они вовсе не издеваются над ним, а ему только так кажется. Отец взревел. И в приступе гнева смел со стола всю посуду и еду.

И другая картина проносилась вслед за ней.

Дверь, распахнутая ударом ноги, бледный отец, входящий с диким видом в комнату и садящийся, как салятся старики, ища дрожащей рукой стул позади себя. Он молчит. Его челюсти и даже суставы, казалось, сплавлены в огне бешенства. Давиду часто снились шаги отца на лестнице, блеск дверной ручки и он сам, не могущий поднять со стола огромный нож.

Поглощенный своими мыслями и созерцанием блестящей шестеренки, Давид не заметил, как недалеке от него собралась небольшая группа дево-

чек. Но когда они начали петь, он вздрогнул и посмотрел на них. Их лица были строги, они держались за руки. Медленно двигаясь по кругу, они пели невыразительными гнусавыми голосами:

”Вальтер, Вальтер, Вальдфлавер,
Вырос так высоко.
Мы юные все леди
Готовы умереть”.

Снова и снова повторяли они эту бессмыслицу. Их слова, непонятные поначалу, вдруг обрели смысл. Песня странно взволновала Давида. Вальтер Вальдфлавер был маленьким мальчиком. Он жил в Европе, далеко, там, где, по словам мамы, родился и он сам. Давид видел его стоящим далеко на холме. Охваченный теплой ностальгической скорбью, Давид закрыл глаза. Видения забытых рек заскользили под его веками, пыльные дороги, непостижимые изгибы деревьев, ветка в окне под ясным небом. Далекий, недостижимый мир...

”Вальтер, Вальтер, Вальдфлавер,
Вырос так высоко”.

Его тело расслабилось, подчиняясь ритму песни и золотому июньскому солнцу. Казалось, он поднимался и падал на волнах где-то далеко, где его не было. Ему казалось, он слышит голос, но это были не слова, а колебание пламени...

”Мы юные все леди
Готовы умереть”.

Из ослабевших, негнущихся пальцев колесико выкатилось на землю, звякнуло, как монетка, и повалилось на бок. Этот звук вспугнул его, вернул на землю, на тротуар тихой улицы городского предместья. Неуловимое пламя, что пульсировало в нем, дрогнуло и угасло. Он вздохнул и поднял шестеренку.

Когда же засвистит этот свисток. Как долго он молчит сегодня...

Насколько он мог помнить, он впервые остался один на один с отцом и уже чувствовал себя несчастным. Его терзали мрачные предчувствия, хотелось к маме. Отец был так молчалив и отчужден, что Давид ощущал одиночество, даже держась за его руку. А вдруг он бросит его, оставит на какой-нибудь пустынной улице. При этой мысли Давид задрожал от ужаса. Нет! Нет! Отец этого не сделает!

Наконец они дошли до троллейбусной остановки. Вид людей подбодрил его, рассеял на время страхи. Они сели в троллейбус и после бесконечной езды сошли на людной улице, под линией надземки. Нервно схватив Давида за руку, отец перевел его через улицу. Они остановились у закрытых чугунных ворот театра. По обеим сторонам ворот висели яркие афиши, пахло несвежей парфюмерией. Торопливо двигались люди, грохотали поезда. Давид испуганно озирался. Справа от театра, в витрине танцевали в потоке воздуха цветные кукурузные хлопья. Он с тревогой посмотрел на отца. Тот был бледен и мрачен. Тонкие жилки выступили на его носу, как розовая паутина.

— Видишь ту дверь? — отец дернул руку мальчика, требуя внимания. — В сером доме. Видишь? Откуда сейчас вышел человек.

— Да, папа.

— Сейчас ты войдешь туда, поднимешься по лестнице и увидишь еще одну дверь. Откроешь ее и скажешь первому, кого там встретишь: "Я сын Альберта Шерла. Он хочет, чтобы вы дали мне его одежду из шкафчика и деньги, которые ему причитаются". Ты понял? Когда тебе все это дадут, вернешься сюда. Я буду тебя ждать. Повтори, что надо сказать! — потребовал он.

Давид начал повторять на идиш.

— Говори по-английски, дурак!

Когда отец убедился, что Давид все запомнил, он подтолкнул его вперед.

— И не говори им, что я здесь, — предупредил он, — запомни, ты пришел один!

Мучась от страха перед встречей с незнакомцами, которых, казалось, боялся его отец, мальчик вошел в дверь и поднялся по лестнице. На втором этаже он толкнул дверь и вошел в маленькую контору. За стеной стучали и позванивали станки. Лысый мужчина с сигарой во рту посмотрел на него.

— Ну, мой мальчик, — сказал он, улыбаясь, — что тебе надо?

На мгновение все инструкции вылетели у Давида из головы.

— Мой... мой отец послал меня, — заикался он.

— Твой отец? Кто же это?

— Я... я сын Альберта Шерла, — промямлил Давид, — он послал меня... вы должны ему одежду и деньги.

— А, ты сын Альберта Шерла, — сказал мужчина, и выражение его лица изменилось. — И он хочет свои деньги, да?

Давид быстро закивал, и его голова стала похожа на звенящий колокольчик.

— Да, не повезло тебе с папашей, парень. Можешь это передать ему от меня. Я не имел возможности сам сказать ему. Он сумасшедший. Каждый, кто... Чем он занимается дома?

Давид виновато склонил голову:

— Ничем.

— Ничем? — усмехнулся мужчина. — Ничем. Да, — он умолк и подошел к маленькому окошку в стене. — Эй, Джо, — позвал он, — пойдика сюда на минуту!

Через несколько секунд в комнату вошел седой человек в комбинезоне.

— Звали, мистер Лоб?

— Да, возьми, пожалуйста, вещи Шерла и заверни их во что-нибудь. Его сын здесь.

Лицо седого скривилось в усмешке:

— Это его малыш? — сдерживая смех, он пошевелил языком жевательный табак у себя за щекой.

— Да.

— Он не выглядит сумасшедшим, — прыснул он.

— Нет, — мистер Лоб остановил его взмахом руки, — он хороший парень.

— Твой старик чуть не проломил мне голову молотком, — сказал седой Давиду. — Не знаю, что нашло на него, никто ничего ему не сказал, — он усмехнулся. — Никогда не видел ничего подобного, мистер Лоб. Пресвятой Иисусе, он, казалось, взорвется. Вы видели железку, которую он согнул руками? Нужно отдать ее ему как сувенир.

Мистер Лоб улыбнулся:

— Оставь ребенка в покое, — сказал он, — принеси вещи.

— О кэй, — все еще усмехаясь, седой вышел.

— Садись, мальчик, — сказал мистер Лоб, указывая на стул, — сейчас принесут вещи твоего отца.

Давид сел. Через некоторое время в контору вошла девушка с газетой в руках.

— Мардж, — попросил ее мистер Лоб, — посчитай, сколько мы должны Шерлу.

— Сейчас, мистер Лоб, — она заметила Давида, — это кто, сын его?

— Ага.

— Похож на него, правда?

— Может быть...

— Я бы отца арестовала, — сказала она, открывая большую папку.

— Что бы это дало?

— Не знаю, быть может, стал бы разумнее.

Мистер Лоб пожал плечами:

— Слава Богу, что он никого не убил.

— Следовало бы засадить его в подземелье, — сказала девушка, царапая что-то на бумаге.

Мистер Лоб ничего не ответил.

— Ему причитается шесть шестьдесят два, — она отложила карандаш, — достать их?

— Угу.

Девушка подошла к большому черному сейфу в углу, отсчитала деньги, положила в конверт и подала мистеру Лобу.

— Иди сюда, — сказал мистер Лоб Давиду, — как тебя зовут?

— Давид.

— Давид и Голиаф, — он улыбнулся, — ну, Давид, есть у тебя хороший глубокий карман? Давай посмотрим. Вот то, что мне нужно. Положим деньги сюда, — он сложил конверт и положил его в карман на груди Давида. — Теперь не вынимай его. И не говори никому, что у тебя деньги, пока не придешь домой, понял? Что за мысль посылать такого ребенка за деньгами?

Давид увидел за спиной мистера Лоба двоих в маленьком окошке. Они глазели на Давида с любопытством и удивлением, будто разглядывали какого-то небывалого уродца. Оба улыбнулись девушке, когда она случайно посмотрела в их сторону. Один из них подмигнул и повертел пальцем у виска. Мистер Лоб обернулся, и они исчезли. Вошел седой мужчина с бумажным свертком.

— Вот все, что я мог найти, мистер Лоб. Его полотенце, ботинки и куртка.

— Хорошо, Джо, — мистер Лоб взял у него пакет и повернулся к Давиду. — Вот, мой мальчик. Держи под мышкой и не теряй. Тебе не тяжело? Ну и ладно, — он открыл дверь. — Всего хорошего, — сухая усмешка пробежала по его лицу, — не легко тебе.

Крепко держа сверток под мышкой, Давид медленно спускался по лестнице. Так вот как отец кончил эту работу! Он держал в руке молоток и мог убить кого-нибудь. Давид почти видел его — с молотком над головой, с лицом, искаженным гневом, — и бегущих от него людей. Он содрогнулся от этого видения и замер на лестнице, как бы оттягивая момент встречи с реальностью. Но он должен спуститься, должен подойти к отцу. Будет хуже, если он оста-

нется на лестнице. Он не хотел идти, но должен был. Если бы лестница была вдвое длиннее!

Он торопливо вышел на улицу. Отец ждал его, прижавшись спиной к решетке, и когда Давид показался, нетерпеливо махнул ему рукой и двинулся по тротуару. Давид бросился за ним, догнал его, наконец, и отец, не замедляя шага, взял у него сверток.

— Как они долго возились, — сказал он и бросил через плечо снисходительный взгляд (судя по лицу, он сильно нервничал, пока Давид отсутствовал). — Тебе дали деньги?

— Да, папа.

— Сколько?

— Шесть... шесть долларов, девушка...

— Они говорили тебе что-нибудь? — его зубы скрипнули. — Обо мне?

— Нет, папа, — ответил Давид торопливо, — ничего, папа. Мне просто дали деньги, и я ушел.

— Где они?

— Здесь, — Давид показал на карман.

— Ну, давай же сюда!

С трудом Давид вытащил конверт из кармана. Отец выхватил его и пересчитал деньги.

— Так ничего они и не сказали, а? — казалось, он требовал еще подтверждений. — Ни один из них не говорил с тобой, да? Только эта лысая очкастая свинья? — отец посмотрел на него, прищурясь.

— Нет, папа. Только этот дядя. Он просто дал мне деньги, — он знал, что должен казаться искренним под пристальным взглядом отца.

— Очень хорошо! — губы отца на секунду удовлетворенно расслабились. — Хорошо!

Они стояли на углу и ждали троллейбус.

Давид не сказал никому, даже матери, о своем открытии — оно было слишком ужасным, чересчур фантастичным, чтобы делиться с кем-нибудь. Он размышлял об этом, пока не заснул, пока уже нель-

зя было сказать, где реальный отец, а где сон. Кто поверит ему, если он скажет: "Я видел, как мой отец поднимал молоток"?"

Он стоял на высокой крыше в темноте, а внизу были обращенные к нему лица, очень много лиц, они простирались, как булыжники, до края света. Кто поверит ему?

Он не смел говорить.

3

На столе стояли самые праздничные тарелки. В духовке жарился цыпленок. Мать переливала остатки пасхального красного вина из оплетенной бутылки в пузатый графин. Она все время казалась спокойной, но, поставив графин в центр стола, повернулась к наблюдавшему за ней Давиду:

— Я что-то чувствую. Не знаю что, — сказала она, — тревогу.

Минуту она скорбно смотрела в пространство, потом развела руками, как бы спрашивая себя, в чем дело, и, вздохнув, уронила их, не найдя ответа.

— Возможно, это оттого, что нам суждено потерять и эту работу.

Давид не мог понять, к чему это относилось, но потом вспомнил. Они ждали человека, чье имя не сходило с отцовых уст уже целую неделю — с тех пор, как он получил новую работу. Этот человек был начальник. Отец говорил, что они выходцы из одного района в далекой Австрии. Как странно было, что они, приехав издалека и встретив друг друга в цеху, обнаружили, что живут по соседству в Браунсвилле. Отец говорил, что, наконец, он нашел настоящего друга, но мама вздыхала. И сейчас вот — опять вздохнула и сказала, что им суждено потерять эту работу. Давиду очень хотелось, чтобы она ошиблась. Он хотел быть, как другие мальчики на улице, говорить уверенно, где работает его отец. Вскоре он

услышал голос отца на лестнице. Мать встала, оглядела комнату в последний раз и пошла открывать дверь. Вошли двое мужчин, сначала отец, за ним гость.

— Ну вот, — произнес отец нервно, но сердечно, — это моя жена. Это Джо Лютер, мой соотечественник. А вот этот, — он указал на Давида, — будет молиться за меня после моей смерти. Чувствуй себя как дома.

— Какой у вас милый дом, — сказал гость, улыбаясь матери Давида, — очень, очень приятно, — его лицо сияло.

— Жить можно, — ответила мать.

— И такой милый мальчик, — он посмотрел на Давида с одобрением.

— Ну ладно, — резко сказал отец, — давайте обедать, а!

Пока отец уговаривал Лютера выпить вина, Давид рассматривал гостя. Он был ниже отца, но намного шире, мясистее и, в отличие от него, имел небольшое брюшко. К его лицу было довольно трудно привыкнуть. Оно не было безобразным или пугающим, но, глядя на него, человек чувствовал, что невольно начинает подражать его мимике. У Лютера был маленький рот, а губы так толсты и скруглены, что Давид с нетерпением ждал, когда они расправятся. Его ноздри раздувались, что придавало лицу напряженность. И очень хотелось, чтобы глубокие складки на щеках разгладились. Он говорил очень медленно и ровно. К собеседнику был терпим и внимателен. Его лицо часто согревала улыбка. Все это создавало впечатление приветливости и добродушия. Очень скоро выяснилось, что он был не только приветлив, но и очень почтителен и вежлив.. Он в теплых выражениях похвалил вино и поданный к нему пирог, опрятность дома по сравнению с его собственным, который велся хозяйкой квартиры, и, наконец, поздравил отца Давида с такой превосходной женой.

Когда был подан обед, он отказался приступить

к еде, пока не села мать, что весьма смутило ее, поскольку она всегда сначала кормила других. За едой он заботился о каждом, передавая мясо, хлеб и соль прежде, чем об этом просили. Разговаривая, он вовлекал всех в беседу, то задавая вопросы, то обращаясь взглядом к сидящим. Все это несколько стесняло Давида. Он привык есть молча, когда его или игнорировали, или воспринимали как нечто привычное, и его раздражало это насилие, это неожиданное вторжение в ход его мыслей. Но больше всего его раздражали глаза Лютера. Казалось, они не были связаны с его речью, намного опережая слова. Они не просто смотрели, они хватали человека и держали его, пока не раздавался голос. Для Давида это стало чем-то вроде беспокойной игры — не дать глазам Лютера схватить себя. Он старался удержать свой взгляд на скатерти или на мамином лице, когда чувствовал, что эти глаза устремляются на него.

Разговор касался различных вопросов. От проблем печатного дела и интересов союза печатников до возможностей (и радостей, как сказал Лютер с улыбкой) жизни старой страны и новой. И опять печатного дела, и снова — семьи. И соблюдает ли мать Давида кашрут в доме, — на что она улыбнулась. И надевает ли отец по утрам и вечерам филактерии, и в какую синагогу они ходят, — на что отец удивленно хмыкнул. Почти все, о чем говорили, не интересовало Давида. Однако ему было приятно влияние, которое оказывал Лютер на отца. Впервые его резкие холодные манеры несколько смягчились. Утверждая что-нибудь, он добавлял: "А вы как думаете?"

Или, вдруг, начинал фразу словами: "Мне кажется, что..."

Это было непривычно и смущало Давида. Он не знал, быть ли благодарным Лютеру за то, что жесткий, негибкий характер отца смягчился, или беспокоиться. Было что-то неестественное в том, что отец как бы распрямлялся, медленно, как осторожно

отпускаемая сильная пружина. И слышать, как он, подбадриваемый вниманием Лютера, говорил о своей юности. Он, такой молчаливый, всегда со сжатыми губами, кого Давид не мог даже представить себе молодым, говорил о днях молодости, о черных и белых быках своего отца, за которыми он ходил, кормил мешанкой из отрубей с отцовой мельницы (при этом он пытался скрыть свое раздражение, упоминая об отце, он, который никогда не прятал своего недовольства), и за которых получил приз из рук короля Франца Иосифа. Зачем нужно было Лютеру смотреть так пристально, как бы вызывая отца на разговор? Как только Лютер сказал: "Я не люблю землю. Она для крестьян", отец засмеялся и ответил: "А мне кажется, я люблю. Я думаю, что когда ты выходишь из дома на голую землю, в поля, ты тот же человек, каким был в доме. Но когда ты выходишь на мостовую, ты становишься другим. Ты чувствуешь, как меняется твое лицо. Разве с тобой этого не случается?"

И стоило Лютеру сказать: "да, ты прав, Альберт", — всего лишь это, — и отец радостно и удовлетворенно выдохнул. Это было странно. Почему никому больше не удавалось этого добиться? Ни матери. Ни Давиду. Никому, кроме Лютера.

Давид не находил ответа на эти вопросы. К концу обеда ему очень хотелось полюбить Лютера. Ему хотелось полюбить человека, который хвалил его мать и выводил его отца на непривычную дорогу доброжелательства. Он очень хотел, но не мог. Он уверял себя, что это пройдет. Когда Лютер придет в следующий раз, он будет любить его. Да, обязательно. В следующий раз. Он был уверен в этом. Он хотел этого. Как только он привыкнет к его глазам. Да.

Когда встали из-за стола, Лютер собрался уходить. Отец уговаривал его остаться еще хоть на час, ведь он только пришел.

— Завтра рано вставать на работу, — напомнил

Лютер, — иначе я бы остался. У вас тут рай в сравнении с моим домом, — он повернулся к маме и, улыбаясь, медленно протянул ей руку. — Я хочу поблагодарить вас тысячу раз, миссис Шерл, — последний раз я ел такой обед на свадьбе моего дяди.

Она покраснела и засмеялась, пожимая его руку.

— Вы уже похвалили все, кроме воды.

— Да, — он тоже засмеялся, — и соли. Но я опасался, что вы не очень поверите, если скажу, что соль была вкуснее всего остального.

Прощавшись и погладив Давида по голове (что тому не очень понравилось), он ушел.

— Ха! — воскликнул отец, когда дверь за гостем закрылась. — Говорил я тебе, что эти проклятые скитания с работы на работу когда-нибудь кончатся?! Я надолго останусь в "Долман Пресс". Теперь время работает на меня. Там есть еще два бригадира. Я не хуже их. Я знаю об этих железных фокусах куда больше, чем они. Кто знает? Кто знает? Если б немного денег! Со временем я мог бы предложить ему попробовать... Да! Со временем! Со временем!

— Кажется, он очень порядочный человек, — сказала мама.

— Ты еще не знаешь, что он за человек!

Час после ухода Лютера был самым спокойным из всех, когда-либо проведенных Давидом в присутствии отца.

4

— Совсем ничего? — спросил Лютер с некоторым удивлением. — За всю вашу жизнь в старой земле?

"Старая земля", — эти слова привлекли внимание Давида. Ему было интересно все, что говорилось о старой земле.

— Ничего, — ответила мать, — ничего не доходило до моей деревушки, кроме снега и дождя. И нельзя сказать, чтобы я особенно из-за этого страдала.

Правда, один раз приходил человек с граммофоном. Знаете, такие граммофоны, их слушают с наушниками? Нужно было заплатить пенни, чтобы его послушать. Но оно и того не стоило. Я никогда не слышала такого визга и скрипа. А у крестьян это вызывало ужас. Они клялись, что в ящике сидит дьявол.

Лютер засмеялся.

— И это все, что вы видели до того, как попали в эту суматоху?

— Я и здесь мало что вижу. Я знаю, что живу в номере сто двадцать шесть по Бадде Стрит...

— Бахдей Стрит! — поправил ее муж, — тысячу раз говорил тебе.

— Бадде Стрит, — продолжала она виновато.

Муж пожал плечами.

— Такое странное название — "ванная улица" по-немецки. Ну вот. Я знаю, что слева от меня есть церковь, справа овощной рынок, сзади железнодорожные пути и впереди, через несколько домов, магазинная витрина, замазанная известью, а на извести рожицы, нарисованные славными детишками. В этих пределах лежит моя Америка, и, если я пойду дальше, я заблужусь. Даже, — засмеялась она, — если вымоют эту витрину, я не найду дороги домой.

Отец сделал нетерпеливый жест.

— Что касается еврейских пьес, — сказал он, — так я видел одну, когда мы с отцом были в Лемберге на большом базаре. Она называлась "Месть Самсона". Мне очень понравилось.

— А я хожу в театр, чтобы посмеяться, — сказал Лютер. — Зачем ходить туда переживать, когда сама жизнь — сплошная пытка? Нет, покажите мне лучше какого-нибудь шутника или ужимки смазливой девицы.

— Меня это мало интересует, — коротко сказал отец.

— Ну, я тоже не схожу от этого с ума, понимаешь, я просто говорю, что если у человека плохое настро-

ние, это помогает. А вы не считаете, что смех лечит душу, миссис Шерл?

— Думаю, что да.

— Вот, видишь! О, слушайте, у меня есть идея. Ты знаешь этот Народный театр, для которого Долман печатает афиши? На их сцене никогда не обходится без слез. Как минимум одна хорошая смерть в вечер. Если тебе нравятся такие пьесы, я могу поговорить с агентом, или как он там называется, и выдать из него месячный пропуск. Они каждую неделю ставят что-нибудь новое.

— Не знаю, стоит ли, — пробормотал отец в мрачном сомнении.

— Конечно, нужно! И никаких хлопот. Не будет стоять ни цента. Я достану пропуск на двоих, вот увидишь. Жалко, что я не знал раньше.

— Не беспокойтесь обо мне, — сказала мама, — большое спасибо, но я вряд ли смогу уйти и оставить Давида одного.

— О, с этим мы как-нибудь справимся! — успокоил он ее. — Это наименьшая из ваших забот. Но сначала надо достать пропуск.

В тот вечер Лютер ушел рано, до того, как Давида уложили в постель. И когда он ушел, отец сказал маме:

— Ну что, ошибался я, когда утверждал, что этот человек — мой друг? Ошибался? Этот парень знает, как выражать дружбу и здесь, и в типографии. Скажи, могу я определить человека — порядочный он или нет?

— Можешь, — мягко ответила мать.

— И ты с этой твоей боязнью впустить в дом чужого человека! — продолжал он презрительно. — Могла бы ты иметь лучшего постояльца, чем он?

— Не в этом дело. Я с радостью буду постоянно кормить его обедами. Но я точно знаю, что для друзей лучше не быть все время вместе.

— Чепуха! — ответил он. — Это твоя глупая гордость.

Безделушки замешаны на строительном растворе желаний. И фантазия — мастерок. И прихоть — строитель. Стена. Башня. Крепкая, надежная, невероятная, ограждающая дух от летящих стрел сознания, опыта, рассекающая поток времени, как скала рассекает воду. Минуты — нетронутые, непознанные.

Отец и мать ушли в театр, и он остался с Лютером. Он не увидит маму до утра, и утро стало далеким, ненадежным. Когда она ушла, в глазах Давида появились слезы, и Лютер сказал:

— Ну, парень, тебе что, завидно, что мать получит немного удовольствия сегодня вечером?

Давид молча уставился в пол и чувствовал, как в нем поднимается раздражение против Лютера. Ведь это он был причиной маминого ухода! И теперь еще смеет упрекать его за слезы! Откуда он знает, что значит остаться одному. Ведь это не его мама.

— Сейчас ты похож на своего отца, — смеялся Лютер, — у него такие же губы, когда он сердится.

Было что-то особенно неприятное в его голосе. Давид отвернулся обиженно и вытащил коробку, в которой хранил календарные листки и всякие мелочи, привлечшие его внимание на улице. Мать называла их сокровищами и часто спрашивала Давида, почему он так любит старые и ненужные вещи. Трудно было ответить ей. Но что-то такое было в старых цепочках, винтах и колесиках. Ему казалось, что, касаясь их пальцем, он чувствует их боль. Они были как сношенные подметки или старые тонкие монетки. Никогда не видишь, как ими пользуются, а встречаешь их уже изношенными и потускневшими.

Он вертел в пальцах одно из своих недавних приобретений. Это была одна из тех пробок с отверстием, через которые парикмахер брызгал ароматную воду на головы клиентов. Можно было дуть в отверстие, смотреть сквозь него или продеть нитку в пробку. Он бросил ее в коробку и достал виток

пружинки. Если бы такие пружинки были на ногах вместо ботинок, можно было бы не ходить, а прыгать. Высоко и далеко. Как Кот в сапогах. Но если бы мышь в животе Кота превратилась опять в людоеда ("Я — мышь-людоед!"), тогда бы бедный Кот распухал, распухал...

Лютер вздохнул. Вздвогнув, Давид поднял глаза. "Я — мышь, я — людоед!" Мысль продолжалась. Он тайком разглядывал Лютера. Не зная, что за ним наблюдают, Лютер опустил газету и смотрел в пустоту перед собой. С его лицом происходило что-то любопытное. Обычно приветливые, загибающиеся кверху линии его лица были опущены теперь вниз, резкие, клиновидные у глаз и рта. И сами глаза, всегда круглые и мягкие, сейчас сузились, и зрачки казались далекими угольками. Его верхние зубы прикусили губу, делая лицо мрачным и грустным. Это испугало Давида. Ему вдруг сильно захотелось, чтобы дома еще кто-нибудь был. Даже не обязательно мама. Все равно, кто — Иоси с верхнего этажа, даже отец.

Лютер поднялся. Давид торопливо опустил глаза. Ноги в коричневых брюках медленно приближались (зачем?), прошли мимо (Давид расслабился) и остановились у стены (посмотрел через плечо) перед календарем. Лютер отгибал листочки (черный, черный, черный, красный, черный, черный), открыл какую-то дату и уставился на нее, словно что-то более сложное и важное, чем простые цифры, было написано там. Потом он опустил листки медленно, осторожно (почему? Почему так осторожно? Они все равно бы не упали) и потер руки.

На обратном пути к своему стулу он посмотрел на коробку с календарными листками на коленях у Давида.

— Что это? — в его голосе было едва заметное удивление. — Это с календаря?

— Да, — Давид поднял на него тревожные глаза, — я их собираю.

— Прошедшие дни? Зачем они тебе? Рисовать?

— Нет. Просто собираю.

— Гм-м! — он неприятно фыркнул. — Если бы я прожил столько дней, сколько ты, я бы о них и не заботился. Когда ты проживешь с мое... — он остановился с коротким смешком, клюнувшим, как маленький молоточек, — ты узнаешь, что имеют значение только те дни, которые впереди.

Давид пытался скрыть негодование из страха, что Лютер опять обвинит его в сходстве с отцом. Ему хотелось, чтобы Лютер ушел. Но тот зачем-то кивнул и, улыбаясь, посмотрел на часы.

— Тебе пора спать. Уже больше восьми.

Давид сложил безделушки в коробку и спрятал ее.

— Ты умеешь сам раздеваться?

— Да.

— Сначала сходи пописай, — продолжая улыбаться, посоветовал он. — Как мама это называет?

— Она говорит "номер один".

Лютер усмехнулся.

— О, она уже немного выучила английский.

После уборной Давид пошел в свою спальню, разделся и натянул пижаму.

Заглянул Лютер.

— Все в порядке? — спросил он.

— Да, — ответил Давид, забираясь в постель.

Лютер прикрыл дверь.

Темнота была другой без матери. И люди тоже выглядели другими.

6

Мать унесла скатерть в спальню, и оттуда послышалось, как скрипит дверца шкафа. И вдруг:

— Ай-ай-ай, он забыл его! — она вышла со свертком в руках. — Подарок для них. Он ушел с пусты-

ми руками, — она села на стул. — Нужно не забыть отдать ему завтра. Или он вспомнит и вернется.

Мысль, что Лютер может вернуться, не понравилась Давиду, и он отбросил ее. Он давно ждал этого вечера, чтобы остаться наедине с мамой. Отец ушел в театр.

Она сняла чайник с плиты и налила кипяток в мойку. Потом посмотрела на него.

— Ты наблюдаешь за мной так, — сказала она со смехом, — будто я выступаю с сеансом черной магии. Я всего лишь мою посуду.

И после паузы:

— Тебе бы хотелось иметь маленького братика? — спросила она хитро. — Или маленькую сестренку?

— Нет, — холодно ответил он.

— Это было бы хорошо для тебя, — продолжала она, — ты бы мог смотреть еще на кого-нибудь, кроме своей мамы.

— Я не хочу ни на кого смотреть.

— У твоей мамы было восемь братьев и сестер, — напомнила она ему, — одна из них может скоро приехать, одна из моих сестер, твоя тетя Берта. Ты был бы рад?

— Не знаю.

— Она бы тебе понравилась, — заверила его мама. — Она очень забавная. У нее рыжие волосы и острый язычок. И нет такого человека, которого она не смогла бы изобразить. Хотя она не очень толстая, летом пот льется с нее потоками. Я не знаю, почему это так. Я видела мужчин, которые так потеют, но женщин — никогда.

— У меня здесь мокро летом, — он показал на свои подмышки.

— Да, и у нее тоже, — сказала мать с особым ударением. — Ей один раз сказали... но ты никогда не видел медведя?

— Видел в книжке. Там было три медведя.

— Да, ты говорил мне про них. Так вот, в Европе есть цыгане. Цыгане — это мужчины и женщины,

такой темный народ. Они скитаются по всему миру.

— Зачем?

— Им это нравится.

— Ты меня спросила про медведя.

— Да. Иногда цыгане водят с собой повсюду медведя.

— А они едят овсянку? — последнее слово он сказал по-английски.

— Что это такое?

— Учитель сказал, что это овсяная каша, которую ты даешь мне по утрам.

— Да, да. Ты говорил мне. Но я не уверена. Мне кажется, это что-то похожее на яблоки. Но раз твой учитель говорит...

— А что делает медведь?

— Медведь танцует. Цыгане поют и бьют в бубен, а медведь танцует.

Давиду это понравилось:

— А кто его учит?

— Цыгане. Они так деньги зарабатывают. Когда медведь устает, люди бросают деньги в бубен... Так вот, я говорила тебе про тетю. Кто-то сказал ей, что нужно подкрасться к медведю сзади и потереть руки об его шкуру. И тогда она перестанет потеть под мышками. И вот однажды, когда медведь танцевал...

Она замолчала. Давид тоже расслышал шаги за дверью. Через секунду кто-то постучал. Раздался голос.

— Это я, Лютер.

Она открыла дверь, вскрикнув от удивления. Лютер вошел.

— Я совсем потерял голову, — сказал он, оправдываясь, — забыл свой подарок.

— Какая досада, что вам пришлось возвращаться, — сказала она сочувственно. — Вы оставили его в спальне, — она протянула ему сверток.

— Да, я знаю, — ответил он, кладя сверток на стол. Он посмотрел на часы: — Боюсь, что теперь слишком

поздно идти туда. Я доберусь не раньше девяти, и сколько я смогу посидеть там, час?

Давида разозлило то, что Лютер сел.

Лютер распахнул пальто и нерешительно, но вместе с тем озабоченно смотрел на мать Давида. Его глаза блестели и были беспокойнее, чем обычно. Давида снова поразила резкость черт его лица.

— Снимите пальто, — предложила мать, — здесь тепло.

— Если вы не возражаете, — он стянул пальто с плеч. — Теперь мне некуда спешить.

— А они не будут беспокоиться, если вы не придете?

— Нет, они знают, что мой черный час еще не настал, — засмеялся он, — пожалуйста, продолжайте свою работу. Я не хочу вам мешать.

— Я просто мыла посуду, — сказала она, — уже все, кроме этих горшков.

Она взяла с маленькой полки над раковиной красно-белую жестянку с мыльным порошком, насыпала его в горшок и стала, наклонясь, тереть тряпкой.

Давид со своего места мог видеть одновременно Лютера и маму. Увлеченно следя за движениями матери, он бы не обратил внимания на Лютера, если бы не почувствовал на себе его косой взгляд. Лютер раскрыл рот в зевке, и его суженные глаза смотрели на мать, на ее бедра. Впервые Давид заинтересовался телом матери, двумя выпуклостями, заключенными под ее юбкой. Он вдруг смутился. В его сознании вертелось что-то, что никак не превращалось в мысль.

— Вы, женщины, — сочувственно сказал Лютер, — особенно замужние, вынуждены трудиться, как рабы.

— Это не так плохо, как кажется.

— Да, — продолжал Лютер задумчиво, — все можно пережить. Но работать без благодарности — это горько.

— Верно. Но даже когда работаешь с благодарностью, что это дает?

— Конечно, — он вытянул ноги, — это ничего не дает, не приносит даже миллионов, но уважение дает трубачу дыхание — уважение и благодарность.

— Ну, тогда у меня есть уважение, — она засмеялась, выпрямилась и повернулась к Лютеру, — мое уважение растет, — она посмотрела на Давида с нежной улыбкой.

— Да, — сказал Лютер со вздохом, — но такое уважение может иметь каждый. Впрочем, иметь детей — это хорошо, — и добавил серьезно, — знаете, я никогда не видел, чтобы ребенок так лип к матери.

Давиду не понравилось это замечание.

— Да, вы абсолютно правы, — согласилась мать.

— Дети моего брата, — тепло сказал Лютер, — того самого родственника, к которому я сегодня собирался, бывают дома, лишь когда спят или едят. Даже после ужина, — он поднял руку, как бы подчеркивая это, — они где-нибудь в соседском доме играют с другими детьми.

— В этом доме есть еще дети, — ответила мать, — но он ни с кем не дружит. Только раз или два, — она повернулась к Давиду, — ты был у Иоси, и он приходил к нам.

Давид настороженно кивнул.

— Он странный ребенок, — убежденно заключил Лютер.

Мать сдержанно засмеялась.

— Хотя очень сообразительный, — успокоил ее Лютер.

Потом была пауза, пока мать сливала воду из мойки. Вода урчала в трубе.

— Он очень похож на вас, — со стеснительностью осторожного льстеца сказал Лютер, — у него такие же, как у вас, темные глаза, очень красивые глаза, и такая же белая кожа. Где ты взял такую белую немецкую кожу? — игриво спросил он Давида.

— Не знаю, — такая интимность смутила мальчика. Ему хотелось, чтобы Лютер ушел.

— И у вас обоих такие маленькие руки. У него слишком маленькие руки для ребенка его возраста. Как у принца. Может быть, когда-нибудь он станет врачом.

— Если у него будет еще что-нибудь, кроме рук.

— Да, — согласился Лютер, — но все же, я думаю, ему не придется так работать ради куска хлеба, как его отцу или даже мне.

— Я тоже надеюсь, но знает только Бог.

— Не правда ли, странно, — вдруг сказал он, — как Альберт ухватился за этот театр? Как пьяница за стакан. Кто бы мог подумать?

— Это для него так много значит. Я слышала, как в некоторых местах он скрипел зубами.

Лютер засмеялся.

— Альберт — хороший парень, хотя у нас в типографии его считают странным. Знаете, мне иногда с трудом удастся сохранить мир, — он опять засмеялся.

— Да, я знаю. И я очень вам за это благодарна.

— О, это ерунда. Там слово, здесь слово, и все улаживается. Дело в том, что я не стал бы его так защищать, если бы я не знал вас, если бы я не приходил сюда и не стал бы одним из вас. Но теперь я становлюсь на его сторону, как будто он мой родной брат. Это не всегда легко с таким странным человеком.

— Вы так добры.

— Совсем нет, — сказал Лютер, — вы платите мне. Вы оба.

Мать взяла тарелки и подошла к буфету. Она открыла дверцу и нагнулась, чтобы поставить их. Голова Лютера склонилась, его взгляд скользил по ее телу. Он прочистил горло.

— Говорите, что хотите, но Альберт — нервный человек, вот что я скажу. Если, конечно, не знать его хорошо. Я понимаю, почему вы с ним никогда

никуда не ходите, — закончил он сочувственно. — Вы — гордая женщина, с большим чувством, правда?

— Не больше, чем другие. Но какое это имеет значение?

— Я скажу вам. Видите ли, Альберт... — он задумчиво почесал затылок, — даже на улице он странно себя ведет. Вы это знаете лучше меня. Кажется, что он выискивает насмешку в глазах прохожих. И, когда вы идете с ним, а я хожу с ним каждый вечер, он как будто испытывает удовольствие, если идет за калекой или за пьяным, ну, в общем, за каким-нибудь уродцем. Можно подумать, что так он себя чувствует безопасней. Он хочет, чтобы люди на улице смотрели на кого-нибудь другого. На кого угодно, только не на него. Даже дворники и уличные торговцы доставляют ему это странное удовлетворение. Но почему я говорю все это, ведь я так люблю его, — он остановился и тихо захихикал.

Мать Давида разглядывала кухонное полотенце и ничего не ответила.

— Да, — поспешил он громко рассмеяться, — особенно я люблю, когда он говорит о Тизменице и непременно вспоминает своих быков.

— Вряд ли было в старой земле что-нибудь, что он больше любил.

— Но так любить быков! — улыбнулся Лютер. — Когда я вижу корову, единственное, что я хочу, это чтобы она давала молоко. Когда я думаю о Европе и о моей деревне, я вспоминаю не коров и призовых быков, как он, а крестьянских женщин, понимаете?

— Естественно, у каждого свои воспоминания. — Закрыв буфет, она села на стул рядом с Давидом. По одну сторону стола сидел Лютер, по другую — Давид и мама.

— Точно, — сказал Лютер, — каждый помнит то, что ему больше нравилось, и я помню крестьянок. Как они там красивы! — покачал он сокрушенно головой. — Здесь никогда таких не увидишь. По все-

му видно, что здесь, в Бруклине, скудная почва, и женщины здесь тощие. В Сорвике они растут, как дубы. У них белокурые волосы и блестящие глаза. А когда они улыбаются своими белыми зубами и голубыми глазами, кто может устоять? От этого закипает кровь. На вас никогда не действовали мужчины таким образом? — спросил он после паузы.

— Нет, я никогда не обращала на них особого внимания.

— Ну конечно, вы были хорошей еврейской дочерью. К тому же, чего стоят мужчины? Бесформенные куски мяса с носами, похожими на гороховые стручки. Их женщины вянут рядом с ними. Вы знаете, — его голос был очень серьезен, — из всех женщин, которых я знаю, только вы напоминаете мне тех девушек.

Она покраснела, откинула голову и засмеялась:

— Я? Но я всего лишь хорошая еврейская дочь.

— Я ни в чем ведь вас не упрекаю, но с тех пор, как я в Америке, я не видел женщины, которая так бы их напоминала. У них такие полные спелые губы. Так и хочется их поцеловать.

Она удивленно улыбнулась одним уголком рта:

— Бог знает, конечно, но австрийских крестьянок должно быть достаточно и в этой стране. Если они впустили евреев, наверняка впускают и словаков.

Лютер посмотрел на кольцо, которое вращал на своем пальце.

— Да, может быть. Я видел нескольких, но ни одна мне особенно не понравилась.

— Нужно еще поискать.

Лицо Лютера стало странно серьезным, морщины около его ноздрей углубились. Не поднимая головы, он посмотрел на мать Давида:

— Можно, я перестану искать?

Она откровенно засмеялась:

— Не глупите, мистер Лютер!

— Мистер Лютер! — в его взгляде промелькнула

досада, но потом он вскинулся и улыбнулся. — К чему эти церемонии, если вы меня уже хорошо знаете?

— Очевидно, я еще не слишком хорошо вас знаю.

— Да для этого не нужно много времени, — заметил он. Его взгляд заскользил по комнате и остановился на Давиде. — Может быть, вы хотите что-нибудь перекусить?

— Нет, но если вы голодны, я могу поставить чайник.

— Благодарю, — сказал он предупредительно, — не стоит утруждать себя. Но я знаю, от чего вы не откажетесь — от мороженого.

— Пожалуйста, не беспокойтесь.

— Что вы, никакого беспокойства. Парень принесет нам, — он достал монету. — Вот, ты знаешь, где лавка. Принеси фруктового и шоколадного. Ты ведь любишь мороженое?

Давид тревожно посмотрел на Лютера и на монету. Под столом рука мягко легла на его колено. Мама! Что она хочет?

— Я не люблю мороженое, — сказал он запинаясь, — не люблю.

Пальцы той же руки легко постукивали по его колену. Он ответил правильно.

— Не любишь? Фруктовое мороженое? Ну тогда конфеты. Любишь конфеты?

— Нет.

— Я думаю, уже поздновато для конфет, — сказала мама.

— Да. Мы, пожалуй, ничего не купим, потому что он сейчас пойдет спать, — Лютер посмотрел на часы. — Простый раз в это время я уложил его в постель. Да, мой Давид?

— Да, — смущенно сказал Давид, боясь ошибиться.

— Мне кажется, он уже хочет спать, — бодро предположил Лютер.

— Он не выглядит сонным, — мать убрала волосы с его бровей, — его глаза еще широко открыты и блестят.

— Я не хочу спать, — это было правдой. Он еще никогда не был так странно встревожен, никогда не чувствовал так близко бездну.

— Пусть посидит еще немного.

Затем последовало короткое молчание. Лютер помрачнел и издал тихий чмокающий звук краем рта.

— Кажется, у вас нет ни одного из обычных женских инстинктов.

— Что вы! Просто я стараюсь ходить по протоптанным тропинкам.

— Любопытства, например.

— Я утратила его еще до замужества.

— Это вам только кажется. Но не поймите меня неправильно. Я имел в виду только этот сверток, который я забыл. Вам, должно быть, понятно, что он вовсе не для моих родственников?

— Все-таки лучше отдайте его им.

— И не подумая! — и, оставшись без ответа, он тряхнул плечами, поднялся со стула и надел пальто. — Вы можете меня возненавидеть, но я еще раз повторю, что вы — красивая женщина. На этот раз я свой пакет не забываю, — он подошел к двери и повернул ручку. — Могу я прийти завтра на обед?

Она засмеялась:

— Если вам еще не надоела моя стряпня.

— Нет еще, — он усмехнулся. — Спокойной ночи. Спокойной ночи, малыш. Это должно быть счастьем — иметь такого сына.

Он вышел.

С кривой улыбкой на губах она прислушивалась к звуку удаляющихся шагов. Ее бровь презрительно вздернулась. "Ох, мужчины, мужчины!" Она сидела некоторое время, глядя перед собой испуганными глазами. Потом ее взгляд просветлел. Она склонила голову и посмотрела Давиду в глаза.

— Тебя что-нибудь беспокоит? У тебя такой встревоженный вид.

— Я не люблю его, — признался Давид.

— Ладно, он уже ушел, — сказала она успокаивающе, — забудем о нем. Мы даже не скажем отцу, что он приходил, правда?

— Да.

— Давай ложиться спать, уже поздно.

7

Прошла неделя. Двое мужчин только что ушли. Смущенно посмеиваясь, мать стояла у двери и двигала пальцем собачку замка. Наконец она отпустила ее. Язычок заскочил в канавку.

— О, какая бессмыслица! — она снова нажала на собачку, посмотрела на лампу и, потом, в окно.

Давид почувствовал, как растет в нем раздражение. Зачем четверги так быстро наступают? Он начал ненавидеть их не меньше, чем воскресенья.

— Почему им надо так долго доказывать, пока они что-нибудь поймут, — она неодобрительно поджала губы. — Ладно, ничего не поделаешь, надо идти. Посуду я вымою потом, — она открыла дверь и погасила свет.

Смущенный Давид последовал за нею в коридор, где было холодно и горела газовая лампа.

— Мы идем вверх, к миссис Минк, — она бросила торопливый взгляд сквозь перила, — ты сможешь поиграть с твоим другом Иоси.

Зачем она все это затеяла, удивился Давид. Он не говорил, что хочет играть с Иоси. В действительности ему вовсе даже не хотелось с ним играть. Почему она не скажет напрямик, что спасается бегством, вместо того, чтобы вину за их уход из дому сворачивать на него. Он знал, почему она смотрела сквозь перила.

Мать постучала в дверь. Дверь открылась, и на пороге появилась миссис Минк. Увидев мать, она засияла.

— Хэлло, миссис Шерл! Хэлло! Хэлло! Входите! — она возбужденно почесывала свои тусклые черные волосы.

— Я надеюсь, вы не сочтете, что я пришла не вовремя, — мать виновато улыбалась.

— Нет, чтоб я так жила! — миссис Минк перешла на идиш. -- Добро пожаловать! Гость — самая большая редкость у меня! — Она притащила стул: — Садитесь, пожалуйста.

Миссис Минк была плоскогрудой женщиной с желтоватой кожей и маленьким лицом. У нее были узкие плечи и толстые руки. Давид всегда удивлялся, когда видел ее, как такая тонкая кожа на шее может удерживать такие тяжелые, распухшие вены.

— Я уже думала, что никогда не буду иметь удовольствия видеть вас в своем доме, — продолжала она, — как раз на днях я сказала нашей домохозяйке: "Смотри, мы с миссис Шерл соседи, а ничего не знаем друг о друге. Я не смею пригласить ее в свой дом. Я боюсь. Она такая гордая".

— Я — гордая?

— Да нет, не гордая, а достойная! Вы всегда ходите с поднятой головой — вот так! И даже на рынок вы одеваетесь, как леди. Я всегда смотрю на вас из окна. И я говорю своему мужу: "Иди сюда! Смотри, это она! Видишь, какая она высокая!" Его нет дома, этого чучела. Он поздно работает в своем ювелирном магазине. Он так расстроится, когда узнает, что вы приходили без него.

Давид начал уставать от быстрого потока слов миссис Минк. Он оглянулся и увидел, что Анни наблюдает за ним. Иоси нигде не было видно. Он потянул мать за руку и, когда та нагнулась, спросил, где Иоси.

— Иоси? — миссис Минк прервала себя ровно настолько, чтобы произнести "он спит".

— Не будите его, — сказала мама.

— Ничего, ничего. Я хочу послать его в "деликатесен" за хлебом. Иоселе! — позвала она.

Иоси недовольно захрапел в ответ.

— Сейчас появится, — успокоила миссис Минк.

Через несколько минут появился Иоси. Один чулок волочился по полу, и он наступал на него, сонно шаркая. Он мигал и подозрительно смотрел на мать Давида. Потом повернулся к Давиду:

— Почему твоя мать здесь?

— Просто пришла.

— Зачем она пришла?

— Не знаю.

В этот момент прихромала Анни.

— Подтяни чулок, ты, слюняй!

Иоси послушно натянул чулок. Давид заметил, как плотно натянут белый чулок на ноге Анни под железкой.

— Так ты будешь у нас? — спросил Иоси серьезно.

— Да.

— Ура! Пойдем в другую комнату, — он схватил Давида за руку, — я тебе...

Но Давид остановился.

— Я иду в другую комнату, мам.

Повернувшись от болтающей миссис Минк, мать грустно улыбнулась ему и кивнула.

— Я покажу тебе, что у нас есть, — Иоси потащил его за руку.

Пока Иоси о чем-то болтал, Давид осматривал комнату. Он никогда здесь не был. Анни всегда преграждала в нее дорогу, как будто это была священная земля. Он увидел комнату, освещенную газовой лампой и уставленную темной, громоздкой мебелью. Посредине стоял круглый стол со стеклянной крышкой, и вокруг него стулья такого же темного цвета. Одна стена была закрыта сервантом, другая — бюро, третья — трельяжем, в углах стояли какие-то ящики. Все это было огромно и стояло на безвкусных резных лапах. Над мебелью, на стене висели две пары пожелтевших погрудных портретов. Две морщинистые женщины с неестественными копнами черных волос и двое бородатых стариков в

ермолках и с пейсами. С выражением суровой враждебности смотрели они на Давида. Преграждая дорогу к окну, стоял словно на карачках разлапистый стул, обитый пурпурным плюшем. На нем были вышиты злые попугаи различных оттенков. Большая скучная кукла с золотыми локонами и в фиолетовом платье сидела на стеклянной поверхности стола. После их собственной просторной комнаты, в которой почти не было мебели, Давид испытывал здесь смущение и какое-то странное тепло.

— Это в шкафу, в спальне, — сказал Иоси, — подожди немного, я тебе покажу, — он пропал в сумраке смежной комнаты.

Давид слышал, как он открыл дверь и возился в шкафу. Потом он вернулся, и в руках у него была странная железная клетка.

— Знаешь, для чего это? — он держал клетку перед глазами Давида.

Давид осмотрел ее:

— Нет. Что вы с ней делаете?

— Она может ловить крыс, вот что мы с ней делаем. Видишь эту дверцу? Сюда входит крыса, — он открыл дверцу, — сначала надо повесить что-нибудь на этот крючок. И тогда крыса входит. У нас была большая толстая крыса в доме. Мы слышали, как она ходила по ночам. И отец купил эту штуку, а мать повесила кусок шмалца.* И крыса попалась. Я видел ее утром вот здесь, около умывальника, — Иоси возбужденно размахивал клеткой, — и я позвал отца, и он встал с кровати, и налил воды в раковину, и бух! Крыса плавала в воде по кругу, а потом остановилась. И отец вытащил ее, положил в мешок и выбросил в окно. Бух! Она упала в канаву. Ух, какая была крыса. Отец потом все время плевался в раковину. Фу!

Давид брезгливо отшатнулся.

— Видишь, я говорил, что у меня есть что тебе

* Шмалц (идиш) — сало.

показать. Смотри, как она закрывается, — он захлопнул дверцу. — Мы не слышали, потому что все спали. Крысы выходят только в темноте, когда их не видно. Знаешь, откуда они приходят? Они приходят из подвала. Там они живут, в подвале, все крысы.

Подвал! Это все объясняло. Эти моменты страха, когда он проходил мимо, спускаясь на улицу. Теперь он будет вдвое больше бояться.

— Что вы делаете? — они вздрогнули от внезапного возгласа. Это вошла Анни. Ее лицо было искажено отвращением.

— Ты, глупый баран, убери это. Я позову маму!

— Ааа, оставь меня в покое.

— Ты уберешь или нет? — завизжала она.

— Вот говно, — зло пробурчал Иоси. Все же он унес клетку обратно в спальню.

— Зачем ты позволил ему показывать это? — обрушилась она на Давида. — Такую дрянь!

— Я не знал, что это такое, — сказал он.

— Ты не знал, что это такое? Ты тоже баран!

— Теперь уходи, — вернулся Иоси из спальни, — оставь нас в покое.

— Не хочу, — огрызнулась она, — это моя комната!

— Он не хочет играть с тобой. Это мой друг!

— Его никто не просит!

— А ты не лезь.

— Ух! — она плюхнулась в кресло. Железо на ее ноге неприятно заскрипело по дереву. Давид пожалел, что она не носит длинные брюки, как мужчины.

— Пойдем к окну, — Иоси подтолкнул его в проход между шкафами, — мы будем пожарниками. Будем тушить пожар в доме, — он показал на бюро, — ты хочешь?

— Хорошо.

— Мы можем спускаться по трубе, у нас будет машина, и я буду шофером. Хочешь?

— Да.

— Тогда давай делать каски. Подожди, я принесу бумагу из кухни, — он убежал.

Анни соскользнула со стула и подошла к Давиду.

— Ты в каком классе?

— В 1"А".

— Я в 4"А", — сказала она высокомерно, — я уже перешла. Я самая умная в нашем классе.

Это произвело впечатление на Давида.

— Нашу учительницу зовут мисс Маккарди. Она самая лучшая учительница во всей школе. Она поставила мне самую высокую отметку: А. А. А.

Тем временем вернулся Иоси с газетами.

— Что вы будете делать? — спросила она.

— Не твоё дело! — оттолкнул ее Иоси. — Мы будем пожарниками.

— Вам нельзя!

— Нельзя? — зло спросил Иоси. — Почему это нельзя?

— Нельзя и все. Вы поцарапаете мебель.

— Мы ничего не поцарапаем! — возмутился Иоси, размахивая газетой. — Мы будем играть.

— Нельзя.

— А мы будем!

— Я тебе сейчас дам, — она приблизилась угрожающе.

— Аа! Во что же нам тогда играть?

— Играйте в лото.

— Я не хочу в лото, — занял он.

— Тогда играйте в школу.

— Я не хочу в школу.

— Тогда не играйте ни во что! — решительно сказала она.

Большой пузырь слюны распух на Иосиных губах, и его лицо приготовилось к реву.

— Я скажу маме про тебя!

— Скажи! Ты и от нее получишь! — она устрашающе обратилась к Давиду: — А ты во что хочешь играть?

— Я не знаю, — отшатнулся он.

— Ты что, не знаешь никаких игр? — прошипела она.

— Я... я знаю пятнашки и еще я знаю... прятки.

— Давайте играть в прятки, — оживился Иоси.

— Нет!

— Ты тоже! — стал просить он. — Ну, давай, ты тоже.

Анни задумалась.

— Давайте, я буду водить! — и тут же Иоси прислонился лицом к краю бюро и начал считать. — Прячьтесь! — прокричал он.

— Подожди! — Анни прыгала на одной ноге. — Считай до двадцати!

Давид спрятался за креслом.

Его нашли последним, и ему выпало водить. Постепенно игра стала увлекательной. Давид не очень хорошо знал расположение квартиры, и несколько раз он прятался с Иоси, когда водила Анни, и с Анни, когда водил Иоси. Они прятались в углах за мебелью и за дверьми.

Но когда игра достигла величайшего напряжения, из кухни послышался голос миссис Минк.

— Иоселе! Иоселе, мое сокровище, пойдй сюда!

— Аа! — откуда-то негодуя заблеял Иоси.

Давид, который в это время водил, перестал считать и обернулся.

— Иоси! — опять позвала миссис Минк, но на этот раз сердито.

— Ну что ты с ней поделаешь, — пожаловался Иоси, вылезая из-под бюро. — Чего тебе? — проревел он.

— Пойди сюда. Я хочу, чтобы ты на минуту спустился вниз.

Анни, очевидно понимая, что игра на время окончена, появилась из спальни.

— Он должен спуститься?

— Да, — неуверенно ответил Давид, — за хлебом.

— Тогда мы не можем играть.

— Да, я пойду к маме.

— Останься здесь, — распорядилась она, — мы будем играть. Иоси скоро вернется.

Судя по голосам на кухне, Иоси убедили спуститься. Он появился, одетый в пальто и шапку.

— Я ухожу, — объявил он и снова вышел.

Последовала неловкая пауза.

— Мы не можем играть, пока он не придет, — напомнил Давид.

— Нет, мы можем.

— Во что?

— Во что хочешь.

— Я не знаю.

— Нет, ты знаешь.

— Что?

— Ты знаешь, — сказала она таинственно.

Ну и игра же это была. Давид поздравил себя с тем, что так быстро постиг ее правила.

— Да, я знаю, — ответил он так же таинственно.

— Да? — она жадно посмотрела на него.

— Да! — он посмотрел на нее так же.

— Ты хочешь?

— Да!

— Ты очень хочешь?

— Да, хочу, — это была самая легкая из всех игр. И, в конце концов, Анни была не такой уж страшненькой.

— Где?

— Где? — повторил он.

— В спальне, — прошептала она.

Так она действительно хочет!

— Пойдем, — поманила она, хихикая.

Он пошел. Это было интересно.

Она закрыла дверь. Он смущенно стоял в темноте.

— Пойдем, — она взяла его за руку, — я покажу тебе.

Он слышал, как она пробиралась в темноте. Скрип невидимой двери. Дверь шкафа.

— Здесь, — прошептала она.

Что она хочет делать? Его сердце сильно забилося.

Она затащила его в шкаф и закрыла дверь. Густая темнота, наполненная запахом нафталина. В узком пространстве ее дыхание обжигало. Сердце билось у него в ушах. Она прижалась к нему, задела железкой своей ноги. Он испугался. Под натиском ее тела он немного отступил. Нога уперлась во что-то. Что это? Он мигом вспомнил и отшатнулся в ужасе. Капкан!

— Шшш! — сказала она. — Обними меня, — она искала его руки.

Он положил руки ей на плечи.

— Давай поцелуемся.

Он прикоснулся к ее губам, влажному пятну в густой темноте.

— Как ты это делаешь? — спросила она.

— Э т о? Я не знаю, — сказал он дрожащим голосом.

— Хочешь, я тебе покажу?

Он испуганно молчал.

— Ты должен попросить меня, — сказала она, — ну, попроси.

— Что?

— Ты должен сказать: "Ты хочешь э т о делать?" — Скажи!

— Ты хочешь э т о делать? — он дрожал.

— Ну вот, ты сказал э т о, — прошептала она, — запомни, это ты сказал.

По ее тону Давид понял, что он переступил какой-то ужасный порог.

— Ты никому не скажешь?

— Нет, — ответил он расслабленно. Вина была его.

— Ты клянешься?

— Клянусь.

— Ты знаешь, откуда выходят дети?

— Н-нет.

— Это называется "кнышл"*.

*Кнышл — пирожок (идиш).

— "К н ы ш л?"

— Между ног. Кто вставляет, тот — папа. У папы есть "колокольчик". Ты — папа, — она беззвучно захихикала и взяла его руку. Он почувствовал ее платье, прорезь, похожую на карман, и ее тело. Испугавшись, он отдернул руку.

— Ты должен! — настаивала она. — Ты сам просил.

— Нет!

— Ну засунь мне палец в мой кнышл, — заныла она, — ну, хоть разочек!

— Нет!

— Я подержу твой колокольчик, — она щупала рукой.

— Нет! — у него по коже пошли мурашки.

— Тогда опять обними меня.

— Нет! Нет! Пусти! — он оттолкнул ее.

— Да погоди! Иоси будет думать, что мы еще играем в прятки.

— Нет! Я не хочу! — его голос усилился до крика.

— Ну и иди! — она сердито толкнула его.

Давид открыл шкаф и выбрался в комнату. Она догнала его и схватила за руку.

— Только расскажи кому-нибудь! — прошипела она. — Ты куда идешь?

— К маме!

— Стой здесь! Я тебя убью, если ты уйдешь! — она схватила его за плечи и стала трясти.

Ему хотелось плакать.

— И не смей плакать, — предупредила она свирепо и попыталась обнять его, — останься, я тебе сказку расскажу. Вы будете играть в пожарников. И делаете каски. И будете лазить на мебель. Останься!

Он робко смотрел на нее, наполовину загипнотизированный ее свирепыми, испуганными глазами. Послышался стук входной двери и голос Иоси.

Через мгновение он появился, задыхаясь и стягивая пальто.

— Я заработал пенни, — ликовал он.

— Вы можете играть в пожарников, если хотите, — мрачно сказала Анни.

— Правда? Да? Ура! Вперед, Дэви!

Но Давид не двигался.

— Я не хочу играть.

— Ну, давай, — Иоси схватил газетный лист и протянул его Давиду, — давай делать каски.

— Делайте каски, — скомандовала Анни.

Запуганный, почти плача, Давид начал складывать газету.

Он играл апатично, искоса поглядывая на Анни, которая наблюдала за каждым его движением.

— Давид! — позвала мать.

Свободен наконец! С возгласом облегчения он сорвал пожарный шлем и бросился в кухню. Мать собралась уходить. Он прижался к ней.

— Пора идти, — улыбаясь сказала она, — скажи своим друзьям спокойной ночи.

— Спокойной ночи, — промямлил он.

— Пожалуйста, не торопитесь уходить, — сказала миссис Минк, — такая радость, что вы здесь.

— Я действительно должна идти. Ему пора спать.

Давид украдкой подталкивал мать к двери.

— Этот час я словно провела в раю, — сказала миссис Минк, — приходите почаще! Я никогда не занята.

— Большое спасибо.

Они торопливо спускались по холодной лестнице.

— Я слышала, как вы играли, — сказала мать, — тебе, наверное, понравилось.

Она отперла дверь и зажгла лампу.

— Боже мой! Комната совсем выстыла! — и, взяв кочергу, она присела перед печкой, мешая тусклые угли на решетке. — Я рада, что тебе было весело. Хоть один из нас получил удовольствие нынче вечером! Какое безумие! И эта миссис Минк. Если бы я знала, что она так много говорит, меня бы туда силком не затащили, — она взяла угольное ведерко и стала энергично трясти его, насыпая уголь в печь. — Язык ее вертится, как колесо швейной машины —

только что не шьет. Невероятно! У меня зарябило в глазах, — она нетерпеливо тряхнула головой и поставила ведро. — Мой сын, ты знаешь, что твоя мать дура? Но ты устал, правда? Давай, я положу тебя спать.

Она опустилась на колени перед ним и расшнуровала ботинки. Сняв с него чулки, осмотрела ноги и поцеловала их.

— Слава Богу, у тебя здоровое тело! Мне так жалко эту бедную девочку наверху!

Но она не знала того, что знал он: целый мир может разлететься на тысячу маленьких кусочков, жужжащих, ноющих, и никто их не увидит и не услышит, кроме него.

8

Когда Давид проснулся на следующее утро, ему показалось, что он уже давно лежит с открытыми глазами, не зная, кто он и где находится. Память долго не хотела возвращаться. Его мозг наполнялся медленно, как бутылка под едва открытым краном. Слабая антенна неохотно нащупывала прошлое. Где? Что? Медленно двигались челноки, сплетая утро с ночью и ночь с вечером. Анни! Ох!

Он тряхнул с отчаянья головой, но воспоминание не исчезало.

Окно... Снег, падающий сквозь мутный свет улицы, скользящий по стеклу. Давид смотрел на опускающиеся снежинки. Они медленно падали вниз, если следить за ними, а если смотреть сквозь них, они начинают быстро кружиться. От их монотонного круженья ему стало казаться, что он поднимается все выше и выше. Он летел, пока не закружилась голова. Он закрыл глаза.

С улицы донесся морозный звон лопаты, скребущей камень; далекий и сонный звук.

Ему стало грустно от этого звука в спящем ми-

ре. Зачем кому-то нужно убирать снег, зачем мешать ему? Пусть бы лежал на земле весь год. Тонкий звон лопаты вызывал в нем чувство вялого раздражения. Он поджал ноги и пригнул голову к коленям. Теплые простыни, запахи сна.

Он задремал было опять, но открылась дверь. Вошла мама и села на край постели.

— Спишь? — спросила она, наклонилась и поцеловала его. — Пора вставать в школу, — и, вздохнув, она откинула одеяло и посадила его.

Он, сонно хныкая, поднялся и дрожа пошел за матерью по холодному полу. На кухне было тепло. Она стянула с него пижаму и помогла одеться. Умытый и причесанный, он сел завтракать. Но ел апатично, без удовольствия.

— Почему ты не ешь? — спросила она. — Почти не притронулся к овсянке. Хочешь еще молока?

— Нет, я не голоден.

— Яйцо?

Он покачал головой.

— Надо было раньше уложить тебя спать. У тебя такой усталый вид. Ты помнишь этот странный сон, который тебе приснился ночью?

— Да.

— Откуда такой странный сон? — спросила она задумчиво. — Женщина с ребенком-уродом, толпа людей, идущих за черной птицей. Я не понимаю этого сна. Но, Боже, как ты закричал!

Зачем нужно было напоминать ему об этом опять. И эта тягучая настороженность перед тем, как ему, наконец, удалось уснуть... Анни!

— Что это ты так ударил ногой по ножке стола?

— Не знаю.

— Это все оттого, что ты растешь, — засмеялась она. — Говорят, это происходит во сне. Ты еще спишь, что ли? — она посмотрела на часы. — Еще немножко молока?

— Нет.

— Тогда попьешь больше в двенадцать, — предупредила она. — Ну, тебе пора идти, — она принесла его ботинки и, став на колени, зашнуровала их. — Мне пойти с тобой?

— Я могу идти сам.

— Может быть, ты подождешь Иоси или его сестру?

От одной этой мысли он внутренне содрогнулся. Он бы убежал, если бы встретил их. Он замотал головой.

— Ты сразу пойдешь в школу и не будешь долго ходить по снегу?

— Да, — он опустил наушники своей меховой шапки, взял книги.

— Ну, до свиданья, — она нагнулась поцеловать его. — Такой безразличный поцелуй! Мне кажется, ты меня сегодня не любишь.

Но Давид не мог предложить ей другого поцелуя. Он шагнул за дверь, вспомнил и вздрогнул. Он обернулся:

— Мам, оставь дверь открытой, пока я буду спускаться, пока не услышишь, что я ушел.

— Дитя! Что с тобой? Хорошо, я не закрою. Этот сон еще вертится в твоей памяти?

— Да, — он с радостью согласился с таким объяснением.

— Ну, иди, я буду ждать у двери.

Стыдясь за себя и не чувствуя облегчения от того, что мать недалеко, он начал спускаться. Дверь подвала внизу была закрыта. Он посмотрел на нее с ужасом, и его сердце ушло в пятки.

— Мама? — позвал он.

— Да.

Он перепрыгнул через последние три ступеньки, что раньше у него никогда не получалось, и, упав на колени, выронил связку книг. Но тут же вскочил на ноги и, как преследуемое гончими животное, бросился к бледному уличному свету.

Его ждала беззвучная белая улица с сугробами вдоль тротуара. Шагов не было слышно. Недавно

подметенные черные дорожки перед домами опять серели. Он чувствовал холодные снежинки на щеках. Прищулив глаза, он двинулся вперед. Снежинки в небе были черными, пока не опускались до крыш. Потом они вдруг белели. Почему? Снежинка села на ресницы. Он моргнул, и она превратилась в слезу. Под ногами прохожих снег превращался в сырую скользкую корку. Вдоль тротуара тянулись поручни с белыми снежными трубами на них. Он провел по ним рукой. Ледяющий снег, от которого немела кровь, собрался под его ладонью. Он слепил из него шар, поиграл им и бросил.

В конце улицы он повернул за угол, потом за другой. Интересно, то все еще на месте? Он ускорил шаги. То все еще висело рядом с дверью. Он уже третий день все забывал спросить, что это значит. Что бы это могло значить? Зеленые листья были наполовину закрыты снегом. Даже красная ленточка была в снегу. Бедные белые цветы выглядели, как остекленелые. Он задумчиво посмотрел на них и двинулся дальше.

Он повернул за последний угол. Послышались детские голоса. Недалеко, на другой стороне улицы была школа.

Что делать, если он увидит Анни? Смотреть в сторону, пройти мимо...

Нужно было перейти улицу. Дети переходили по протоптанной в снегу дорожке. А по бокам тянулась нетронутая белизна канавы. Он остановился. Вот где нужно бы переходить. Ни единого следа. А может, не стоит. Сугроб у тротуара с него ростом. Но здесь никто еще не переходил. Это будет его собственная дорожка. Да. Он разбежался и, едва преодолев первый сугроб, провалился по колени в снег. Он услышал насмешливые голоса позади себя. Но он рвался вперед, вперед. Стоило ли делать это? Теперь он будет весь в снегу, мокрый. Но как удивительно чисто было вокруг него, белее, чем все, что он знал, белее всего, белее. Второй сугроб был плот-

нее первого. Он взобрался на него, почти утопая, и спрыгнул на ровное место, отряхиваясь. Снег на мостовой, смешанный с солью, затоптанный ногами детей, становился грязнее с приближением к школе.

Услышав смех, он поднял голову. Перед ним два парня, широко расставив ноги, состязались, чья струя мочи долетит дальше. От жидкости клубился пар над снегом и желтизна проступала на краю дорожки.

На мостовой снег никогда не бывал белым. Дверь школы. Он вошел.

Если он увидит ее, пройти, пробежать мимо...

9

Наконец, зазвонил трехчасовой звонок. Давид торопливо пробирался сквозь шумную толпу детей. Он не встретил Иоси и Анни и теперь первым бросился домой, боясь, что они догонят его.

Снег перестал падать, и, хотя облака еще серели в небе, было теплей, чем утром. Снежная крепость, до половины построенная на прошлой перемене, ждала своего завершения. По дну канавы вытянулась, как черная лента, ледяная дорожка. На очищенном от снега тротуаре серели предательские заплатки льда.

Он шел очень быстро, время от времени оглядываясь через плечо. Нет, их не было видно. Он обогнал их. Он повернул за угол и замер, увидев перед собой странную картину. Осторожно подошел поближе.

Линия черных экипажей, замерших вдоль сугроба. Он уже где-то видел такие коляски. Но один был очень странный — квадратный и с окнами по бокам. На лошадях были черные плюмажи. Люди у дверей дома тихо шептались и старались заглянуть в коридор. Во всех соседних домах были открыты окна, и из них высовывались мужчины и женщины. В одном из окон женщина махала рукой кому-то в глубине комнаты. К ней, слегка улыбаясь, подошел мужчина,

похлопал ее по спине и протиснулся в окно рядом с ней. На что они смотрели? Что должно было появиться из дома? Вдруг он вспомнил. Здесь были цветы! Да, он помнил эту дверь, эти белые плоские колонны. Цветы! Почему? Он оглянулся, чтобы спросить кого-нибудь, но вокруг не было никого из его сверстников. У одной из повозок стояло несколько человек, одинаково одетых в длинные черные пальто и высокие шляпы. Кучера. Они единственные казались спокойными, хотя даже они разговаривали вполголоса. Нужно послушать, о чем они говорят. Он скользнул к ним, напрягая слух.

— И что вы думаете, этот болван сказал мне? — говорил мужчина с грубым, обветренным лицом. Дым сигареты окутывал слова, вылетающие изо рта. — Он сказал: "Ты что встал?" Как вам нравится это дерьмо?

Он посмотрел на собеседников, ожидая сочувствия. Те согласно закивали.

Чувствуя поддержку, мужчина продолжал:

— Он своим шестом вперся в мою лошадь и кричит: "Что ты встал!" Я чуть не проломил ему тыкву, чертову ослу!

— Это уже второй раз, да? — спросил кто-то.

— Черта с два, — гневно ответил он, — это — в третий раз. Сначала он столкнулся с Джефом, потом с Тойнером и вчера со мной!

— Эй! — вдруг сказал один из них. — А вот и лодка с веслами!

Побросав сигареты, они торопливо разошлись и залезли на козлы своих колясок.

Еще больше недоумевая, Давид приблизился к дверям. Мужчина в высокой черной шляпе только что вышел из них и стоял на крыльце, озабоченно оглядываясь в коридор. Толпа замолчала и сгрудилась, как бы защищаясь. Казалось, что из коридора сочится ужас. По знаку мужчины в высокой шляпе были открыты дверцы странного экипажа. Внутрь него, в полумраке, поблескивал металл. Занавес-

ки с кисточками не пропускали света. Из коридора послышалось медленное шарканье ног. Толпа издала тихий стон.

— Несут! — прошептал кто-то, вытягивая шею. Давид почувствовал одиночество и страх.

Появились два человека, сгибаясь под большим черным ящиком. Потом еще два, с другого конца. С красными от напряжения лицами они медленно спустились по ступенькам, приблизились к экипажу и опустили конец ящика на пол кузова.

Это был...! Да! Он вдруг понял. Мама говорила... Внутри! Человек! Он похолодел от ужаса.

— Полегче! — предостерег мужчина в черной шляпе.

Они втокнули ящик, нырнув вслед за ним. Он мягко, без усилия скользнул внутрь, как бы по рельсам или на колесиках. Человек, открывший дверцы, вставил большой серебряный болт в отверстие перед ящиком и привычным жестом закрыл экипаж. По кивку мужчины в черной шляпе экипаж откатился на небольшое расстояние и остановился. К дому подъехала следующая карета.

Из дома вышла рыдающая, согнувшаяся женщина в черном, поддерживаемая двумя мужчинами.

В толпе зашептались. Женщины заплакали. Давид никогда не видел носового платка с черной каемкой. У этой женщины платок был белый, как снег.

Он услышал детские голоса и оглянулся. Это были Анни и Иоси, наблюдающие за женщиной, сающейся в экипаж. Он задрожал, прокрался сквозь толпу и бросился бежать.

У дверей своего дома он остановился, заглянул внутрь и отступил. Что делать? В прошлый раз, приближаясь к дому, он увидел миссис Неррик, домовладелицу, поднимающуюся по ступенькам. Побегав, как сумасшедший, он догнал ее и промчался мимо подвала до того, как она закрыла свою дверь. Но сейчас никого не было видно вокруг. В любой момент Анни и Иоси могут появиться из-за угла. Он должен... пока они не видят... но эта темнота,

эта дверь, темнота. Человек в ящике в карете. Один. Он должен.

Надо наделать шуму. Шуметь... Он двинулся вперед. Что? Звуки. Любые.

— Ааааа! Ооооо! — закричал он дрожащим голосом. — Это ты, моя страна! — он побежал. Дверь подвала. Громче: — Сладкая земля свободы! — кричал он, вихрем летя к лестнице. — О тебе я пою, — его пение превратилось в вопль. Его ноги стучали по ступенькам. Страх преследовал его. — Страна, где умерли наши отцы!

Вот и дверь. Он кинулся к ней, распахнул, захлопнул и, задышавшись, остановился, полный ужаса.

Мать смотрела на него с удивлением.

— Это ты?

Сдерживая слезы, он опустил голову.

— Что случилось?

— Не знаю, — хныкнул он.

Она невесело засмеялась и села.

— Иди сюда, странный ребенок. Иди. Ты весь белый. Давид подошел и прильнул к ее груди.

— Ты дрожишь, — она гладила его по волосам.

— Я боюсь, — прошептал он.

— Все еще боишься? — произнесла она успокаивающе. — Этот сон еще преследует тебя?

— Да, — он вздрогнул от бесслезного рыдания, — и что-то еще.

— Что еще? — она взяла его руки в свою, а второй обняла его и прижала к себе. — Что? — прошептала она. Мягкое прикосновение ее губ к виску, казалось, проникало внутрь, вглубь, источая прохладу и сладость, единственное, что могло воспринять его тело. — Что еще?

— Я видел человека в ящике, как ты один раз говорила.

— Что? Ох! — ее недоумевающее лицо прояснилось. — Похороны. Боже, даруй нам жизнь. Где это было?

— За углом.

— И ты испугался?

— Да, и в коридоре темно.

— Я понимаю.

— Ты выйдешь на лестницу, если я буду кричать в следующий раз?

— Да, я буду выходить столько раз, сколько ты захочешь.

Давид прерывисто вздохнул от облегчения и благодарно поцеловал ее в щеку.

— Если я не выйду, — засмеялась она, — миссис Неррик выгонит нас. Я никогда не слышала, чтобы так топали ногами по лестнице! — она расшнуровала ему ботинки, встала и усадила его на стул. — Сиди здесь, дорогой. Сегодня пятница, и у меня много дел.

Давид посидел немного, чувствуя, как успокаивается сердце. Потом он повернулся и посмотрел в окно. Сеялся мелкий дождик, покрывая окно неровными дорожками воды. Под дождем снег во дворе начал превращаться из белого в серый. Голубой, прибитый дождем дым стремился выпрямиться и исчезал. Время от времени старый дом поскрипывал, когда ветер толкал его локтями. Рожденный за туманом и дождем, на какой-то далекой реке, проревел пароходный гудок. Он оставил странную дрожь в сердце...

Пятница. Дождь. Конец занятий. Теперь он мог быть дома. Быть около мамы и ничего не делать до самого сна. Он отвернулся от окна и посмотрел на нее. Она сидела за столом и чистила свеклу. Нож входил под кожуру, и, как будто поднимали заслонку маленькой печки, — под кожурой неожиданно вспыхивало красное, а руки покрывались красными пятнами. Ее лицо, склоненное над работой, было напряжено и губы плотно сжаты. Он любил ее. Он снова был счастлив.

Его взгляд бродил по кухне. Обычный беспорядок пятницы. Кастрюли на плите, очистки в раковине, каталка в муке, доска. Воздух был теплый,

наполненный множеством запахов. Мать поднялась, вымыла свеклу и разложила ее на доске.

— Ну вот, — сказала она, — теперь я опять могу убирать.

Она убрала со стола, вымыла посуду, выгребла мусор из раковины. Потом опустилась на четвереньки и стала мыть пол. Подтянув колени к груди, Давид наблюдал, как она терла линолеум под его стулом. Какая глубокая тень была между ее грудями! Как далеко она... Нет! Нет! Лютер! Он так смотрел! В тот вечер! Не нужно! Не нужно! Отвернись! Быстро! Посмотри на... на линолеум, как он блестит под тонкой пленкой воды.

— Теперь тебе придется сидеть, пока высохнет, — предупредила она, распрямляясь и убирая со щеки выбившиеся прядки волос. — Несколько минут, не больше, — она нагнулась, отступая и затирая тряпкой свои следы. Потом вышла в другую комнату.

Оставшись один, он снова приуныл. Его мысли вернулись к Лютеру. Опять придет сегодня вечером. Зачем? Почему он не исчезнет? Так и будут они убежать каждый четверг? Идти к Иоси? Ему снова придется играть с Анни? Он не хотел. Он не хотел больше видеть ее. Но ему придется. Как он увидел ее сегодня у кареты. Черная карета с окном. Страшно. Длинный ящик. Страшно. Подвал. Нет!

— Мама! — вскрикнул он.

— Что такое, сынок?

— Ты, что, ложишься спать?

— О, нет. Конечно, нет. Я решила причесаться немного.

— Ты скоро придешь?

— Ну да. Ты чего-нибудь хочешь?

— Да.

— Подожди секунду.

Он с нетерпением ждал, пока она появится. Она вошла спустя некоторое время, переодетая и причесанная. Постелив на ступеньки, ведущие из гостиной, чистое старое полотенце, она села.

— Я не могу к тебе подойти, — улыбнулась она. — Ты на острове. Что ты хотел?

— Я забыл, — сказал он, запинаясь.

— Ну и гусь же ты!

— Пол сохнет, — объяснил он, — а я следи за ним, да?

— И я тоже должна, да? Боже, ну и тираном ты будешь, когда женишься!

На самом деле Давида не волновало, что она о нем подумает. Главное, чтобы она сидела здесь. К тому же он хотел кое о чем ее спросить, только никак не мог решиться. Это могло быть очень неприятно. Но все равно, неважно, что она ответит или что он узнает. Лишь бы около нее, в безопасности.

— Мам, ты когда-нибудь видела мертвеца?

— Ты что-то очень весел сегодня!

— Ну, скажи, — нырнув в это опасное море, он решил переплыть его, — ну, скажи, — настаивал он.

— Хорошо, — ответила она задумчиво, — двойняшек, что умерли, когда я была маленькой девочкой, я не помню. Моя бабушка была первая, кого я видела и запомнила. Мне тогда было шестнадцать.

— Отчего она умерла?

— Я не знаю. Никто не знал.

— Ну, отчего?

— Ох, до чего ты дотошный! Я думаю, была причина. Хочешь знать, что я об этом думаю?

— Да, — сказал он нетерпеливо.

Мать глубоко вздохнула и подняла палец, чтобы привлечь и без того напряженное внимание.

— Она была очень маленькой, моя бабушка, очень хрупкой и деликатной. Ее руки пропускали свет, как всер. При чем тут смерть? Ни при чем. Но тогда как мой дед был очень набожный, она только притворялась, совсем, как я, да простит Господь нас обоих. Так вот, у нее был маленький сад перед домом. Летом он был полон красивых цветов, и она сама за ними ухаживала. Мой дед, богатый еврей, никак не мог понять, зачем ей проводить весной

каждое утро за поливкой цветов, обрезкой мертвых листьев, то с лопатой, то с граблями, если у них есть так много слуг, чтобы этим заниматься. Ты не поверишь, какие тогда были дешевые слуги. У деда их было пять. Да, он раздражался, когда видел, что она работает в саду, и говорил, что это почти кошунство для еврейки ее положения — она тогда была очень богатая. Тогда еще не вырубili леса...

— Какие леса?

— Я тебе о них рассказывала — об огромных лесах и лесопилках. Мы были богаты, пока были леса. Но, когда их вырубili и лесопилки стали не нужны, мы обеднели. Понимаешь? Так вот, дед раздражался, когда видел, что она пачкает свои руки землей, как какая-нибудь крестьянка. Но бабушка только улыбалась ему. Я еще и сейчас вижу, как она, оторвав лицо от земли, улыбается. И говорит, что, поскольку у нее нет такой прекрасной бороды, как у него, чтобы поглаживать ее, так ничего плохого нет в том, что она чуть запачкает руки. У деда была борода, которая очень рано поседела. Он страшно ею гордился. И однажды бабушка сказала, что добрый Господь не разозлится, если она украдет немного из наследства Исава. Земля и поля — это наследство Исава. Она сказала, что сам Исав всю ворует у Исаака. Она имела в виду магазины, которые открывали гои* в нашем городе. Что деду оставалось делать? Он смеялся и называл ее змеей. Подожди, подожди, сейчас, — она ответила улыбкой на его нетерпение, — старея, она становилась очень странной. Сказать тебе, что она делала? Когда приходила осень, и все умирало...

— Умирало? Все? — прервал ее Давид.

— Не все, маленький гусь. Цветы. Когда они умирали, она не хотела выходить из дома. Правда, странно? День за днем она оставалась в своей большой комнате, там были хрустальные подсвечники. Ты

* Гои (идиш) — иноверцы, неевреи.

не поверишь, как тихо она сидела, не видя слуг, не слыша, о чем говорят. Руки она вот так складывала на коленях. Дед очень переживал. Он просил ее выйти, даже заставлял. Он даже ходил к главному раввину. Ничего не помогало. До первого снега она не выходила из дому по своей воле.

— Почему?

— Сейчас узнаешь. Посмотрим, сможешь ли ты найти ответ. Однажды, когда я пришла к ней поздней осенью, она сидела очень тихо, как всегда, в своем большом кресле. Но, когда я хотела снять пальто, она сказала: "Не надо, Геня, дорогая. На стуле в углу висит мое пальто. Не дашь ли ты его мне, дитя?" Я удивилась. Ее пальто? Значит, она добровольно собиралась выйти из дому? И тут я заметила, что на ней было ее лучшее субботнее платье из черного блестящего атласа, очень дорогое. Вижу ее, как живую. А на голове — она никогда не давала себя постричь * — у нее был широкий круглый гребень с рядами жемчужин — самый первый подарок деда. Совсем как корона. Я принесла пальто и помогла ей одеться. "Куда мы пойдем, бабушка?" — спросила я. Ничего не могла понять. "В сад, — сказала она, — в сад". Ладно, таково ее желание. И мы вышли в сад. День был очень серый и ветреный с настоящими вихрями, такими сильными, что они как руками гнули деревья к земле. Даже нас они чуть не свалили с ног. И было холодно. И я сказала ей: "Бабушка, не холодно ли тебе здесь? Не слишком ли сильный ветер?" Нет, у нее теплое пальто, ответила она. И потом поведала очень странную вещь: "Ты помнишь Петруша Колонова?" Я не помнила. "Гой, — сказала она, — дурачок. Он много лет работал у деда. Когда-то его шея была, как ствол дерева, но потом он постарел и согнулся. И когда стал так стар, что не мог под-

* Благочестивые еврейки при выходе замуж остригают волосы и постоянно ходят с покрытой головой.

нять вязанку хвороста, сидел на камне и смотрел на горы”, — это бабушка сказала, понимаешь?

Давид не мог уловить путаную нить ее рассказа, но кивнул:

— Почему он сидел? — спросил он, боясь, что она перестанет говорить.

Она тихо засмеялась:

— Тот же вопрос был задан тремя поколениями — тобою, мною и бабушкой. Он был хороший работник, этот Петруш, настоящий вол. И когда бабушка спросила его: ”Петруш, чего ты сидишь, как бочонок, и смотришь на горы?” — он только ответил: ”У меня выпали все зубы”. — Вот что рассказала мне бабушка, пока мы гуляли. Ты выглядишь озадаченным, — засмеялась она опять.

Он и на самом деле был озадачен, ведь она ничего не объяснила.

— И так мы шли, и ветер кружил листья. Шпшшууу! Вот так они поднимались. И один прилип к ее пальто, словно бы ветер прижал его пальцем. Она взяла лист и смяла. Потом вдруг сказала: ”Давай, вернемся в дом”. На самом пороге она вздохнула так, что даже задрожала. Глубоко. Как вздыхают перед сном. И уронила обрывки листа, который держала. ”Нечего страдать, — сказала она, — даже лист блекнет, когда стареет”. Понимаешь? О, она была мудрая. И мы вошли в дом.

Мама замолчала и попробовала, высох ли пол. Потом она поднялась и пошла к плите, чтобы отставить кипящий суп с огня на холодное место.

— Вот и пол высох, — улыбнулась она, — теперь я свободна.

Но Давид чувствовал себя обманутым и злился.

— Ты... ты не все рассказала мне! — запротестовал он. — Ты даже не сказала, что случилось?

— Неужели? — засмеялась она. — Что еще можно сказать? Она умерла той же осенью, перед первым снегопадом, — мать смотрела на дождь, барабанивший в окно, ее лицо стало серьезным, — она была

такая хрупкая в своем саване... как тебе сказать, сынок. Как ранний снег. И я подумала, что нужно внимательно смотреть на ее лицо, потому что она наверняка растает у меня на глазах, — она опять улыбнулась. — Ну, теперь тебе достаточно?

Он кивнул. Непонятно, почему, но ее последние слова взволновали его. Ее заключительный жест, легкая хрипота в голосе передали то, что он не смог уловить как мысль. Где таилась эта мечтательная, пугливая грусть, в его сердце, или ею был пропитан зыбкий воздух кухни? Он не мог сказать. Но только бы воздух всегда был таким, и всегда бы быть здесь вдвоем с матерью! Быть рядом с нею. Быть частью ее.

Дождь за окном скреплял вечной печатью их уединение, близость и единство. Она открыла дверцу печи, и розовое пламя озарило ее широкий лоб и обогрело его тело. Он был рядом с ней. Был ее частью. Как хорошо быть здесь! Он жадно следил за каждым ее движением.

Она покрыла стол новой белой скатертью. Скатерть повисела в воздухе, точно облако, и медленно опустилась. Она взяла с полки три медных подсвечника и поставила их в центре этой белизны. В каждую медную чашечку она воткнула по свече.

— Мама!

— Да?

— А что делают, когда умирают?

— Что? — повторила она. — Холодеют и не движутся. Закрывают глаза и спят вечные годы.

...”Вечные годы”. Эхо этих слов звучало в его мозгу. Взволнованно перебирал он их, словно они имели собственный блеск и форму. ”Вечные годы...”

Мать накрывала на стол. Тихо звенящие ножи, вилки, ложки, друг подле друга. Солонка — таинственный маленький сосуд из тусклого серебра, серо-коричневый глаз перца в глубине стеклянной перечницы, эмалевая сахарница, безголовые плечики щипцов.

— Мам, а что такое ”вечные годы”?

Мать, отчаявшись, вздохнула, подняла на секунду глаза, потом опустила их на стол. Ее взгляд задумчиво блуждал поверх тарелок и серебра. Ее глаза загорелись. Она протянула руку к сахарнице, взяла щипцы и осторожно поднесла к глазам кубик сахара.

— Вот сколько может ухватить мой мозг, — шутливо сказала она, — видишь? Не больше. Стал бы ты меня просить поднять этими щипцами замерзшее море? Даже снежный человек не смог бы этого сделать, — она опустила щипцы в сахарницу, — для них море...

— Но... — прервал ее Давид в ужасе и замешательстве, — но они когда-нибудь просыпаются?

Она развела ладони, изображая пустоту.

— Некому просыпаться.

— Но иногда, мам, — настаивал он.

Она покачала головой.

— Иногда?

— Не здесь, если вообще где-нибудь. Говорят, что есть небеса, и там мертвые просыпаются. Но я этому не верю, да простит меня Бог. Я знаю только, что их хоронят в черную землю, в темноту, и их имена еще живут несколько жизней на могильных плитах.

"Темнота". "В черную землю". "Вечные годы". Это было страшное открытие. Он смотрел на мать немигающими глазами. Взяв тряпку, лежавшую на краю раковины, она подошла к плите, распахнула дверцу и выдвинула противень. Тепло и запах свежего хлеба вошли в его существо, как осязаемое видение. Мать расстелила салфетку около свечей и положила хлеб на нее.

— Осталось зажечь свечи, — садясь, прошептала она, — и моя работа закончена.

— Кто сделал пятницу таким трудным днем для женщин?

..."Темнота. В могиле. Вечные годы..."

Короткие, бурлящие порывы дождя за окном...

Часы тикали слишком быстро. Нет, никогда... В темноте.

Последние лучи света впились в сумерки. Лицо матери задрожало и затуманилось, как будто опустилось под воду. Сложный рисунок пятен, как пена, кружащаяся в скудном свете...

... Как кукурузные хлопья в витрине того магазина. Кружащиеся и опускающиеся. В тот день. Давно.

Его взгляд следовал за бесцельным потоком света, кружащегося и мерцающего в комнате, беспокойно оттеняющего контуры двери и стола.

...Это был снег, серый снег. Маленькие клочки бумаги, летящие из окна в тот день. "Конфетти, — сказал мальчик, — конфетти". Это бросали на тех двоих, которые должны были пожениться. Торопливый человек в высокой, блестящей, черной шляпе. Женщина в белом, смеющаяся, жмущаяся к нему, увертывающаяся от конфетти, смигивающая с ресниц попавшую на них бумажку.. Ждущие кареты. Конфетти на крыльце, на лошадях. Забавно. Они садятся в карету и оба смеются. Конфетти. Кареты.

...Кареты!

...Те же самые!

...Как в тот день! Когда вынесли ящик! Кареты!

...Те же самые!

— Кареты!

— О, Господи! — воскликнула мать. — Ты меня испугал! Отчего ты так подпрыгиваешь на стуле? Уже второй раз сегодня!

— Они были те же самые, — сказал он голосом, полным трепета. Теперь все решилось. Он понял наконец. Все принадлежало той же самой темноте. Конфетти и гробы.

— Что те же самые?

— Кареты!

— О дитя! — сказала она. — Один Бог знает, о чем ты бредишь сейчас! — она поднялась со стула и взяла спичечный коробок. — Зажгу-ка я свечи, пока тебе не привиделся ангел.

Чиркнула и вспыхнула спичка, подчеркивая густоту наступившего сумрака. Одну за другой мать зажгла свечи. Пламя, качаясь, поднималось на фитилях, успокаиваясь, смягчало непокорную медь под собой, зажигало узелки на хлебной корке. Сумерки исчезли, и кухня осветилась. День, начавшийся в труде и беспокойстве, расцвел теперь в пламени свечей и покое.

Мать склонила голову перед свечами и шептала сквозь пальцы, закрывавшие ее лицо, древнюю субботнюю молитву...

Час покоя, час смуглой красоты...

10

Мать встала и зажгла газовую лампу. Голубой свет внезапно сжал язычки свечей в бесполезные ядрышки желтого огня.

Давид грустно смотрел на них, жалея, что мать сделала это.

— Они скоро придут, — произнесла она.

"Они"! Он вздрогнул. "Они придут"! Лютер. Отец. Они! О! Конец тишине и спокойствию. Он чувствовал, как в нем серым облаком клубится страх. Как будто слова матери были камнем, брошенным на пыльную дорогу. Покой и радость покидали его. Почему должен прийти Лютер? Давиду будет стыдно смотреть на него, он не сможет. Даже думая о нем, он чувствовал себя так же, как однажды в школе, когда его сосед по парте ковырялся в носу, катал шарики между пальцев и потом, оглядываясь с отсутствующей улыбкой, вытирал пальцы о сиденье. У Давида сводило ноги от отвращения. Он не должен был видеть это, не должен был знать.

— И мистер Лютер тоже придет?

— Конечно, — она обернулась и посмотрела на него, — почему ты спрашиваешь?

— Не знаю. Я просто думал, ему не понравилось, как ты... как ты готовишь.

— Как я...? О! Понимаю! — она слегка покраснела. — Не думала, что ты все так хорошо запоминаешь.

Она оглянулась, будто забыла что-то, и поднялась по ступенькам в гостиную.

Он посмотрел сквозь окно в темноту. Дождь еще лил. Они, наверное, сейчас торопливо приближаются к нему. Торопливо потому, что льет дождь. Если бы он мог убежать, пока они не пришли, спрятаться, пока не уйдет Лютер, не появляться, пока он не уйдет навсегда. Но как уйти? У него перехватило дыхание. Можно убежать, пока не вернулась мать. Беззвучно прокрасться за дверь. Вот так! Открыть дверь и скатиться вниз по лестнице. Подвал! Пробежать мимо, оставляя пустую кухню наверху. Она будет везде искать — под столом, в коридоре. Она будет звать: "Давид, Давид, где ты?" Но его не будет...

Он услышал, как в гостиной открылось и снова закрылось окно. Вошла мать с кастрюлей в руках. В углублениях крышки была вода.

— Ужасная ночь, — она стряхнула воду в раковину, — рыба замерзла.

Слишком поздно.

Теперь он должен быть здесь до конца, пока Лютер придет и уйдет. Но, может быть, мама ошибается, и Лютер не придет. Ах, если бы он не пришел больше никогда! Ну, зачем ему приходить? Он был здесь вчера, когда никого не было дома.

— Не приходите, — шептал он снова и снова. — Пожалуйста, мистер Лютер, не приходите! Не приходите больше никогда.

Время шло, и, когда Давиду уже казалось, что он забыл о Лютере, внизу, в коридоре, послышалось знакомое шарканье ног. Голоса на лестнице! Лютер пришел. Бросив взгляд на настороженное лицо матери, Давид прокрался по ступенькам в сумрак гостиной. Он стоял у окна, прислушиваясь к звукам

позади него. Открылась дверь. Он слышал их приветствия и медленную речь Лютера. Сейчас они, наверное, снимают пальто. Если бы только забыли о нем. Если бы это было возможно. Но...

— Где же наш молещик? — спросил отец.

После паузы голос матери ответил:

— Я думаю, он в гостиной. Давид!

— Да, мама. — Негодование и обида переполняли его.

— Он там.

Убедившись, что он рядом, они, казалось, на время забыли о его существовании, но потом отец снова спросил, на этот раз с грозной ноткой раздражения.

— Ну, что ж он не идет? Давид!

Дальше тянуть было невозможно. Он должен идти. Он вышел из гостиной, глядя на свои ботинки, шаркал к столу и сел на стул, ощущая на себе любопытные взгляды.

— Что это с ним случилось? — резко спросил отец.

— Не знаю. Может быть, это желудок. Он почти ничего не ел сегодня.

— Хорошо, сейчас он будет есть, — сказал отец строго, — ты даешь ему слишком много всякой ерунды.

— Испорченный желудок — печальная штука, — пособолезновал Лютер, и Давид ненавидел его за это сочувствие.

— Ай! — воскликнул отец. — Это не желудок, Джо, это его вкус, изнеженный деликатесами.

Мать поставила перед Давидом тарелку с супом.

— Ешь, это вкусно, — попросила она.

Он не смел отказаться, хотя сама мысль о еде вызывала в нем отвращение. Напрягшись, он погрузил ложку в мерцающую красную жидкость и поднес к губам. Но ложка не достигла рта. Она уперлась во впадину под нижней губой, обожгла кожу и выпала из его онемевших пальцев в тарелку. Красный фонтан метнулся во все стороны, покрывая

пятнами его рубашку и белую скатерть. Давид с ужасом смотрел, как расплывались и соединялись пятна.

— Неуклюжий, как турок! — крикнул отец, стуча по столу костяшками пальцев. — Ты поднимешь голову или хочешь, чтобы она тоже побывала в тарелке?

Давид поднял испуганные глаза. Лютер искоса поглядывал на него, неодобрительно цокая зубами.

— Ничего страшного! — попыталась успокоить мать. — Скатерти для этого и существуют.

— Лить на них суп, да? — саркастически спросил отец. — И рубашки тоже для этого существуют? Очень мило. Почему же не всю тарелку, раз уж он начал?

Лютер хихикнул. Не отвечая, мать положила ладонь на лоб Давида:

— Кушай, кушай, маленький.

— Что это ты делаешь, — спросил отец, — пробуешь, есть ли у него температура? "Маленький"! Этот щенок абсолютно здоров, если не считать, что ты распустила его! — он погрозил Давиду пальцем. — Сейчас ты проглотишь свой суп, как человек, а не то я дам тебе вместо него кое-что другое!

Давид всхлипнул и с ненавистью посмотрел на тарелку.

-- Запомни мои слова!

— Может быть, ему лучше не есть, — вмешалась мать.

— Не мешай, — и Давиду: — Ну, ты будешь есть?

Дрожа, почти на грани тошноты, Давид взял ложку и заставил себя есть. Спазмы прошли. Отец нетерпеливо повернулся к Лютеру.

— Что ты говорил, Джо?

— Я говорил, — сказал Лютер своим медленным голосом, — что когда ты будешь уходить, запри только одну дверь, слышишь. Остальное я запру сам перед уходом, — он вытащил из кармана кольцо с ключами и отделил один. — Вот этот закрывает. И я так тебе скажу, — он протянул ключ отцу, — я расчи-

тываю на четыре часа. Вся работа не займет больше, чем два-три часа максимум.

— Понимаю.

— Но на этой неделе ты не получишь больше. Бухгалтер...

— Тогда на следующей неделе.

Лютер прочистил горло.

— Завтра вечером приготовьте на одну порцию меньше, — сказал он матери Давида.

— Да? — спросила она со сдержанным удивлением и повернулась к мужу. — Ты придешь так поздно, Альберт?

— Не я.

— Нет, не Альберт, — усмехнулся Лютер, — я.

Сердце Давида подпрыгнуло от счастья.

— Значит, я не должна завтра готовить для вас обед?

— Да, у меня есть кое-какое дело, — сказал он неопределенно. — Может быть, в воскресенье. Нет, знаете что, если я не приду до семи в воскресенье, тоже не ждите меня с обедом.

— Хорошо.

— Но я все равно заплачу за полную неделю.

— Если вы не придете... — возразила мать.

— О, неважно, — прервал Лютер, — договорились?

Он кивнул и взял свою ложку.

Давид ел осторожно, время от времени поглядывая тайком на отца и пытаясь больше не раздражать его своим поведением. На Лютера он даже не решался посмотреть из страха, что самый вид этого человека смутит его и повлечет новые ошибки. Когда мать поставила перед ним десерт, он уже глядел по сторонам, ища куда бы убежать, где бы скрыться так, чтобы они ощущали его присутствие, но не обращали на него внимания. Он мог притвориться сонным, и мама уложила бы его в постель, но было еще слишком рано. Что делать до сна? Куда убежать хоть ненадолго? Комнаты их квартиры предстали перед ним. Гостиная? Тогда отец скажет: "Что это

он там делает, в темноте?" Спальня? Нет. Отец скажет то же самое. Где же? Туалет. Да! Он будет сидеть на стульчаке, пока его не позовут.

Он доел последнюю сливу и уже хотел соскользнуть со стула, когда вдруг увидел краем глаза, как рука Лютера двинулась к карману и вытащила часы.

— Я должен идти! — Лютер чмокнул губами.

Он уходит. Давид чуть не запласал от радости. Это было слишком хорошо, чтобы быть правдой.

— Так скоро? — спросила мать.

К удивлению Давида, его отец засмеялся, и Лютер присоединился к нему, как будто в этом крылась только им понятная шутка.

— Я даже немного опаздываю, — Лютер убрал часы и поднялся. — Но сперва я должен заплатить вам.

Давид уставился в тарелку, прислушиваясь. Он мог думать только об одном — Лютер уходит, через минуту его не будет. Он поднял голову. Отец зачем-то ушел в спальню, и, как только он скрылся, глаза Лютера метнулись по телу матери. Давид вздрогнул и торопливо опустил взгляд. Взяв свое пальто, принесенное отцом Давида, Лютер надел его, и Давид всеми силами своей души торопил ноги, приближающиеся к двери.

— Ну хорошо, — произнес Лютер, наконец, — доброй недели всем вам. И пусть молещик, — указал он шляпой в сторону Давида, — скорее выздоравливает.

— Спасибо, — ответила мать, — счастливой недели.

— Подними голову! — рявкнул отец. — Спокойной ночи, Джо, до завтра. Удачи тебе. — Мужчины засмеялись.

— Спокойной ночи, — Лютер вышел.

Со вздохом облегчения стряхнул с себя Давид скованность, владевшую его телом.

Отец смотрел на дверь. Его лицо расслабилось в улыбке.

— Он ищет несчастье на свою голову, — сказал он сухо.

— Это ты о чем?

Отец удивленно хмыкнул:

— Ты что, не заметила, как он странно себя вел сегодня?

— Да, я... — она засмушалась, вопросительно глядя на мужа, — но все-таки почему?

Он повернулся к ней, и она отвела взгляд.

— Ты что, не заметила, как он был смущен?

— Нет. Да. Вроде...

— Ты ничего не видишь, — он резко усмехнулся, — он пошел к брачному агенту.

— О! — ее лицо просветлело.

— Да. Это секрет. Понимаешь? Ты ничего об этом не знаешь.

— Понимаю, — она едва заметно улыбнулась.

— Он свободен, как ветер, и ищет себе камень на шею.

— Может быть, ему действительно нужна жена, — ответила она, — он часто говорит, что хочет иметь дом и детей.

— А, дети! Новые беды! Ему нужны не дети, а деньги. Он хочет открыть свою типографию. Так он, по крайней мере, говорит.

— Мне показалось, ты сказал, что он ищет себе несчастья, — засмеялась она.

— Конечно! Он слишком торопит события. Если бы он подождал еще несколько лет, у него было бы достаточно своих денег на типографию — без жены. Надо ждать! Я говорил ему. Ждать! А он говорит: "Нет. Мне нужна тысяча. Я хочу большой зал с четырьмя или пятью прессами". Но он узнает, что такое еврейская тысяча. Если она дотает только до пяти сотен на следующее же утро после того, как он нырнет под подол, можно будет считать, что ему еще повезло, — он спокойно рыгнул, и его кадык подпрыгнул. Потом он оглянулся, сведя брови, как будто искал чего-то.

— Я слышала, как он велел тебе запереть типографию, — сказала она.

— Да, он дает мне немного подработать. Я не приду домой до четырех или пяти, может быть, даже позже. Боже! — взорвался он. — Человек получает восемнадцать долларов в неделю, на шесть больше меня, и ему зудит заложить себя жене, — он замолчал и снова оглянулся. — Где "Тагеблатт"?

Мать испугалась.

— "Тагеблатт", — повторила она растерянно, — о, где мои мозги. Я забыла купить. Дождь! Я ждала, пока он кончится.

Он нахмурился. С шумом сложив посуду в раковину, она вытерла руки полотенцем.

— Я вернусь через минуту.

— Куда это ты собираешься?

— За платком.

— А с Давидом что случилось? Что, у него нет ног?

— Но я сделаю это намного быстрее.

— В этом вся твоя беда, — сказал он резко, — ты все делаешь за него. Пусть он пойдет.

— Но на улице мокро, Альберт.

Лицо отца потемнело.

— Пусть он пойдет, — повторил он, — не удивительно, что он ничего не ест. Он плесневеет в доме целыми днями! Ну-ка, одевайся. Пошевеливайся, когда я с тобой говорю.

Давид вскочил со стула, с тревогой глядя на мать.

— О, — запротестовала она, — зачем ты...

— А ты помолчи! Ладно?

— Очень хорошо, — сказала она зло, но уже покрившись, — я принесу его пальто.

Она принесла пальто из спальни и помогала Давиду одеться, пока отец стоял над ними и, как всегда, бурчал, что Давид уже достаточно большой, чтобы делать это сам. Давид пытался одеться сам, но мать настаивала на своей помощи.

— Газета стоит два цента, — она дала ему моне-

ту, — здесь десять. Спросишь "Тагеблатт" и подождешь, пока тебе дадут сдачу.

— Восемь центов сдачи, — сказал отец, — и не забудь, "Тагеблатт".

Мать последовала за Давидом в коридор.

— Ты что, идешь вместе с ним? — поинтересовался отец.

Но она, не отвечая, нагнулась к Давиду и прошептала:

— Беги! Я подожду, — и вслух, как бы давая последние наставления, — кондитерская лавка, на углу.

Давид бежал по лестнице вниз так быстро, как только мог. Дверь подвала казалась коричневой при свете газа. Сырой ночной воздух встретил его в конце коридора. Он вышел на улицу.

Дождь, видимый только там, где он затуманивал далекие фонари, все еще падал, нащупывая ледяными пальцами лицо и шею мальчика.

Окно лавки светилось на углу. Давид торопился к нему, попадая в невидимые лужи и чувствуя, как холодеют пальцы ног. Его пугали улицы, наполненные дождем и мраком.

Он не любил своего отца. Он никогда его не полюбит. Он ненавидел его.

Вот, наконец, и лавка. Он открыл дверь и услышал над головой знакомый тихий звоночек. Посасывая цыплячью косточку, из задней двери появился сын хозяина.

— Чего тебе?

— "Тагеблатт".

Взяв газету из тонкой пачки, мальчик протянул ее Давиду, и тот повернулся, чтобы идти.

— А деньги? — потребовал сын хозяина.

— А вот, — Давид протянул монетку, которую все время сжимал в руке.

Зажав кость зубами, мальчик отсчитал сдачу, пачка монеты жирными пальцами.

Давид заспешил домой. Идти — это было бы слишком долго. Наверное, мама ждет. Он побежал. Он

сделал всего несколько шагов, как вдруг его нога наступила на что-то, что не было мостовой. Предупреждающий металлический звук уже не мог остановить его. Это была крышка угольного колодца. Он поскользнулся. Вскрикнув, он закачался, хватаясь руками за пустоту и упал на живот, в ледяное месиво. Газета и деньги выпали из его рук. Испуганный, с намокшими на коленях чулками, он вскочил на ноги и принялся судорожно искать.

Он нашел газету — всю в мокрой грязи. Потом пенни. Еще, должно быть еще. Вот еще пенни. Теперь два цента. Но раньше было восемь. Он шарил рукой по рыхлому снегу, по мостовой, судорожно всматриваясь в темноту. Впереди! Позади! Ничего. Может быть, рядом с тротуаром! Нет. Он никогда не найдет. Никогда! Он заплакал и побежал к дому, забыв, что снова может упасть. Рыдая, он вбежал в коридор. Он слышал, как наверху открылась дверь, и мама позвала: "Мальчик, я здесь".

Он поднялся по лестнице.

— Что с тобой? Что это? Ты весь мокрый!

Они вошли в комнату.

— Я потерял деньги, — хныкал он. — У меня только два... два цента.

Отец смотрел на него сердито:

— Ты потерял, да? Я это предчувствовал. Заплатил сам себе за работу, да?

— Я упал в снег, — рыдал он.

— Ничего, все в порядке, — мягко сказала мать, принимая газету и деньги, — все в порядке.

— В порядке? Что бы он ни сделал, все всегда будет в порядке?! До каких пор ты будешь ему это говорить? — отец выхватил газету из рук матери. — Ого, ее можно выкручивать. Ну и ловкий у меня сын!

Мать сняла с Давида пальто.

— Иди, сядь около печки.

— Нянься с ним! Прощай его! — прошептал гневно отец и уселся на стул. — Посмотри на газету! —

он разложил ее на столе. — Следовало бы врезать ему пару раз.

— Он не виноват, — вмешалась мать примиряюще, — на улице скользко, и он упал.

— Ба! Он не виноват! Всегда я слышу одно и то же! У него прямо-таки дар делать пакости. Ночью он будит нас своими криками. Потом швыряет ложку в тарелку с супом. Теперь — шесть центов выбросил на ветер, — он шлепнул рукой по мокрой газете, — два цента испортил. Кто может это прочесть! Смотри у меня! — он погрозил пальцем Давиду, и тот съежился, прижавшись к матери. — Тебя ждет хорошая взбучка. Я предупреждаю! Я терпел годы.

— Альберт, — сказала мать краснея, — ты человек без сердца!

— Я? — отец покачнулся, и его ноздри раздулись от негодования. — Чума возьми вас обоих — у меня нет сердца?! Что ты знаешь, что ты понимаешь в воспитании детей? — он выпятил челюсть.

Последовало молчание, и потом мать сказала:

— Прости, я не хотела тебя обидеть. Я только хотела сказать, что такие вещи иногда случаются, прости.

— О, ты извиняешься, — сказал он с горечью, — у меня нет сердца! Горе мне. Работать, как я, за пищу и крышу над головой для вас. Да еще перерабатывать! И все впустую! У меня нет сердца! Как будто я сам нажираюсь на мою зарплату или пропиваю ее и шатаюсь по улицам. Вам когда-нибудь чего-нибудь не хватало? Скажи мне!

— Нет! Нет!

— Так что же?

— Я только хотела сказать, что ты не видишь ребенка целыми днями, а я всегда с ним, и, понятно, ты не знаешь, что с ним происходит.

— Мне достаточно того, что я вижу. И я знаю лучше тебя, какое ему нужно лекарство.

Мать молчала.

— Может быть, ты еще скажешь, что ему нужен доктор?

— Может быть, он...

Но кто-то постучал. Она смолкла, подошла к двери и открыла ее. Вошел Иоси. У него в руках была деревянная вешалка.

— Мама хочет, чтобы вы поднялись, — сказал он на идиш.

Мать Давида недовольно вскинула голову.

— Ты уже начала шляться? — спросил отец с отвращением. — Всего несколько дней назад у тебя вообще не было соседей.

— Я только раз у них была, — оправдывалась она и сказала Иоси: — Скажи маме, что я не могу сейчас прийти.

— Она ждет вас, — возразил тот без всяких эмоций, — хочет показать вам новое платье.

— Не сейчас.

— Я не пойду домой, — Иоси перешел на английский, чтобы избежать дальнейших обсуждений, — я буду здесь. И, очевидно, удовлетворенный выполненной миссией, он подошел к несчастному Давиду, все еще сидящему у печки. — Смотри, что у меня есть — лук и стрела, — он помахал вешалкой.

— Мне придется пойти, всего на минуту, — сказала мать, — здесь ребенок, она будет беспокоиться.

— Иди! Иди! — зло сказал отец. — Что я, держу тебя?

Он взял газету, вытащил спичку из короба, шагнул в гостиную и захлопнул дверь. Давид слышал, как он опустился на кушетку.

— Я вернусь через минуту, — устало сказала мать, безысходно глядя вслед мужу. Затем ушла.

— Хочешь играть? — спросил Иоси после паузы.

— Не хочу, — сердито ответил Давид.

— Это почему?

— Потому что не хочу, — он с неприязнью посмотрел на вешалку. Она была в их шкафу. Она была заразная.

— Ну, давай, — и, поняв, что ему не удалось убе-

дить Давида: — Тогда я буду в тебя стрелять, — угрозил он, — сейчас увидишь.

Он поднял вешалку и натянул воображаемую тетиву.

— Бах! Я индеец. У тебя нет лука и стрелы, и я убью тебя. Прямо в глаз. Почему ты не хочешь играть?

— Я не хочу.

— Почему у тебя нет лука и стрелы?

— Отстань!

— Тогда я опять в тебя выстрелю, — он бросился на пол, — бах! Прямо в глаз. Ты убит!

— Уходи!

— Не хочу уходить, — Иоси начал злиться. — Сколько хочу, столько и буду стрелять. А ты трус.

Давид молчал. Его начало трясти.

— Я даже могу ударить тебя томагавком, — продолжал Иоси, — ты трус, — он пополз: — Сейчас увидишь. Как дам тебе томагавком! — он держал вешалку за конец. — Боишься меня?

— Убирайся отсюда! — прошипел Давид. — Иди к себе домой.

— Не хочу, — свирепо сказал Иоси. — Я буду с тобой драться. Сейчас увидишь.

Он отвел руку. "Бах!" Конец вешалки ударил Давида по колену. Боль пронзила его тело. Он вскрикнул. В следующее мгновение он изо всех сил ударил Иоси ногой по лицу. Иоси упал на руки. Он открыл рот, но не произнес ни звука. Он вылупил глаза, как будто задыхался, и, к ужасу Давида, у Иоси под носом появилась кровь. За мгновение, показавшееся Давиду годом, кровь медленно собралась над верхней губой Иоси. Внезапно тот вздохнул. Звук был короткий и неожиданный, как будто камень упал в воду. Осторожно поднял руку и коснулся красной капли на губе. Когда он увидел след крови на конце пальца, его лицо перекосилось от ужаса, и он издал самый пронзительный вопль, какой приводилось Давиду когда-либо слышать. Такой пронзительный, что Давид почувствовал, как напряглось его собственное

горло, словно крик рвался из него, и он старался подавить его. С ужасом вспомнив, что отец был в соседней комнате, он вскочил на ноги.

— Иоси, Иоси, — бормотал он, пытаясь вставить вешалку в его руку, — на, ударь меня. Ну, ударь меня, Иоси! — он ударил себя по лбу. — Смотри, Иоси, ты убил меня. Ох!

Но все без толку. Иоси снова завопил. И Давид понял, что все кончено.

— Мама! — стонал он в ужасе. — Мама!

И повернулся к двери в гостиную, как к воротам ада. Дверь открылась. Отец смотрел на них со злостью и удивлением. Его лицо напряглось, когда он посмотрел на Иоси. Ноздри расширились и края их побледнели.

— Что вы натворили?

— Я... я... — начал Давид, трясаясь от страха.

— Он ударил меня ногой прямо в нос! — завыл Иоси.

Не сводя с Давида испепеляющего взгляда, отец спустился по ступенькам.

— Что? — спросил он, высясь над ним. — Говори!

Его рука качнулась в сторону рыдающего Иоси. Она была как стрела, отмеряющая растущий гнев.

— Скажи, это ты сделал?

С каждым произнесенным словом его губы становились тоньше и жестче. Давиду казалось, что его лицо медленно удаляется, но удаляется, не уменьшаясь, а становясь все выпуклее на расстоянии. Белое, бестелесное пламя. В его зыбких чертах ясно выделялась только вена над бровью, пульсирующая, как темная молния.

Кто мог вынести вид этого добела раскаленного лица? Тело мальчика онемело от ужаса. Его горло сжалось. Ему хотелось опустить голову и отвести глаза, но он не мог. Он задрожал, и дрожь отвлекла его от этого ужасного взгляда.

— Отвечай мне!

"Отвечай!" — звенел приказ. "Отвечай!" Но он

звучал как "Отчаяние!" Что ответить отцу? В этом страшном приказе уже слышался приговор. Как загнанный в угол зверек, он сжался, его сознание притупилось, хотя тело не хотело погибать и ждало. Ничего не существовало больше, кроме правой руки отца, руки, парящей в наэлектризованном круге его воображения. Ужасающая ясность пришла к нему. Ужасающая расслабленность.

Отрешенный от времени, он смотрел на вздрагивающие сгибающиеся пальцы, на краску, впитавшуюся в их концы, будто все, что осталось в мире — это только ноготь мизинца, обрубленный прессом. Невыносимая ясность.

Молоток в его руке! Молоток!

Внезапно он сдался. Его веки перерезали свет, как ставни. Открытая ладонь ударила его по щеке и виску, раскалывая его сознание на крупинки света. Он упал на пол. В следующее мгновение отец схватил вешалку, и в этот кошмарный миг, перед тем, как она опустилась на его плечи, он с удвоенной ясностью увидел, как Иоси стоял, онемев, с открытым ртом в ненужной теперь тишине.

— Ты не скажешь! — рычащий голос был голосом вешалки, обжигавшей, как пламя, тело. — Будь проклято твое порочное сердце! Дикая скотина! Вот! Вот! Я проучу тебя! Теперь у меня развязаны руки! Я предупреждал! Я предупреждал! Ты будешь послушным!

Вешалка, как топор, врезалась в руки, спину, грудь. Она все время находила, куда ударить, как бы он ни извивался и ни корчился. Он кричал, кричал, а удары все падали.

— Пожалуйста, папочка! Пожалуйста! Не надо! Не надо! Дорогой папочка! Дорогой папочка! — он знал, что надо вырваться из-под града ударов. — Больно! Больно! — он должен вырваться.

— Теперь кричишь! — злился голос. — Плачешь! А сколько я просил тебя! Я молил тебя, как саму смерть! Тебя ничто не трогало! Ты молчал! Тайна...

Распахнулась дверь. С диким криком ворвалась мать и кинулась между ними.

— Мама! — закричал он, хватаясь за ее одежду. — Мама!

— О Боже! — крикнула она в ужасе, прижимая к себе сына. — Остановись! Остановись! Альберт! Что ты с ним сделал!

— Отпусти его, — рычал отец, — я говорю, отпусти его!

— Мама, — Давид конвульсивно прижимался к ней, — не давай ему! Не давай!

— Чем, — хрипло кричала она, пытаясь вырвать у отца вешалку, — чем бить ребенка! Горе тебе! Каменное сердце! Как ты мог!

— Я не бил его раньше, — хрипел отец сдавленным голосом, — он заслужил то, что я сделал! Ты достаточно защищала его от меня! Мне давно следовало это сделать!

— Твой единственный сын, — рыдала она, судорожно прижимая к себе Давида, — твой единственный сын!

— Не говори мне этого! Не хочу это слышать! Не сын он мне! Пусть хоть умрет у моих ног!

— О Давид, Давид любимый, — сокрушенная бедой сына, она, казалось, забыла все остальное, даже мужа. — Что он с тобой сделал! Ша! Ша! — она вытерла его слезы дрожащими руками, качая его. — Ша, мой любимый! Мой прекрасный! О, какие у тебя руки!

— Я приютил дьявола, — звучал неумолимый, злой голос, — мясник! И ты защищаешь его! Эти руки еще будут бить меня! Я знаю! Моя кровь предостерегает меня от такого сына! Этот сын! Посмотри на Иоси! Он пролил человеческую кровь, как воду!

— Ты сумасшедший, слепой безумец, — она зло повернулась к нему, — ты сам мясник! Я говорю тебе это в лицо! Когда он в опасности, я не отступлюсь, ты слышишь? Можешь делать все, что хочешь, но не с ним!

— Ха! У тебя свои взгляды! Но я буду его бить, когда смогу.

— Ты не дотронешься до него!

— Да? Посмотрим!

— Ты не дотронешься до него, слышишь? — ее голос, как бы сдерживая неимоверную волю и страсть, стал спокойным и грозным. — Никогда!

— Это ты мне говоришь? — изумился он. — Да ты знаешь, с кем ты говоришь?

— Это не имеет значения! А теперь оставь нас!

— Я? — снова безмерное удивление. Словно кто-то посмел своими вопросами заставить неистовую вулканическую силу заговорить. — Со мной? Ты говоришь со мной?

— С тобой. Да, с тобой. Уходи. Или я уйду.

— Ты?

— Да. Я или ты!

Полными ужаса, затуманенными глазами Давид видел, как тело отца затряслось, голова нагнулась вперед, рот открылся, чтобы говорить, закрылся, опять открылся, отец побледнел, дернулся и, наконец, повернулся и без единого слова затопал по ступенькам в гостиную.

Мать посидела немного, не двигаясь, потом задрожала и разрыдалась, но вытерла слезы.

Иоси стоял, неподвижный, онемевший, напуганный, а кровь текла по его подбородку.

— Посиди минутку, — мать поднялась и усадила Давида на стул. — Иди сюда, бедняга, — обратилась она к Иоси.

— Он ударил меня прямо в нос!

— Ша, — она подвела Иоси к раковине и вытерла его лицо краем мокрого полотенца, — вот, теперь тебе лучше.

Снова намочив полотенце, она подошла к Давиду и посадила его к себе на колени.

— Он первый меня ударил.

— Ну, хватит! Больше не будем об этом говорить, — она прикладывала холодное полотенце к ссадинам

на руке Давида. — О дитя мое! — причитала она, кусая губы.

— Я хочу домой, — сказал Иоси, — я скажу маме про вас, — он поднял вешалку с пола. — Подождите, вот скажу маме, тогда вы узнаете!

Он распахнул дверь и, плача, выбежал в коридор. Мать, горько вздохнув, закрыла за ним дверь и начала расстегивать рубашку Давида. На его груди и плечах были красные пятна. Она прикоснулась к ним. Он вздрогнул от боли.

— Ша! — шептала она снова и снова. — Я знаю. Я знаю, мой любимый.

Она раздела его, принесла пижаму и натянула на него. Когда прохладная ткань коснулась тела, он напрягся от боли.

— Так болит, да? — спросила она.

— Да, — ему хотелось плакать.

— Бедняжка, давай уложу тебя в кровать, — она поставила его на ноги.

— Мне нужно пойти. Номер один.

— Да.

Она отвела его в уборную, подняла сиденье на унитазе. Мочиться было больно. Все его тело вздрогнуло, когда мочевой пузырь опустел. Его наполнило неведомое прежде чувство стыда. Он старался незаметно отвернуться от матери, пригнуться, когда она дергала цепочку над его головой. Через яркую кухню он прошел в темную спальню и лег в постель. В первом прикосновении холодных простыней была медленная усталая грусть.

— А теперь спи, — сказала мать наклоняясь и целуя его, — до самого доброго утра.

— Останься здесь.

— Да, конечно, — она села и дала ему руку.

Он сжал своими пальцами ее палец и лежал, глядя на нее. В темноте его глазам рисовались ее черты. Время от времени внезапный вздох сотрясал его тело, точно волны горя и боли, добежав до границ его существа, откатывались к каким-то далеким берегам.

Лучи декабрьского солнца, пробиваясь сквозь облака, таяли на оконных стеклах. Еще недавно наступил полдень, но холодные тени уже поднялись высоко по деревянным и кирпичным стенам домов. Серые сгустки снега лепились к краю истоптанного тротуара. Воздух был холодный, но без ветра. Зима. Слева от подъезда клубилось легким паром устье сточной трубы. Шум справа. Он посмотрел. Вблизи мастерской портного собралась горстка ребят. Подойти к ним? Что, если Иоси там? Он искал его глазами. Нет, не видно. Тогда он может ненадолго подойти. Он вернется до того, как появится Иоси. Да.

Он осторожно приблизился. Там были Сидней и Йонк. Он знал их. А другие? Они жили за углом, наверное.

Сидней был впереди, остальные следовали за ним. Давид стоял, наблюдая.

— Хочешь играть? — спросил Сидней.

— Да.

— Тогда становись в конце строя. Следуй за ведущим! Бум! Бум! Бум! — он отсчитывал шаг.

Давид пошел в ногу за последним мальчиком. Они промаршировали через улицу и встали шеренгой перед большой ручной пожарной помпой.

— Прыжок на Джонни Помпа! — скомандовал Сидней. Он подпрыгнул и повис на рукояти насоса. — Раз, два, три! — он спрыгнул.

Остальные подпрыгивали по очереди и с криком бежали за ним. Сидней зигзагом носился по улице, прыгал через урны, вскакивал на пороги, балансировал по краю тротуара и исполнял всякие другие трюки, случайно приходявшие ему в голову. Давиду нравилась игра.

Добежав до столба со спиральными сине-красными полосами, — вывески парикмахерской — Сидней остановился, поджидая свою задыхающуюся когорту.

— По синей, — приказал он и от самой земли ~~сколь-~~зил рукой вокруг столба вдоль синей спирали, пока он не застыл на цыпочках, не в состоянии дотянуться выше. Когда остальные исполнили этот номер, он пригнулся, подкрался ко входу в парикмахерскую, просунул голову в дверь, пропел каркающим голосом: — ”Фараон проснулся рано, а у кресла — обезьяна!” — и убежал.

Остальные выкрикивали эти слова, но со все нарастающей быстротой и с явно убывающей прытью. Пока дошла очередь до Давида, парикмахер уже стоял на пороге, плаваясь от негодования. Давид молча убежал.

— Он промазал! — смеялись мальчишки.

— Ты почему не повторил? — набросился на него Сидней.

— Не мог, — Давид улыбнулся, оправдываясь, — он же там уже стоял.

— В другой раз выполняй все! — предупредил Сидней.

Давиду стало стыдно, и он решил следовать за всеми шалостями командира. Он даже спустился по нескольким ступенькам, ведущим в подвал ”снежного человека”.

Игра достигла предельного возбуждения. Шедший перед Давидом мальчик только что кувыркнулся через нижнюю трубу ограждения у портновской мастерской, и теперь была очередь Давида. Он взялся за трубу, лег на нее животом, как это делали остальные, и начал медленно и осторожно вокруг нее переворачиваться. В тот миг хаоса, когда крыши домов и небо оказались внизу, а люди задвигались на головах по воздуху, перед глазами вдруг мелькнуло, кружась вместе с пространством, перевернутое лицо мужчины. Под полями котелка — жирные щеки, две черные дырки — ноздри, и над всем этим — ноги. ”Смешно, — подумал он, снова касаясь подошвами мостовой, — кверху ногами. Смешно...”.

Он случайно взглянул вслед удаляющейся фигуре.

Теперь тот шел нормально, вверх головой, как все. Но... Широкие плечи, серое пальто. Этот котелок. Он боялся признаться себе, что узнал его. Нет! Нет! Не он! Но он шел, как... Руки в карманах. Это был! Это был!..

— Эй, сюда! — нетерпеливо позвал Сидней.

Но, не обращая внимания на окрик, Давид все смотрел и смотрел. Человек повернулся, чтобы перейти улицу, и открылся его профиль.

Это он! Это Лютер! Он шел к ним домой.

— На что ты там уставился? — кричал Сидней. — Не хочешь играть?

Давид занял свое место в строю, но через минуту забыл об этом и с ужасом смотрел на свой дом. Лютер уже дошел до дверей, вошел, исчез.

А тут еще эта игра. Ох! Эта игра! Нет! Нет! Следуй за ведущим! Играй!

— Ну, давай! — сказал Сидней. — Твой черед.

Давид посмотрел на него, не видя:

— А чего вы делали?

— Ааа! Прыгай с этих ступенек.

Давид взобрался, прыгнул, неуклюже приземлившись, и побежал за остальными.

Он знал! Он знал! Вот почему он пришел! Эта игра! Он будет с ней играть сейчас. Как Анни. В шкафу!..

— Эй, ты, не будешь больше играть, хватит с меня!

Давид виновато вздрогнул и увидел, что остальные снова ждут его.

— Не давай ему играть, Сид, — все смотрели на Давида.

— Он даже не шел за нами.

— Ты что, пьяный? Ничего не делаешь, как надо!

— Проваливай отсюда!

Внезапный крик и топот бегущих ног отвлекли их. Они обернулись посмотреть, кто это.

— Эй, иди играть!

Это был Иоси. Он приближался к ним. Давид попытался незаметно уйти, но Иоси уже заметил его.

— Эй! — завопил он радостно. — Ну и порку ты получил!

— Кто получил? — спросил Сидней.

— Он! — Иоси указал на Давида. — Ух, Сидней, если б ты видел. Бух! Его бил отец. Бах! А он лежал и вопил.

Все засмеялись.

— Ой! Йой! — Иоси скакал вокруг ко всеобщей радости. — "Пожалуйста, папочка,пусти! Ох,пусти!" Бах! И он ему еще и еще. Прямо по заднице!

— За что он тебя? — они окружили Давида.

— Он его бил за то, что он дал мне ногой прямо в нос, — ликовал Иоси, — вот сюда, и кровь текла.

— И ты ему дал сдачи?

— И не думал, — проворчал Иоси, ожидая дальнейших поощрений.

— Дай ему, Иоси! — подняли они крик.

— Ну, Иоси, дай ему разок!

Увидев, что Давид отступает, Иоси сжал кулаки.

— Иди сюда, я буду с тобой драться.

— Иди, иди, ты, трус! — насмеялись они.

— Я не хочу драться, — захныкал он, ища путь для бегства. Но дороги не было.

Он был окружен.

— Не отпускай его, Иоси! Дай ему два, четыре, шесть, девять!

Воодушевляемый мальчишками, Иоси начал наносить удары по плечам Давида. Его кулаки попадали на синяки от ударов вешалкой, и те вспыхивали болью. У Давида слезы навернулись на глаза. Он сжался.

— Он плачет! — веселились они.

— Глянь, плачет!

— Плачь, бэби, плачь, бэби, соси у мамки титьку! — завел один из них. — Плачь, бэби, плачь, бэби, соси у мамки титьку, — подхватили остальные.

Слезы текли по лицу Давида. Он протолкался сквозь толпу. Они пропустили его и пошли за ним, повторяя:

— Плачь, бэби, плачь, бэби, соси у мамки титьку!

Он побежал. Они, улюлюкая, бросились за ним. Кто-то схватил его за ремень и пытался остановить. Они снова окружили его. Они прыгали и кричали.

И внезапно его охватила слепая ярость. За что они преследуют его? Почему? Когда ему некуда убежать! Даже к маме! Он не позволит им! Он их ненавидит! Он закричал, оторвался от парня, тащившего его за ремень, и ударил его. Каждая дрожащая клетка участвовала в этом ударе. Тот покачнувшись и, изогнувшись, упал на землю. Первой ударила его голова. Глухой далекий гул, как взрыв глубоко под землей. Его руки безвольно раскинулись, глаза были закрыты, он лежал без движения. С криком ужаса остальные уставились на него выпученными глазами. Давид задрожал от страха и бросился к своему дому.

В дверях он бросил последний судорожный взгляд через плечо. Привлеченный криками детей, портной выбежал из своего магазина и склонился над лежащим на земле мальчиком. Остальные подпрыгивали вокруг и кричали:

— Вон он! В том доме! Это он сделал!

Портной угрожающе махал кулаком:

— Дикарь! — кричал он. — Я тебе дам! Подожди! Позову полицейского!

Давид вбежал в коридор. Полицейского! У него потемнело в глазах от ужаса. Что он наделал! Что он наделал! Полицейский идет. Спрятаться! Спрятаться! Наверху. Нет! Нет! Там он. Эта игра. Он принесет. Где? Где угодно. Он нырнул под перила и — под лестницу. Нет! Они будут здесь искать! Он выбежал оттуда. Где? Наверх. Нет! Испуганный, дрожащий, он дико озирался вокруг... Дверь... Нет! Нет! Не там! Нет!.. Нужно... Нет! Нет!.. Полицейский... Выбежать... Нет, схватят... Страх, мысль о бегстве, бунт и покорность проносились в его сознании резкими лихорадочными порывами. Нужно! Нужно! Нужно! Наконец, он заставил себя подойти к две-

ри подвала и открыть ее. Темнота, слепая, бездонная, чудовищная. "Мама! — простонал он. — Мама!" Он опустил ногу в ночь, нащупывая ступеньку, нашел ее и закрыл за собой дверь. Еще шаг. Он прижался к стене. Третий шаг. Невидимые нити паутины прилипли к его губе. Он с отвращением откачнулся, выплюнул эти вялые нити. Не надо дальше. Нет! Не надо. Он так дрожал, что едва стоял на ногах. Еще шаг, и он упадет. Не в силах бороться со слабостью, он сел.

Вокруг него была темнота, безысходная ночь. Ни один луч не пронизывал ее, ни одна частичка света не плавала в ней. Из непроницаемой темноты к его ноздрям поднимался запах гниения. Здесь не было тишины, были слышны постукивания и поскрипывания, вздохи и шепоты, скрытные и злые. Темнота была ужасна. Там жили крысы и привидения, уродливые рожи, ужасные бесформенные вещи.

12

Он закричал зубами. Единственное непреодолимое желание, как наваждение, овладело им. Ему хотелось, чтобы Лютер спустился, хотелось, чтобы Лютер оставил его мать. Но на лестнице, за дверью подвала, было тихо, как и прежде. Ни шагов, ни голоса не раздавалось в тишине. Но слух Давида обострился. Он слышал звуки, которых не слышал раньше. Но теперь не сверху, а внизу. Помимо своего желания он прислушался к темноте. Она двигалась, двигалась везде, на тысяче ног. Затаившаяся ужасная темнота поднималась по лестнице погреба, поднималась к нему. Он чувствовал ее отвратительные щупальцы, корчащиеся вокруг него. Ближе. Вонючее тепло ее дыхания. Ближе. Его зубы начали стучать. Ледяной ужас прошелся по его спине, как палец по расческе.

— Бежать! Бежать!

Плача, он взобрался по ступенькам, нащупал дверную ручку и вырвался на свет.

Прочь отсюда! Убежать! Пока никто не пришел. Вниз по ступенькам и бежать.

...Нет! Там школа, тот дом! В другую сторону!..

На углу он свернул направо, к незнакомым улицам.

...Свет! Свет на улицах! Теперь можно видеть. Можно смотреть... Там человек... Не полицейский... Никто не гонится... Теперь можно идти...

Острый морозный воздух оживил его, проник сквозь одежду, освежил кожу. Быстрый и яркий свет на углах и верхних этажах успокаивал его. Вещи обретали четкость и устойчивость. С каждым вздохом частичка ужаса покидала его грудь. Он перестал бежать и пошел, тяжело дыша.

...Можно даже остановиться... Никто не догоняет теперь... Могу стоять, могу идти. ...Следующий дом...

Он повернул за угол и пошел по улице, очень похожей на его собственную. Кирпичные и деревянные дома, только нет магазинов.

...Хочу на другую улицу... Могу дойти до следующей...

На следующем углу он остановился с радостным выкриком. Телеграфные столбы! Почему он никогда здесь не был раньше? По обе стороны от него они шли вдоль улицы, и провода уходили с их крестовин прямо в небо. Улица была широкая, с замерзшей канавой. В конце ее дома редели и открывалось поле. Столбы забирались на холм вдалеке, прямо в облака. Давид засмеялся, его глаза радовались пестроте, легкие наполнились пьянящим воздухом.

...Они идут один за другим... Один за другим... Могу идти за ними...

Он похлопал рукой по крепкой деревянной колонне, потрогал темные сучки, торчащие в ее терпеливом теле, и вновь засмеялся.

...Следующий... Догнать его!.. Хэлло, мистер Столб...

Гуд бай, мистер Столб. Я могу идти быстрее... Хэлло, второй мистер Столб... Гуд бай, второй мистер Столб. ...Могу побить вас... Они оставались позади. ...Четыре... Пять... Шесть... приближались, проплывали мимо в тишине, как высокие мачты. Семь... Восемь... Девять... Десять...

Он перестал считать их. И с ними удалялось в прошлое все, чего он боялся, что ненавидел и от чего бежал: Лютер, Анни, подвал, мальчик на земле. Он еще помнил о них, да, но теперь они стали маленькими картинками в его голове, которые не вплетались в его мысли, не затрагивали его, а оставались далекими и безобидными — нечто, слышанное о ком-то другом. Он чувствовал, что они исчезнут из его памяти, как только он достигнет вершины этого холма, на который взбирались столбы. Он торопился вперед, иногда подпрыгивая от радости, помахивая рукой медлительным столбам, что-то шепча и посмеиваясь. Он чувствовал себя странно усталым.

Дома еще стояли, но уже появлялись между ними пустые участки. По обе стороны улицы расплывчатые пятна вчерашнего снега лежали на мягкой земле. Кривые деревца цеплялись за землю корнями, как когтями. У дверей курятника, за старым покосившимся домом, топтался петух. Тротуар давно кончился. Плиты под ногами были потрескавшиеся и обломанные, но даже их становилось все меньше. Резкий ветер дул на открытых участках, поднимая облака пыли, казавшейся золотой в лучах заходящего солнца. Становилось холодно и одиноко. Пустота зимнего предзакатного часа. Съездившаяся, ждущая ночи земля.

...Пора оглянуться...

...Нет.

...Пора оглянуться...

...Только до вершины холма. Туда, куда падают облака...

...Пора оглянуться...

Он глянул через плечо и вдруг остановился в удив-

лении. Позади него, так же, как и перед ним, высокие мачты карабкались вверх.

... Чудно. В обе стороны...

Он повернулся, озираясь по сторонам.

...Как будто все повернулось. Не знаю...

Его настроение начало падать.

...Это далеко, на другой стороне.

Он почувствовал, как замерзло его запястье между карманом и рукавом. Он медленно пошел обратно по своим следам.

...Могу вернуться...

Несмотря на усталость, он пошел быстрее.

Теперь все ушли. Лютер ушел. Они кончили эту игру. Он и мать. Теперь можно вернуться. И полицейский ушел, не найдя его. Можно вернуться. И мама будет ждать его. К ней теперь не было ненависти.

"Где ты был? — спросит она. — Ты меня испугал. Я нигде не могла тебя найти". "Не скажу". "Почему ты не говоришь, где ты был?" "Потому". "Почему?" "Потому..."

Но нужно вернуться домой, пока не пришел отец. Надо торопиться. Домишки опять сбегались.

"И я смотрела из окна, и я звала — Давид, Давид! — и не могла найти тебя". Не скажу ей. Может быть, она даже спустилась по лестнице на улицу. А вдруг полицейский сказал ей. Но она не скажет отцу. Нет. Когда Давид будет около дома, он позовет ее. Она выглянет из окна. "Что?" — "Открой дверь, я поднимусь по лестнице". Она будет ждать, и он пробежит мимо подвала. Ненавижу его! Вот бы жить в доме без подвала.

Небо сужалось. Дома сомкнули свои ряды. Над головой стайка голубей, как бы нанизанных на провода между столбами, трогала одинокую сдержанную струну своих голосов. Серая кошка на крыльце перестала лизать лапу и грозно смотрела на голубей. Потом она уставилась на проходящего мимо Давида.

...Наверное, будет молоко, когда он придет домой.

Или простокваша. Ух! Накрошить в нее хлеб. С сыром. М-м-м! Яйца со сметаной. Что еще со сметаной? Борщ... Клубника... Редиска... Бананы... Борщ, клубника, редиска, бананы. Борщ, клубника, яблоки и штрудель. Нет. Их не едят со сметаной. Сметана! Люблю ее, люблю ее, люблю ее. Я — ее — люблю. Я люблю пирог и не люблю селедку. Я люблю пирог, но не люблю что? Я люблю пирог, но я не люблю, люблю, люблю селедку. Я не, я не... Сколько же еще идти?

Опять появились тротуары.

...Лютер любит селедку, а я не люблю Лютера. Лютер любит селедку, а я не люблю Лютера. Лютер любит... придет он сегодня вечером? Может быть, он сказал. Может быть, он не придет. Лучше бы он никогда не приходил. Никогда, никогда, только в воскресенье утром... Сколько же еще идти?

Он всматривался в улицы впереди. Которая из них? Которая из них была такая длинная? Длинная улица, много деревянных домов. На этой стороне. Да. Еще один угол. И сразу, сразу, сразу дома... Эта?.. Не похоже... Следующая, точно... Один маленький дом... два — маленький дом... три — маленький дом... Вот и угол, вот и угол... Здесь? Эта? Да. Немного непохоже. Нет. Она. Деревянные дома. Да.

Он повернул за угол и заспешил к следующему углу.

...Это она! Но она выглядела немного не так. Хотя это она... Но в конце квартала неуверенность не исчезала. Хотя он осматривал каждый дом на перекрестке, он не мог вспомнить, был ли он здесь. Все улицы были одинаковы: деревянные дома и узкие тротуары справа и слева. Уныние и страх наполнили его душу.

...Думал — эта. Нет. Может быть, проскочил две. Тогда, когда бежал. Не смотрел и минул две. Тогда следующая. Сейчас найду. Мама ждет. Следующая. Быстро. Должна быть...

Он пустился усталой рысцой.

...Ну, конечно, следующая. Большой желтый дом на углу. Он видел его, видел. Там моя улица. А вдруг... вдруг это не она. Должна быть! Должна!

Он побежал быстрее, чувствуя рядом с собой мягкие ступни подкрадывающегося страха. Следующий угол может оказаться или приютом или ловушкой, и, приближаясь к нему, Давид бежал все быстрее, как обложенный флагами волк.

...Где же? Где она?..

Но и эта улица была чужая, как все остальные. Он не закричал и не заплакал. Он смотрел перед собой. Рухнула последняя надежда. Потом он повернулся, как в трансе, подошел к железной загородке перед каким-то подвалом, прижался лбом к холодному железу и заплакал от невыносимой муки.

Шли минуты. Он чувствовал, как слабеют его руки на железном поручне. Через некоторое время он услышал приближение шаркающих шагов. Что толку было смотреть? Ничто не могло ему помочь. Он был захвачен ночным кошмаром, и никто не мог разбудить его.

— Ну! Ну! — прозвучал над ним любопытствующий женский голос, за которым последовало прикосновение руки к его плечу. — Молодой человек!

Давид не ответил.

— Ты слышишь меня? — голос стал строгим. — Это еще что? — теперь рука попыталась оторвать его от поручня.

Он повернулся, горестно опустив голову.

— Милый мой! — она подняла тонкую руку. — Что стряслось?

Дрожа он смотрел на нее, не в силах ответить. Это была маленькая, но довольно бодрая старушка. Ее одежда была зеленого цвета. Темно-зеленая шляпа высоко сидела над копной белых волос. С ее руки свисала маленькая черная хозяйственная сумка, почти пустая.

— Милый! — повторила она, явно начиная сердиться. — Ты будешь отвечать?

— Я... Я потерялся, — прорыдал он наконец. — А-а-а! Я заблудился.

— Ну, ну, бедняжка. Ты знаешь, где ты живешь?

— Да, я знаю, — плакал он.

— Ну, скажи мне.

— Сто двадцать шесть Боддех стрит.

— Поттер стрит? Глупый ребенок, это и есть Поттер стрит. Перестань плакать! — она подняла маленький серый палец.

— Нет, это не она! — простонал он.

— Что не она? — ее глаза сузились.

— Это не Боддех стрит!

— Пожалуйста, не три так свои глаза. Ты хочешь сказать, что это не Поттер стрит?

— Это не Боддех стрит.

— Боддер, Боддер! Ты уверен?

— Да! — сказал он неуверенно.

— Боддер, Ботер, Боттер, подумай.

— Боддех стрит!

— А может быть, это она? — спросила она с надеждой.

— Не-е-ет!

— О дорогой. Что же нам делать?

— В-а-а! — выл он. — Где моя мама! Я хочу к маме!

— Подожди! — воскликнула вдруг она и стала копаться в своей маленькой сумке. — У меня что-то есть для тебя! — она вытащила большой желтый банан. — Вот!

— А-а-а-а! Хочу к маме!

— Мы сейчас пойдем в... — она запнулась. — Я отведу тебя к маме.

— Ты не отведешь!

— Отведу, — сказала она, уверенно кивнув. — Сейчас же.

Он смотрел на нее недоверчиво.

— Пошли. Держи крепко свой банан!

— Так ты живешь лядом со сколой? — передразнил полисмен.

Старушка обманула Давида. Она привела его в полицейский участок и оставила там. Он пытался убежать, но его поймали. И теперь он стоял, плача, перед полисменом с непокрытой головой и золотым значком. Другой, в каске, стоял сзади.

— И улица называется Бодде стрит, и ты не можешь назвать по буквам?

— Н-нет!

— Хм! Бодде? Боди стрит, а? Надо посмотреть по карте, — он поднялся. — Может, ты знаешь? — поинтересовался он у второго в каске. — Боди* стрит — звучит как морг!

— Около школы на Уинстон Плейс? Бодде? Поттер? О, я знаю, где он живет! Борди стрит! Точно, Борди! Это около Паркер и Ориол — участок Алекса. Она?

— Да-а, — появилась легкая надежда. Это были знакомые названия, — Бодде стрит.

— Борди стрит! — закричал с улыбкой полисмен в каске. — Будьте покойны, я из-за него начну-таки говорить, как еврей!

— Так, — вздохнул полисмен с непокрытой головой, — ты издеваешься над нами, да? Но смотри, мы не сумасшедшие. Мы посадим твою маму в тюрьму... — он подмигнул второму. — Проверь, не хочет ли он сделать номер один или что-нибудь еще? Тот, что был здесь в прошлый раз, залил весь пол.

Он повернулся к телефону.

— Ну! — второй похлопал Давида по плечу. — Нам нужна бы нянька, — и задушевно. — Пошли, малыш!

Он провел его под низкую арку, мимо лестницы, в высокую комнату со стульями вдоль голых стен. На окнах были ребра решеток. Через белую дверь они вступили на кафельный пол туалета.

* Боди (англ.) — труп.

— Вперед, мой мальчик, и исполняй свой долг, — он подтолкнул упирающегося Давида к писсуару, — давай, давай, сейчас самое время. Я знаю. У меня у самого сын школьник, — он открыл кран. — Ну, вот и хорошо. Порядок... Больше трех раз не тряс.

Они вернулись в ту же комнату.

— Любое место в этом доме, сын мой... здесь дует... ну, вот. Ты спокойный парень. Мы тебя отпустим, как только придет твоя мама, — он повернулся и вышел.

Давид тоскливо огляделся. Пустота огромной комнаты усиливалась белизной голых стен, длинными рядами стульев, тонущих в полумраке, зарешеченными окнами. На него давило такое тяжелое и безнадежное отчаяние, что его тело онемело, как от наркотика или долгого сна. Он вяло перевел взгляд на окно, выглянул на улицу. Задние дворы... серые струпья льда... на мертвой траве... Шеренга низких домов, построенных из тонких досок, выкрашенных в темно-грязный цвет. Из всех труб дым раскручивался в зимнюю синеву.

Время было пропитано отчаянием, которого не вымыть даже слезам... Он вдруг понял, понял все, неизгладимо и безвозвратно. Ничему не верь. Не верь никому. Ни во что не верь. Что бы ты ни увидел, не верь. Все, что происходило, делалось или говорилось, было притворством. Никогда не верь. Если ты играешь в прятки, это не прятки, а что-то другое, что-то зловещее. Если ты играешь в "следуй за ведущим", мир переворачивается с ног на голову, и лицо дьявола пересекает его. Нельзя ни играть, ни верить. Старая женщина, что оставила его здесь, полисмены — все обманывали его. Они никогда не позовут его маму. Никогда. Он знает. Они будут держать его там. Крысиный подвал внизу. Этот подвал с крысами! Парень, которого он толкнул, не двигался. Как в гробу. Они знают об этом. И они знают про Анни. Они притворяются, что не знают, но они знают. Никогда не верь. Никогда не играй.

Ни во что не верь. Ни во что. Все движется. Все меняется. Даже слова. Даже тротуары, улицы и дома. Ты знал, где ты был, но они прикинулись. Ты следил за ними, а они вывернулись. Вот так. Медленно и хитро. Ничему не...

На лестнице тяжелые шаги протопали вниз, сопровождаемые ритмическим постукиванием, точно чем-то металлическим вели по стойкам перил.

— Пойдем, Стив, — громкий голос прозвучал в соседней комнате, — для разнообразия!

Непонятная реплика встретила непонятное воодушевление и смех. Шаги приблизились. Полисмен в каске зажег свет, и Давид увидел рядом с ним еще одного в штатском, плотного, безгубого и безликого. Он держал в руках жестяной котелок. Новый шутиливо обратился к старому.

— Это он?

— Да, это он сделал.

— Та-ак! — протянул безгубый зловеще.

— Вот такой банан! И, если бы я не моргнул быстрее, чем молния, он всадил бы его мне в глаз, как вилку в тушенку!

— Убийца полисменов, да?

— И опасный, говорю тебе! Мои гляделки все еще слезятся! Он собирался колотить меня, пока я не стану синим, как мой мундир!

— Хмм! Может, не давать ему шоколадного торта?

— Не знаю, — полисмен приподнял над головой каску, чтобы почесать дымно-рыжие волосы, — ты так думаешь? Но потом он был хорошим мальчиком.

— Да?

— Да, спокойным, как мышь.

— Ну, тогда другое дело. Ты любишь шоколадный торт? Как его зовут?

— Давид. Сам Давид.

— Ты любишь шоколадный торт, я тебя спрашиваю?

— Нет, — испуганно промямлил Давид.

— Что-о-о? — взревел безгубый, и глаза его сузились. — Ты... не любишь... торт? О-о-о-о! Двух

мнений быть не может. Придется оставить тебя здесь! — он произвел серию ужасных шипящих звуков, держа себя за кончик носа.

Давид сжался.

— Он не любит шок...

— Тише! — тот, что в каске, стукнул второго по ноге. — Конечно, он любит. Просто застенчивость не дает ему...

— Я хочу к маме! — захныкал Давид. — Хочу к маме! Мама!

— Ну! — взорвалась каска. — Смотри, что ты натворил, идиот! Издеваешься над ним ни за что! Испугал его до безумия. Он теперь не узнает свою собственную мать, когда ее увидит!

— Кто, я? — пожал слегка безгубый плечами от удивления. — О чем ты говоришь?

— Это твоя идиотская жестянка! Убирайся! — он вытолкал штатского из комнаты.

— Не обращай внимания, сын мой. Он просто безобидный бык, который ревет, чтобы себя самого слышать! Бог с ним. Мы найдем твою маму и шоколадный торт тоже. Ничего не бойся. Будь хорошим мальчиком.

Он улыбнулся и вышел из комнаты.

— Мама! — ныл Давид. — Мама! Мама!

Он был прав! Все, чего он опасался, случилось. Они оставят его здесь. Навсегда! Они никогда не позовут его маму. Но он догадался об этом слишком поздно. Слишком поздно научился он ни во что не верить. Он опустил голову и зарыдал.

Где-то раздался свисток. Далекий, тонкий звук, который внезапно поднялся до визга и так же внезапно замер.

Свистки? Он поднял голову. Фабричные свистки! Другие? О, как он далеко! И как далеко она! Посмеиваясь, полисмен в каске заглянул в комнату.

— Смотри, что у меня есть, — и раскрыл свои мясистые красные лапы. На одной ладони лежал кубик

коричневого шоколадного торта, на другой — красное яблоко. Давид опять заплакал.

— Эй! До чего ты странный! Я достал тебе шоколадный торт — а он был только в одном пивном салоне, — я достал тебе яблоко, а ты все плачешь. Что случилось?

— Свистки, — рыдал Давид, — свистки!

— Свистки?

— Да-а-а!

— Ты хочешь свисток? — его рука двинулась к карману.

— Нет! Свистят!

— Я?

— Нет! Моя... моя мама!

— Ох! Забудь об этом. Вот прекрасный торт. Ну, бери! И яблоко. Ну вот. Сначала съешь одно, потом другое. Потом я достану тебе суп и...

Давид уронил пирог и яблоко. Голос! Голос, который он уже не надеялся больше услышать! Он с робкой надеждой посмотрел на дверь.

— Да слушай, чего ты... — начал полисмен, но замолчал и тоже стал смотреть на дверь.

Легкие шаги торопились к ним. Из мутного пятна, из миллиона бессмысленных лиц, вырисовывалось одно, несшее в себе весь смысл жизни.

— Давид! Давид!

— Мама! — закричал он и бросился к ней. — Мама! Мама!

Она схватила его со стоном, прижала его щеку к своей холодной щеке.

— Давид, мой любимый! Давид!

— Мама! Мама! — уже произносить это слово было счастьем, но самым большим блаженством было обнять ее.

Продолжая прижимать Давида к себе, она вышла в другую комнату, где полисмен с непокрытой головой уставился на них, опираясь о барьер.

— Хм-м, я вижу, он знает свою маму.

— Большое вам спасибо! — с трудом выговорила она.

— О, не за что, леди. Мы рады, когда кто-нибудь приходит. У нас здесь всегда тихо.

— И, леди, — вставил полисмен в каске, — мне кажется, было бы неплохо повесить на него ярлык, а то хоть на стену лезь с его этими Бодде, Потте, Бауде! Ну-ка, повторяй за мной по буквам. Б — А...

— Так... так большое вам спасибо! — повторила она.

— О! — он кивнул и криво улыбнулся. — Нам это не впервой.

— Я скажу вам странную вещь, лейтенант, — сказал тот, что в каске, — он приставал ко мне со свистком. Я вам скажу странную вещь, тут есть над чем задуматься. Знаете, что он мне сказал. Я, говорит, слышу, как свистит моя мать. Можно такому поверить? А она все еще была далеко отсюда!

— Так и сказал? — удивился лейтенант. — Единственное, что я слышал, был свисток с Чандлер кроссинг, и это было...

— Герр, — робко сказала мать, — герр... Мистер. Мы... идти?

— О, конечно, леди! В любой момент. Мальчик в вашем распоряжении.

— Спасибо, — произнесла она и повернулась к выходу.

— Эй, подождите минуточку! — полисмен в каске догнал их. — Вы нас покидаете без вашего торта! — он сунул торт Давиду в руку. — И ваше яблоко! Нет? Это уж чересчур? Хорошо, я его сохраню, пока вы не заглянете еще раз. До свиданья. И не гоняйся за телеграфными столбами!

14

В воскресенье Давид пролежал все утро в постели и потом, одетый, провел весь день дома. Он чихал несколько раз ночью и еще утром, и у него болела спина. Мать считала — хотя Давид был уверен, что

спина болела по другим причинам, — что он, очевидно, простудился, скитаясь по улицам. Отец смеялся над этим, но вмешиваться воздержался. Хотя это значило быть весь день рядом с отцом, Давид был рад, что ему не придется встретиться с Иоси и Анни, с парнем, которого он толкнул, и вообще ни с кем. Он жался к матери или уходил в свою спальню, избегая комнаты, в которой был отец, и вообще старался быть незаметным, насколько это было возможно. Однако ближе к вечеру темнота погнала его на кухню, где был отец. Он принес свою коробку с безделушками, забился в угол, чтобы не путаться под ногами, и, сидя на полу, начал строить кривую и ненадежную башню, которая неизменно разваливалась от шагов отца или матери.

После обеда и до самого ужина отец несколько раз выражал уверенность, что Лютер образумится, прекратит эту безумную погоню за женой и придет вовремя к началу еды. Но хотя они с ужином задержались почти на час позже обычного, он не пришел. Только, когда мать начала слабо жаловаться, что половина ужина подгорела, а другая остыла, отец решил больше не ждать и, раздраженно пожимая плечами, позволил ей накрывать на стол.

— В Тизменице, — мрачно пробурчал он, садясь на стул, — крестьянин, который ухаживал за... (он всегда запинаясь в этом месте) за быком моего отца, говорил, что если уж человек дурак, то он дураком и родился. У моего друга Лютера, должно быть, началось второе детство. Бог дал ему новую душу, — он нетерпеливо потянул к себе тарелку. — Я только надеюсь, что не мое семейное счастье повинно в его женитьбе, — последние слова он произнес подчеркнуто вызывающе.

Давид, наблюдавший за матерью, стоявшей близ мужа и прислуживавшей ему, видел, как ее грудь медленно поднялась от возмущения причиненной болью и опустилась со сдержанным немой выдохом. Сам Давид знал только одно: радость от отсутствия

Лютера была пронзительной и искренней, как молитва каждого нерва его о том, чтобы никогда больше не видеть его.

Когда Давида уложили спать, его охватило странное чувство покоя и умиротворенности после долгого разлада. Вчерашние события подернулись пленкой апатии и почти не волновали его, точно всплывающие на поверхность случайные обломки давно затонувшего корабля. Никогда не будет ответа на эти вопросы: почему мама позволила Лютеру сделать то, что пыталась сделать Анни; почему она не убежала на этот раз, как в первый; почему не сказала об этом отцу, а может, и сказала, да ему было безразлично? Никогда больше не будет равновесия между его осведомленностью в ее поступке и тем, что она об этом не догадывалась; между ее незнанием того, что случилось у них с Анни, от чего он убежал, и тем, что отец обо всем об этом и понятия не имеет.

Никогда не будет ответа на это. Никто ничего не скажет, никто не посмеет, никто не сможет. Ничему не верить, никогда не верить. Но когда это странное воспоминание, это странное что-то, таящееся в его груди, то, что там кружилось и росло, когда это исчезнет? Может быть, завтра? Возможно, завтра.

Наступило завтра. Понедельник. Вчерашняя простуда была или придумана, или прошла сама по себе. Давида послали в школу. На улице он настороженно оглядывался и даже пошел другим путем, чтобы не встретить Анни и Иоси. Ему удалось избежать встречи утром и во время перерыва на завтрак, но, когда уроки закончились, они настигли его у перекрестка. Давид отвернулся, когда они окликнули его, но они, казалось, забыли все ссоры. Их съедало любопытство.

— Что они тебе сделали в полицейском участке? — Иоси взял его под руку, чтобы он не убежал от медленно ковылявшей Анни.

— Ничего, — Давид слабо оттолкнул его, — пусти!

— Эй, ты сумасшедший? — Иоси выглядел удивленным.

— Да, я сумасшедший. Я никогда не буду радоваться.

— Он сумасшедший, Анни!

— Кому он нужен! — ответила она с ненавистью

— Плакса! — добавил Иоси презрительно.

Но Давид уже убежал от них.

Придя домой, Давид не мог не заметить в поведении матери скрытую нервозность, нерешительность, какую-то тревогу ожидания. Обычно уверенные и спокойные ее движения были теперь порывистыми и нетвердыми. Делая или говоря что-нибудь, она внезапно издавала стон отчаяния и поднимала руку в неожиданном жесте безнадежности, или широко открывала глаза, глядя недоуменно и проводя бессмысленно рукой по волосам. Все, что она делала, оказывалось незаконченным. Она пошла от раковины к окну и оставила кран открытым, потом, вспомнив, бросилась к крану, забыв о мокром платке на веревке, а он упал во двор. Через несколько минут, отделяя яичные желтки от белков для блинчиков к бульону, она разрежала желток скорлупой, и он смешался с белком. Она топнула ногой и выругала себя.

— Я совсем, как мой отец! — воскликнула она вдруг. — От неприятностей у меня чешется голова! Сегодня ты можешь узнать, какую женщину не брать в жены.

Несколько раз Давид чуть было не спросил ее, придет ли Лютер обедать. Но что-то удержало его, и он так и не задал вопроса.

Чтобы отделаться от странного чувства, вызванного поведением матери, он решил было пойти гулять, даже рискуя встретить Анни и Иоси, но он почувствовал, как она будет раздражена, если он попросит ее подождать в коридоре. Она уже выглядела раздраженной, когда он неистово звал ее на лестнице после школы и встречи с ними в три часа.

И пока она не выражала недовольства тем, что он оставался дома, он находил себе множество занятий: пугал сам себя страшными рожами перед трюмо, глядел в окно на улицу, чертил пальцем на замутненном дыханием стекле, ползал под кроватями, рисовал. Он битый час то привязывал себя к кровати куском веревки, то силился вырваться, а еще час сооружал странные приборы из своих безделушек.

Между тем он заметил, что нервозность матери растет. Казалось, она была не в состоянии ни отвлечься, ни закончить какое-нибудь дело, кроме тех, что были абсолютно необходимы. Она начала сшивать новое полотно, которое купила для наволочек, и кончила тем, что порвала материю и бросила ее в ящик. В газету она только тревожно заглянула и тут же уронила ее на колени. Потом она так долго смотрела на него, что беспокойство Давида стало невыносимым. Его глаза торопливо обегали комнату в поисках чего-нибудь, что отвлекло бы этот неподвижный взгляд.

— Мама! — он сделал усилие скрыть тревогу в голосе.

Ее веки дрогнули. Она, чья душа всегда была рядом с ним, сейчас, казалось, почти не замечала его.

— Что?

— Почему свет — этот свет в колпаке — остается внутри? В колпаке?

Она подняла глаза и прикусила губу:

— Это потому, что в мире есть великие умы.

— Но он гаснет, — он пытался удержать ее внимание, — гаснет, если ты просто подуешь.

— Да.

— А потом не горит, пока не зажжешь?

— Нет, — ее голос был глухим и безразличным, точно она говорила через силу, автоматически.

— Почему? — отчаянно настаивал он. — Почему не горит?

— Что не горит? Я не знаю, — она поднялась, вздрог-

нула, — пронизывает до костей. Всюду холодно? Или только там, где я сижу? Холодно? — она глядела на печку, потом подошла к ней и после долгой паузы, словно мысли ее были заторможены чем-то, взяла кочергу.

— Мне не холодно, — ответил Давид угрюмо.

Но она не слушала его. Ее взгляд скользнул от его лица к стене, и она замерла, как будто прислушиваясь к какому-то звуку в коридоре. Но было тихо. Она тряхнула головой. И все еще держа кочергу в одной руке, подняла другую к лампе, чтобы прибавить пламя в горелке.

— Ах, — она смущенно хлопнула себя рукой по боку. — Где моя голова? Что я делаю? — она присела перед печкой и резко воткнула кочергу в угли. — Ты когда-нибудь видел свою мать такой рассеянной? Такой потерянной? Боже милостивый, как кружатся мои мысли! Я иду сюда, но остаюсь там. Я иду туда, но остаюсь здесь. И нигде не могу найти себя, — она бросила совок угля в красную пасть печки. — Давид, дорогой, ты что-то говорил...? — в ее голосе были мольба и раскаяние. — Что ты говорил? Свет? Почему что?..

Обрадованный ее внезапным интересом, он жадно начал опять:

— Почему он горит?

— Газ? Газ горит.

— Почему?

— Газ зажигают спичкой. И... И потом.., — она отвлеклась так же, как отвлеклась секунду назад; странный, напряженный взгляд рождался в углах ее глаз, и ее лицо снова стало испуганным и настороженным. — ...И потом поворачивают... поворачивают... — она замолчала, — подожди минутку, я схожу в гостиную.

С него хватит. Он больше не будет с ней разговаривать. Даже, если она с ним заговорит, он не ответит. Он угрюмо опустил на свой стул и мрачно наблюдал, как она спешила по ступенькам в темно-

ту... слышал, как открылось окно, мягко, осторожно... и снова закрылось... Она вернулась.

— Даже холодный воздух не приводит меня в чувство, — ее пальцы нервно барабанили по спинке стула, — ничто не помогает. Моя голова... О, прости меня, Давид, милый! Прости! Я не хотела уйти в середине разговора, — она подошла, нагнулась и поцеловала его, — ты прощаешь меня?

Он молча смотрел на нее.

— Обиделся? Я больше не буду. Я обещаю, — она попыталась изобразить на лице подобие улыбки и покачала головой. — Горит, ты сказал. Горит! Все горит! Да! Или почти. Керосин, уголь, дерево, свечи, бумага, почти все. И газ тоже, я думаю. И газ тоже, понимаешь? Его хранят в больших баллонах, знаешь? Некоторые высокие, как урны на улице, а некоторые короткие, как барабаны, только больше. Я в этом не разбираюсь

— Но, мама! — он не хотел дать ей снова замолчать. Она вернется к прежнему состоянию, если он ей позволит. — Мама! Вода не горит, если бросают спичку в лужу?

— Лузу? — переспросила она. — Что такое луза? В твоём идише половина английского теперь. Я тебя не понимаю.

— Лужа. Это вода... на улице... когда дождь.

— А-а, вода. Нет, слезы иногда... Нет! Ты прав, вода не горит.

— А когда светло — вот как сейчас — обязательно что-то горит?

— Думаю, что да. Когда я была девочкой, мои построили "алтарь" недалеко от деревни, потому что две крестьянки видели свет между деревьев, хотя ничего не горело.

— Что такое... как ты сказала? Алтер*? — теперь была его очередь удивляться. — Это значит "старик"?

— Нет! — она коротко засмеялась. — Алтарь —

*Алтер (идиш) — старый, старик.

это широкий камень, вот такой высоты, — ее рука с повернутой вниз ладонью поспешно отмерила воздух на высоте груди, — у него плоский верх. Его поставили, потому что там была святая земля.

— Почему? Они видели свет, и ничего не горело? Поэтому была святая?

— Да. Им нравилось так говорить. Я думаю, это потому, что Моисей тоже видел дерево в огне, которое не горело. И там земля тоже была святая.

— А-а-а.

— Да. Когда ты пойдешь в хедер, ты узнаешь обо всем этом больше меня, — она остановилась и вдруг двинулась к буфету. — Я, пожалуй, накрою на стол... надо что-то делать.

— А что "святое"? — не сдавался Давид.

— Что? Свет, который видели крестьянки? А, чепуха! Мой отец говорил, что по правде дело было в том, что старая еврейка шла по дороге через лес. Откуда она шла, я не знаю...

Она опять замолчала. Три тарелки уже стояли на столе. Четвертая, все еще в ее руках, порхала назад и вперед, как будто невозможно было решить, ставить ее на стол или вернуть на свое место в буфет. Наконец, быстро вздохнув, мать поставила ее на стол перед стулом, на котором обычно сидел Лютер.

— Да, она, наверно, возвращалась домой. И пока она шла, стало темно. Это было в пятницу. Случилось так, что она несла с собой свечи, так говорил мой отец, хотя он никогда не говорил почему. Может быть, она предвидела, что задержится. Чего не сделает женщина, если она набожная.

Ее губы сжались, и она слегка покраснела, когда, раскладывая серебряные приборы, дошла до тарелки Лютера.

— Она предвидела. Скажем, она предвидела. И когда наступил вечер, она сошла с дороги, зажгла свечи и молилась над ними, как я молюсь по пятницам. Помолившись, она пошла дальше, а свечи оставила зажженными — еврей не касается горящих

свечей после произнесения молитвы. Потом, ночью, пришли крестьянки, — она поставила чашку с блюдцем для Лютера, — они, наверное, были пьяные или полоумные. Они увидели свет в лесу — так говорил мой отец, — побежали в деревню и подняли всех. Они видели свет и видели, как он исчез, но, подойдя, ничего не нашли, ничего не услышали, только шум леса. Что им еще было нужно? Приехали знатные священники и освятили место.

Ее задумчивые глаза опять вспыхнули и метнулись к двери. Она снова прислушалась.

— А свечки не оставили новых свечек? — Давид старался вернуть ее внимание. — Как наши? Сначала канает вода, а потом получают еще свечки.

Она нетерпеливо пожала плечами:

— Кого это интересовало? Земля стала святой. Люди придумали потом, что здесь видели ангелов. Вот и все. И зачем искать свечкины слезы. Этот алтарь принес деревне много пользы.

— Как?

— Темные люди приходили со всей Австрии. Приносили больных и калек. Просили помощи, молились за мертвых и за лучшую судьбу. Они и сейчас еще приходят. И... — она замолчала, почти потеряв нить, но продолжила с усилием. — А когда они приходят, им надо есть, покупать вещи, они должны где-то спать. Не беспокойся, эти маленькие свечи зажгли светлые дни для торговцев в Лагронове. Понимаешь?

— Да, мама.

— Они стали так много зарабатывать в Лагронове, что евреи в других деревнях тоже стали оставлять зажженные свечи то там, то здесь. Однако это успеха им не принесло.

— Но это был не настоящий, — напомнил он, — это был не настоящий свет. И... и постоянно ничего не горело. Но Моисей, он...

— Шша! — вдруг резко остановила она его.

Давид прислушался: быстрый скрип входной двери

внизу. Медленный и тяжелый шаг, приглушенный ковром. Так обычно возвращался его отец.

Бледная мать чуть приоткрыла дверь и замерла, прижавшись к ней ухом. Но ни голосов, ни чьих-либо еще шагов не было слышно. Она закрыла дверь, отошла, вздохнула, но облегченно или тревожно — понять было нельзя.

Через несколько секунд он вошел, и по тому, как открылась дверь, Давид понял, что отец был раздражен. Он вошел один. Желваки на его потемневших щеках были напряжены и выступали, как распухшие, вздувшиеся узлы. Его глаза горели.

— Альберт, — мать улыбнулась.

Он не ответил; порывисто дыша, снял пальто, а вместе с ним, как всегда, и пиджак, скинул шляпу и все отдал ей.

— Я надеюсь, ты не приготовила слишком много на обед, — начал он резко, сдергивая галстук и воротничок. — Он не придет. Ты слышишь?

Она ушла в спальню Давида повесить пальто.

— Да, — отозвался ее голос прежде, чем она вернулась. — Я могу использовать то, что останется. Ничто не пропадет, особенно зимой — ничего не испортится.

— Хм-м! — он повернулся к ней спиной, подвернул рукава и наклонился над раковиной. — И не готовь на него и завтра. Он не придет, — мыло выскользнуло из рук в раковину. Он скрипнул зубами.

— Да? — ее глаза, застывшие на его склоненной спине, тревожно расширились, но она тут же спросила удивленным голосом: — Что случилось?

— Знать бы мне о нем так же мало, как я понимаю, в чем дело, — он сердито шлепнул ладонями по своей тощей шее. — Он ничего не сказал! Он даже не поехал со мною домой — должен был идти куда-то, по какому-то глупому поводу. И это дело с брачным агентом! Ни слова. Как будто этого никогда и не было. Как будто он никогда об этом не говорил. Он забрал у меня ключи утром, проверил мои сверхуроч-

ные, и это все! — он завернул кран гневным рывком и сдернул полотенце с крюка. — Бог знает, что он нашел или сделал или успел! Это для меня слишком! Но почему, скажи мне? — полотенце остановилось. — Как ты думаешь, даже если он нашел женщину с деньгами, которая считает его приятным человеком, это могло так скривить ему шею?

В ее ответе прозвучал затаенный тревожный стон:

— Я не знаю, Альберт

— Ну, не лги мне! — он скомкал полотенце, его глаза горели. — Отвечай мне!

— Что, Альберт? — она испуганно подняла руки, словно защищаясь. — Что?

Видя ее тревогу, Давид вжался в свой стул и настороженно наблюдал за ними исподлобья.

— Я... — отец замолчал и прикусил губу. — Я сказал ему что-то не так? Может быть, я посмеялся над ним... когда это было? В пятницу вечером? Когда я сказал тебе, что он собирается к брачному агенту?

— Нет, Альберт, — казалось, ее тело обмякло, — нет! Вовсе нет. Ты не сказал ничего, что могло кого-нибудь обидеть.

— Ты уверена? Ты уверена, что он ушел так рано не потому, что я... не из-за какого-нибудь моего поступка?

— Нет, ты не сказал ничего обидного.

— Уф! Надеюсь, что ты права. Что же с ним случилось тогда? Он не разговаривал со мной! Не смотрел мне в глаза. Человек, которого я знаю месяцы! Человек, который приходил сюда каждый вечер, — он подвинул к себе стул и уселся на него, — он ел свой ленч сегодня с этим Паулем Зиманом. Он знает, я ненавижу этого человека. Он сделал это, чтобы обидеть меня. Я знаю.

— Но... не... не расстраивайся так, Альберт. Это не должно обижать тебя. Это... ну... — она нервно засмеялась, — это похоже на ссору двух школьников — обедал с другим!

— Да? — спросил он язвительно. — Много ты зна-

ешь! Ты не видела его сегодня. Это еще не все. Было кое-что еще. Говорю тебе, что-то заваривается в его голове. Какая-то идиотская ненависть. Мечь, ждущая своего часа. Ты не знаешь.

Он вдруг выпрямился, посмотрел на нее суженными, подозрительными глазами:

— Тебя что, это не расстроило? Тебя это не волнует?

— Почему, Альберт, — она покачнулась под его резким взглядом, — меня это расстраивает. Меня это волнует. Но что я могу сделать. Я только надеюсь, что эта враждебность временная. Что это может быть? Что-то волнует его, о чем он не хочет говорить. Может быть, завтра все пройдет.

— Да. Может быть. Что-то случилось. Я только верю, что человек не может стать мне чужим за одну ночь, если он не полагает, что я дурно поступил по отношению к нему. Не так ли? А он больше, чем чужой, он — враг. Избегает меня, для него само лицо мое, как удар ножа. Мрачно смотрит мне вслед. Нет, это не пустяк! Это... В чем дело?

Она побледнела. Держа графин в одной руке, она другой безуспешно пыталась открыть кран.

— Не могу открыть, Альберт. Наверное, ты очень сильно завернул, когда мылся. Мне нужна вода к столу.

— С чего это ты вдруг ослабела? — он поднялся, подошел к раковине, открыл воду. — А что касается его, — он зловеще смотрел на льющуюся воду, — если он не переменится, то пусть побережется. Он еще узнает, что я тоже могу меняться.

Потом была пауза, еще больше накалившая напряженность. Поставив графин на стол, мать пошла к плите и принялась разливать гороховый суп по тарелкам. Падающие с половника капли шипели на крышке плиты. Запах был замечательный. Но Давид, торопливо взглянув на мрачное лицо отца, решил есть осторожнее, чем когда-либо в своей жизни. До сих пор эти жесткие глаза почти не останавливались

на нем. Ему хотелось сжаться, исчезнуть из поля их зрения. Но это не получалось, и он сконцентрировал внимание на влажной поверхности графина, где набухали и скатывались вниз капли.

Отец потянулся за хлебом. Это, казалось, разрядило напряжение. Давид взглянул на мать. На ее лице было страдание и мрачная задумчивость. Она была далеко от того, что делали ее руки. Она поставила тарелку перед отцом и, выпрямившись, робко коснулась его плеча.

— Альберт!

— Хм-м? — он перестал жевать.

— Может, лучше бы сказать это после обеда, когда ты немного успокоишься, но...

— Что?

— Ты... ты не натвори что-нибудь необдуманное. Пожалуйста, прошу тебя.

— Я знаю, что делать, когда придет время, — мрачно ответил он, — пусть тебя это не волнует.

Давид вздрогнул. Он внезапно увидел, как на экране, темную крышу и молоток, угрожающе взметнувшийся над бледными булыжниками.

— Фу! — сказал отец, опуская ложку. — Соль! Ты ее вообще больше не употребляешь?

— Несоленое? Извини, Альберт! Все, что я делала сегодня, так нескладно, даже суп, — засмеялась она с отчаянием. — Хороша повариха!

— А что тебя так расстроило? — резкий взгляд отца остановился на Давиде. — Он что, опять потерялся или еще какая новая безумная выходка?

— Нет! Нет! Не он...! Ешь, маленький. Не он. Мои глаза не смотрели на все, что я делала сегодня. Все время что-нибудь путалось. Это был один из тех дней, что делают людей суеверными. До сих пор во дворе лежит платок. Кто знает, почему я уронила его?

Отец пожал плечами.

— По крайней мере, ты была одна. Никто не следил за тобой. Никто не толкал тебя своим взглядом на ошибки.

— Ты опять о нем?

— Да. О нем. Два раза я неправильно вложил бумагу в пресс. Она измялась и порвалась. На станину попали чернила. Я чистил пресс по десять минут оба раза. Говорю тебе, он так и пожирал меня глазами. Я видел, — он перестал есть и стучал ложкой по столу, — какая-то дьявольщина кипит в нем. Он ждал, ждал чего-то. Я чувствовал его взгляд на своей спине весь день, но ни разу не видел его глаз, когда оборачивался. Мне было не до работы. Я работал, как калека. В мой первый день, наверное, я работал лучше. То сую слишком рано. То слишком поздно. То вообще мимо. А потом смялась бумага на ролике. Мне пришлось его разобрать. И все время чувство, что он следит за мной, — отец тяжело дышал. Его губы кривились, и слова отскакивали от обнажившихся зубов. — Это выходит за пределы всякого терпения. Если он ждет чего-то, так он дождетя!

— Альберт! — она тоже перестала есть и смотрела на него в испуге. — Не надо... — она прижала дрожащие пальцы к губам.

— Говорю тебе, он еще у меня получит! Я не калека!

— Если все так плохо, Альберт, если это не изменится, и он... так и будет, почему бы тебе не уйти! Есть другие места.

— Уйти? — повторил он зловеще. — Уйти! Так. Первый человек, которому я доверял на этой проклятой земле, относится ко мне, как к врагу. Как к самому худшему врагу! Уйти! — он горестно посмотрел на свою тарелку и покачал головой. — Ты сама странная. Ты дрожала всякий раз, когда я шел на новую работу. Дрожала, чтобы я не потерял ее. Я читал это на твоём лице — ты хотела, чтобы я был терпеливым. И теперь ты просишь, чтобы я ушел. Хорошо, посмотрим! Посмотрим! Но когда я буду уходить, он еще услышит обо мне, не беспокойся. И сделай одолжение, убери эти тарелки, — он показал на место Лютера, — а то как будто кто-то умер.

Вторник после полудня. Измученное, расстроенное лицо матери было невыносимо. Не прося ее подождать в коридоре, он убежал на улицу и, не зовя ее, вернулся. Ни Анни, которая не могла пройти мимо, не высунув свой похожий на шило язык, ни Иосино бесконечное "плакса", ни дверь подвала в пустом подъезде не были так до боли невыносимы, как страдающее лицо матери и цепенящее ожидание прихода отца. Снова и снова он почти хотел, чтобы каким-то чудом возвратился Лютер, чтобы он стоял рядом с отцом, когда откроется дверь. Но мать ставила на стол только три тарелки. Она знала: Лютер никогда не придет.

И действительно, отец вернулся один. Его вид был ужасен. Никогда, даже в тот вечер, когда он избил Давида, он не излучал такого бешенства. Как будто все его тело горело. От него исходил мрачный, пульсирующий гнет. Он отказался говорить. Он почти не притронулся к еде. Он ни на кого не смотрел. Его взгляд скользил по стенам поверх голов, словно он высматривал трещины под потолком. Только раз он нарушил тишину, и то лишь на короткое время, а голос его был резкий, как карканье.

— Мука? Почему? Два пакета муки? Два? Под полкой? Под пасхальной посудой?

Она уставилась на него, слишком смущенная, слишком потерянная, чтобы ответить.

— А? Они пойдут с тобой в могилу? Или нам грозит тощий год?

Перед тем, как ответить, она вздрогнула всем телом, точно отбрасывая от себя слои чего-то вязкого, не дающего вздохнуть.

— Мука! — от волнения она говорила высоким, истеричным голосом. — Была распродажа в магазине. На Нев... Невен стрит, — она снова вздрогнула, глотнула, отчаянно сясь успокоиться. — Я думала, раз мы так много ее расходуем, было бы разум-

но... ох! — она вскочила в ужасе. — Почему я держу ее под пасхальной посудой? Я уберу! Сейчас же!

— Нет! Нет! Оставь! Оставь ее! (Давиду казалось, что свирепые раскаты его голоса будут звучать без конца.) Садись. Мышь до них не доберется.

Она села, ошеломленная.

— Я уберу потом, — произнесла она тупо, — не нужно было оставлять ее там. Я как-то потеряла способность хозяйничать, — и, глубоко вздохнув: — Все время хочется покупать больше, чем нужно, все так дешево. Хочешь, я дам тебе что-нибудь? Копченую семгу? Сметану, густую, как масло. Говорят, они добавляют в нее муку! Маслины?

— У меня раскалывается голова, — его глаза опять блуждали по стенам. — Постарайся поменьше говорить.

— Могу я чем-нибудь помочь? Холодный компресс?

— Нет.

Она прикрыла глаза, покачалась слегка и больше ничего не сказала.

Давид хотел захныкать, но не посмел. Невыносимые минуты сматывались бесконечной нитью с кошмарного веретена...

В среду еще более неприятная перемена произошла с матерью. До сих пор она была нетерпелива с ним, рассеянна, не слышала его вопросов, ее ответы были бессвязны. Теперь она слушала его так сосредоточенно, что он еще больше забеспокоился. Ходил ли он по кухне, стоял или сидел, ее глаза следовали за ним. В них было какое-то лихорадочное напряжение, и он не мог смотреть в них. Она не упрекала его за долгое сидение с бутербродом и за оттягивание момента выхода на улицу. Теперь все было наоборот. Он старался есть быстрее, чтобы скорее уйти гулять, а мать старалась задержать его.

— А что еще? — спрашивала она, когда он рассказывал о каком-то случае в школе. — А что было потом? А что ты еще видел? — и все время в ее голосе была та же настойчивая нота, и она ловила каждое его

слово с таким жадным видом, что несколько раз по его телу пробегала странная дрожь, вроде озноба, как если бы пол разверзся на миг перед ним, и он бы начал окунаться в пустоту. — А по дороге домой? — настаивала она. — Ты не рассказал мне. Неужели ты не видел ничего нового?

— Не-ет, — он смущался, его взгляд бродил по кухне, избегая слишком блестящих цепких глаз. Когда она насытится, думал он, когда отпустит его? Судорожно рылся он в памяти своей и отыскивал лишь одну вещь, о которой не говорил ей. — Вчера был человек, — начал он, — на улице возле школы, — он замолк, надеясь, что ее интерес угаснет.

— Да! Да! -- подталкивал ее голос. — Да!

— И этот человек делал тротуар. Вот так, — он копнул ладонью зеленую поверхность клеенки на столе, — железом с ручкой. Новый тротуар.

— Они строят Браунсвилл! — она натянуто улыбнулась. — А ты мне ничего не рассказываешь, любимый! И?

— И когда этот дядя не смотрел... а тротуар был зеленый — он зеленый, когда новый.

— Да, я видела.

— Подошел мальчик, а дядя не смотрел, он копал железкой там. И мальчик наступил на тротуар, вот так, — он соскользнул со стула и поковырял носком ботинка линолеум, — и сделал дырку своим ботином. Вот так...

Давид увидел, что ее глаза смотрят куда-то далеко-далеко. Он замолчал.

— Я слушаю, слушаю, — она тряхнула головой. — Я слышу, — из темных, мрачных пространств ее взгляд возвращался к нему. — Да?

— Почему ты так смотришь? — его раздирали тревога и любопытство.

— Ничего! Ничего! Я тоже так делала, когда была девочкой, наступала на новую дорогу. Но у нас были черные. Ничего, ничего. И что потом? Что сделал дядя?

— Дядя, — продолжал Давид беспокойно, — он не видел. А вчера он закончил. Когда я шел после завтрака в школу. Теперь там нет досок. И тротуар твердый, как другие. Его посыпали чем-то белым. И можно на нем прыгать. Вот так. И ничего нельзя сделать. Но ямка осталась. Даже от маленького гвоздя в ботинке осталась дырка. И в этой ямке уже лежит сигарета.

— Естественно.

— Почему он так твердеет, что нельзя больше делать дырки, даже зонтиком? Только искры летят, — он попал под жадный взгляд круглых глаз. — Теперь ты говори.

— Нет, ты!

— А-а-а-ай!

— Ну, пожалуйста, — упрашивала она.

— Я уже съел весь хлеб, — напомнил он строго.

— Хочешь еще! Молока? — напряжение, с которым каждое ее слово следовало за предыдущим, казалось, выдавливало звуки из слогов.

Он покачал головой, искоса наблюдая за нею.

— Можешь побыть со мной немного, любимый, — она раскинула руки, чтобы обнять его, — можешь не ходить на улицу.

Он опустил голову, насупясь, но все же подошел и уселся у нее на коленях. Ему все время очень хотелось уйти на улицу, убежать, но он вновь уловил нотки мольбы и ожидания в ее голосе.

— Ладно, я останусь.

— О, ты хочешь идти гулять, да? А я держу тебя? Иди, я принесу твою пальто.

— Нет! Нет! Я не хочу. Я просто... просто хотел посмотреть в окно. Вот что я хотел.

— И это все? Ты уверен?

— Да. Только в открытое. Чтоб было открыто, — нужно же было выдвинуть какое-нибудь условие, чтобы оправдать смущение. — Ты откроешь?

— Конечно! — она вдруг судорожно прижала его к себе. — Что бы я делала без моего сына в горькие

минуты? Мой сын! Но, дорогой, окно, перед которым лестница. Хорошо? Мой сладкий. Я подложу подушку, чтобы было удобнее опираться. Хочешь идти сейчас?

— Да, — он высвободился из ее объятий.

— Тогда надень свитер. Холодно.

Она принесла свитер. Когда он его натянул, они пошли в гостиную, она открыла окно, раздвинула тяжелые белые занавески, очистила подоконник от кастрюль и молочных бутылок и положила на него подушку.

— А на этом можешь стоять коленями, — она подтащила стул. — Так лучше. Хочешь варежки?

— Нет, мне не холодно.

Мрачно смотрел он на улицу.

В нескольких метрах от дома он увидел медленно приближающегося высокого худого незнакомца, несшего белый сверток, прижатый к темному пальто. Давид внимательно вгляделся и вдруг увидел, что это был не незнакомец и не сверток, а его отец с забинтованной правой рукой. Он окликнул:

— Папа! Папа!

Голова отца медленно поднялась. Давид отскочил от окна и, крича, бросился в кухню.

— Давид! Что случилось?

— Папа идет! Его рука! Его рука! Она вся в... — он показал, как это выглядело, — ...в белом. Он идет.

— Боже мой! Ранен! Он ранен! Альберт! — она метнулась за дверь. Ее голос стал хриплым. — Альберт!

Давид услышал резкий сдавленный голос отца.

— Ша! Ша, я говорю! Хватит вопить!

— Кровь! Кровь!

Отец втокнул стонущую мать в дверь. Его лицо было серым. Сквозь бинт на его руке, в том месте, где должен был быть большой палец, проступило пятно крови.

— Да! Кровь! — выкрикнул он, захлопывая дверь. — Ты что, никогда крови не видела? Сначала этот идиот

лает на всю улицу! Теперь ты! Вопите! Вопите! Соберите сюда всех соседей покудахтать!

— О Альберт! Альберт! — она раскачивалась, словно молясь, вперед и назад. — Что это? Что случилось? — слезы текли по ее щекам.

— Ты всегда была душой! — прорычал он. — Видишь, я жив! Перестань!

— Скажи мне! Скажи! — в ее голосе была мука. — Скажи мне! Что ты натворил?

— Натворил? Я?

— Что? Скажи мне! — она тяжело дышала. — Ну!

— Ты почти догадалась, — рычал он. — Да. Я бы натворил, но этот проклятый пресс встал на моем пути. Этот пресс спас его. Он не знает. Я бы... Что!

Голова матери поникла. Она доковыляла до стула и опустилась на него, ее руки безвольно повисли. При виде ее страшной бледности Давид расплакался.

— Ба-а! — сердито усмехнулся отец. — Клянусь Богом, я думал — ты мудрее, — он подошел к раковине, наполнил стакан водой и прижал его край к ее губам. Вода бежала по подбородку и капала на платье. — И это ты падаешь в обморок! — упрекнул он горько.

— Все в порядке, — слабо промолвила мать, поднимая голову, — все в порядке, Альберт. Но... но ты не ударил его?

— Нет! — дико закричал отец. — Я говорил тебе, что нет! Он убежал. Ты что, переживаешь за него больше, чем за меня?

— Нет! Нет!

— Тогда почему ты падаешь в обморок? Это только палец. Пресс. Я не был достаточно проворен. Ты не переживала так, когда мне отхватило ноготь с пальца!

Мать вздрогнула.

— Он еще на месте, мой палец, если это тебя волнует. Если бы вы не оглушили меня своими криками, я бы тебе раньше сказал. Помогите мне снять пальто.

Она поднялась, шатаясь, и приняла пальто.

— Будь он проклят! — бормотал отец. — Вероломная собака! Пусть божье пламя превратит его в свечу! "У тебя нет привилегий по сравнению с другими", — вот, что он мне сказал. Да не приставай ко мне! Я не нуждаюсь в поддержке!

Он устался на завязанную бинтом руку, которая теперь, когда отец был без пальто, казалась Давиду сквозь слезы разбухшей вдвое.

— Зачем он забинтовал мне все пальцы, дурак! — он упал на стул и прикрыл глаза костлявой ладонью. Рука его была грязной, измазанной в типографской краске. — Врачи! Они лучше намотают весь бинт, чем дадут себе труд отрезать его. А почему нет? Не им носить его, — он откинул голову.

— Дать тебе что-нибудь? Кофе? У нас еще есть немного вина.

— Нет, — ответил он ослабевшим голосом, — я засну быстро и без вина, я буду крепко спать, — он нацепил каблук своего черного ботинка на планку стула и вскрикнул, когда нога соскочила.

— Дай мне! — кинулась мать к нему.

Он остановил ее взмахом руки:

— Ничего, справлюсь, — и потянул здоровой рукой за ворот рубашки, расстегивая пуговицы. — Перст судьбы всегда попадает в то место, которое меньше всего защищаешь. Я думал, что перед тем, как эта собака увидит меня в последний раз, я заставлю его покорчиться. И я бы ему показал! — его зубы заскрипели. — У меня было еще достаточно сил свести счета с Лютером, но они меня увели, как овцу, — стряхнув ботинок с ноги, он безразлично смотрел, как тот покатился по полу. — Но нельзя думать слишком много, когда подаешь бумагу в пресс. Невозможно думать о том, кого ненавидишь. В этом преимущество бригадира. Его руки свободны. — он скинул второй ботинок. — А-а-а! Но он побледнел, когда меня вели в кабинет босса. Наверное, увидел, что было в моем взгляде. И знает, должно быть, на ком вина. И у меня еще оставалась одна рука. А может, он не

выносит вида крови. Я ее оставил у них на коврах.

Мать напряженно смотрела на него. Когда он замолчал, она вздрогнула.

— Что... что сказал доктор? Это скоро заживет? Он пожал плечами:

— Пройдет, что пальцу сделается. Но несколько недель не смогу работать. Сильно помяло.

Мать вздохнула.

— Они, кажется, собираются мне что-то заплатить за это время. Они сами, по собственному желанию, предложили. Не знаю почему. Но много ли они заплатят? Завтра я буду говорить с ними и с доктором. Завтра — четверг.

Его губы распухли от ненависти, глаза дико горели. Давид и мать смотрели на него с тихим ужасом.

— Будь он проклят со своими подарками! — прорычал он вдруг. — Пусть он сгорит вместе с ними, разрази его Бог!

Он дотянулся левой рукой до правого заднего кармана брюк и вытащил лоскуток белой бумаги.

— Будь он проклят!

Это был пропуск в театр. Он скомкал бумагу и бросил ее на стол.

— Что заставило его дать мне это? И почему он так переменялся? Если бы я только знал! Если бы я только знал! — его левая рука колотила по столу.

Наступила гнетущая тишина. Все смотрели на скомканную бумажку на столе. Потом отец начал сгибать и разгибать руку, чтобы размять затекший локоть. На его лице было выражение мрачной отчужденности, как будто это была не его, а чья-то чужая рука. На лице матери были ужас и жалость. Давид смотрел то на мать, то на отца, и, наконец, его глаза остановились на руке, мягко опустившейся на стол, — мерцающим пятном на зеленую клеенку. Минуты томительно тянулись, но ни слова не было сказано. Давид посмотрел на мать. Ее лицо не изменилось, словно эта озабоченность была вырезана на камне. Но

лицо отца покраснело и расслабилось. Дыхание мягко шипело в его ноздрях. Он снова заговорил.

— Я никогда не буду там больше работать. Я никогда больше не буду печатником. Кончено с этим. Что бы я теперь ни делал, это будет на улице, я буду один, если смогу. Но всегда на улице. Меня больше никогда не будут окружать чернила и железо. Я не хочу, чтобы бригадиры были моими приятелями. Я не хочу никого. Не везет мне с людьми.

Он резко вздохнул, поднялся и зевнул, как будто застонал. Забинтованная рука протянулась к потолку и опустилась. В его глазах появилась боль.

— Как будто она пустая, — он повернулся к двери, задел взглядом Давида и пошел.

— Я достану одеяло, — мать последовала за ним.

Он не ответил, и они оба удалились в гостиную.

Сидя в оцепенении у окна, Давид наблюдал, как они уходили, и прислушивался. Скрипнула кровать. Через некоторое время быстрые шаги матери. Потом она что-то стаскивала с дивана: одеяло. Потом спальню закрыли, и он слышал только тиканье часов. В нем еще бился испуг, вспыхнувший, когда глаза отца на миг задержались на нем. Он видел его раньше, этот взгляд, эту вспышку мутного подозрения, пугающую больше, чем гнев. Так всегда было в те дни, когда отец бросал работу. Почему? Чем он виноват? Он не знал. Он даже не хотел знать. Это слишком пугало его. Все, что он знал, пугало его. Почему он должен был быть здесь, когда отец вернулся домой? Почему мать задержала его? Почему он должен был знать? Нужно было знать все, и вдруг все, что ты знал, становилось чем-то еще. Ты забывал почему, но это было чем-то еще. Пугающим...

Послышался шум в коридоре: входная дверь внизу. Торопливые шаги поднимались по лестнице. Потом они остановились, неуверенно приблизились к двери. Давид соскользнул со стула, прислушался и приоткрыл чуть-чуть дверь. Это был Иоси.

— Эй, Дэви! — прошептал он, стесняясь, заглядывая сквозь щель.

— Что тебе надо? — Давид почувствовал, что даже рад видеть Иоси. Ему вдруг пришло в голову, что это не Иоси был ему так неприятен, а его сестра. Но он не хотел выглядеть слишком дружелюбным. — Зачем пришел? — спросил он строго.

— Ты еще злишься на меня, Дэви? — Иоси смотрел на него с невинной покорностью.

— Я не знаю, — пробормотал Давид нерешительно.

— Тогда я не буду больше говорить "плакса", — предложил Иоси. — Никогда тебя не буду так называть, чтоб я так жил! Это все Анни. Она мне велела.

— Ты ее не любишь? — недоверчиво спросил Давид.

— Я ее ненавижу. Будь она проклята!

— Тогда входи.

Иоси проворно проскользнул внутрь и оглянулся.

— А-а-а! — он разочарованно надул губы. — Его здесь нет. Он уже ушел?

— Тебе отец мой нужен, — вдруг понял Давид, — вот зачем ты пришел. Не шуми. Он спит.

— А-а-а! А что это у него за бинт? Я видел. Зачем это?

— Его поранило печатным прессом. Вот почему. Палец. Поэтому забинтовали.

— Шшш!

Они обернулись. Мать вышла из гостиной на цыпочках, и они ее не слышали. Она прикрыла дверь и спустилась по ступенькам медленно и неуверенно. Застывший, невидящий взгляд матери, ее дрожащие губы — этого и так было достаточно. Так надо же, чтобы это видел и Иоси.

— Ты уходишь? — спросил Давид.

— Да, наверх. Хочешь со мной?

— Нет!

— Хочешь подождать, пока я спущусь? Я позову тебя.

Он смущенно посмотрел на мать. Ее грудь мед-

ленно вздымалась. В ее горле бился сдержанный стон. Ее немигающие, круглые и влажные глаза были полны непролитых слез. Ему вдруг захотелось убежать, спрятаться где-нибудь, под столом, в углу, в своей спальне, расплакаться, накричать на нее. Наплыв разных чувств парализовал его. Он стоял, дрожа, и ждал, когда она заплачет. И вдруг он вспомнил. Иоси смотрит на нее. Он узнает! Он увидит! Он не должен!

— Иди Иоси! Давай! Скорее! Я подожду тебя здесь. Потом ты спустишься, и мы пойдем.

— Хочешь, чтобы я тебя позвал? — Иоси бросил любопытный взгляд на мать Давида.

— Да! Да! Иди, — ему было невыносимо стыдно, что узнают другие, — иди! — он распахнул дверь.

Мать резко втянула воздух носом. Она не поняла, о чем они говорили:

Ты его выталкиваешь, малыш? — от слез ее голос стал ниже. — Ты не должен этого делать.

— Нет! Нет! — Давид перешел на идиш. — Он сам идет. Я его не выталкиваю!

— Да! Я сам иду, — подхватил Иоси торопливо, — я позову тебя.

Он вышел.

— Почему ты вдруг решил уйти? — она опять потянула носом, закрыла глаза, провела по ресницам концами пальцев и посмотрела на покрывшую их влагу.

Давид опустил голову, боясь, что, если он посмотрит на нее, он заплачет.

Он спустится и позовет меня. И мы пойдем на улицу.

О, вы опять друзья? — она подняла усталые, наполненные слезами глаза к окну. — Уже темнеет. Ты долго не гуляй, ладно? И не уходи далеко.

— Нет, — ему стало трудно говорить со слезами в горле. — Я надену пальто.

Он ушел в свою спальню. Там, в одиночестве, все его тело затряслось. Но он напрягся, сжал губы, что-

бы они успокоились. Спазм прошел. Он стащил пальто и шапку с кровати и вернулся.

— Пора зажигать газ, — сказала она, не шевельнувшись, — хочешь посидеть со мной?

— Нет! Я... Я должен одеться, — он начал сражаться с пальто. Он не должен, не должен подходить к ней.

Она пожала плечами, но это относилось не к нему, а к ней самой.

— Вот что делают годы, сынок. Каждый из них показывает тебе обе руки, вот так... — она выставила руки со сжатыми кулаками, — на, выбирай! — она разжала их, — и оба они пусты. Мы делаем, что можем. Но это горькая вещь — бороться и не спасти никого, кроме себя, — она поднялась, подошла к плите, открыла топку и посмотрела на пламя. Ее высокий лоб и щеки покрылись пятнами. — А кушать все-таки надо.

— Я иду, мама, — он слышал, как наверху хлопнула дверь.

— Не опаздывай к ужину, дорогой, — она закрыла топку и повернулась, — ладно?

— Да, мама, — он вышел. Он чувствовал себя изнеможенным и растоптанным.

Иоси появился из тени и, увидев Давида, помахал корсетными прутьями.

— Во, видишь, какие у меня будут лук и стрелы? У меня есть веревка, я ее привяжу. Пошли. Я покажу тебе, как привязать вот здесь и здесь.

Спускаясь, они приблизились к двери подвала. Давид посмотрел на нее и почувствовал, как волна злобы пронизала его. Как будто он бросил вызов этой двери, как будто он захлопнул ее внутри себя и запер.

— Мы пойдем к парикмахерской, потому что там светло. Он всегда зажигает свет первый. Там мы сделаем лук. Ты идешь?

— Да.

Они вышли в морозную синеву ранних сумерек

и направились к магазинам. Некоторые из них были уже освещены. Там собирались дети.

— Ты попросил у матери монетку для рождественского пудинга в школе?

— Не, я забыл.

— Это называется "Рождество". Это гойский праздник. Один раз я повесил чулок в Бруклине. А отец наложил туда яичной скорлупы, рваных бумаг и сломанных свечей. Ух, и смеялся он потом. Санта Клауса не бывает, ты знаешь?

— Да.

Они приближались к группе детей. Там была Анни, но Давида это не волновало.

— Эй! — Иоси схватил его за руку. — Вон Джиджи, которого ты толкнул. Хочешь, я вас помирю?

— Да.

— Расскажи ему про полицейский участок. Ему понравится. И мне расскажи. Ладно?

— Да.

— Эй, Джиджи! Давид хочет с тобой помириться. Он расскажет про полицейский участок! Правда, Дэви?

— Да.

КНИГА II

КАРТИНА

1

В феврале отец нашел работу по своему вкусу — он устроился продавцом молока. И чтобы жить ближе к коровникам, они перебрались вскоре на Авеню Д, на Ист Сайд. Для Давида это был новый и шумный мир, так же не похожий на Браунсвилл, как покой не похож на суету. Здесь, выходя на Девятую улицу, человек окунался не в солнце, а в звук. Звук обрушивался на него, как снег в горах. Здесь были бесчисленные дети, коляски и матери. И к их бесконечным крикам присоединялись воли огромного множества мелких торговцев. На Авеню Д грохотали телеги. Авеню Д была забита пивными бочками, мусорными телегами и повозками с углем. Она выходила к реке, с которой доносились гудки пароходов.

Их новый дом тоже был другим. Теперь они жили на четвертом этаже, последнем в доме. Подвала теперь не было, а нижняя дверь вела во двор. Лестница была каменная, и можно было слышать свои шаги. Туалеты были в коридоре. Иногда в них шелестела бумага, иногда кто-то напевал или постанывал. От этого становилось веселее.

Давид очень полюбил свой этаж. В крыше было матовое стекло, пропускавшее облако желтого света по утрам и мягкую серую дымку в конце дня.

Уйдя с шумной и пестрой улицы, миновав нижние этажи и туалеты, он входил в этот свет, как в убежище. Там было спокойно и тихо. Он хотел было исследовать лестницу, ведущую на крышу, или, по крайней мере, проверить, заперта ли там дверь, но его останавливала мысль о ее высоте и таинственной пустоте. И было кое-что еще. Ступеньки, ведущие вверх, были не такие, как те, что вели вниз, хотя и те, и другие были из камня. Лестницы вниз были изуродованы множеством подошв, в них была втоптана неотмываемая уличная грязь. Но в тех, что вели на крышу, было что-то жемчужно чистое. Ни одна нога не ступала по ним. Ни одна рука не касалась их перил. Эта лестница была неприкосновенна. Она сторожила свет и тишину.

В их новой квартире было четыре комнаты и восемь окон. Некоторые выходили на Девятую улицу, другие — на Авеню Д, а одно смотрело в головокружительную глубину вентиляционного колодца. У них не было ванной. Но были две раковины со сломанной переборкой между ними, и в них мылись. Их дно было, как наждачная бумага. Нужно было быть осторожным и не наливать слишком много воды.

Течение их домашней жизни тоже изменилось. Отец больше не уходил на работу рано утром, чтобы возвратиться вечером. Теперь он уходил ночью, в беспробудной тишине ночи, и возвращался рано утром. В первые ночи Давид просыпался, когда отец вставал. Он лежал, не двигаясь, слушая медленные тяжелые шаги на кухне, шум воды и скрип стульев. Он слушал, как уходил отец, и его сонная мысль следовала за ним вниз по каменным лестницам, он представлял себе ночной ветер на крыльце, холод, тишину и снова тонул в облаках сна.

Браунсвилл уходил из его памяти, становился тревожной туманной землей, чужой и далекой. Он был рад, что они переехали...

2

В начале апреля в доме начались разговоры о тете Берте, младшей сестре матери, которая собиралась приехать в страну. Когда мать в первый раз намекнула, что хорошо бы разрешить Берте некоторое время пожить у них, отец и слышать об этом не желал. Не он ли кидался ей в ноги и просил разрешить Лютеру пожить с ними? Пусть, правда, Лютер сгорит в аду, но ведь так это было! Тогда она отказалась. Ладно, теперь отплатит он ей тем же. Он не пустит Берту в дом.

Мать убеждала:

— Но куда же бедняжка денется одна в чужой стране?

— Бедняжка? — огрызнулся отец. — Если кто хочет знать его мнение, то пусть она найдет себе дом под землей. Он не хочет иметь с ней ничего общего. Пусть не думают, что он забыл ее, эту грубую девицу с рыжими волосами и зелеными зубами. И, Боже упаси, ее язычок!

— Но тогда она была только легкомысленной девочкой. Наверное теперь она изменилась.

— К худшему, — отвечал он, — но я знаю, зачем она тебе здесь нужна. Чтобы проводить целые дни, меня языком бесконечные "а-он-сказал-а-я-сказала".

— Нет, ничего подобного. Берта умеет хорошо шить. И очень скоро она будет где-нибудь работать.

А потом стала его уговаривать. Он, де, сам приехал один в эту чужую страну. Неужели у него нет жалости к ближнему в таком же положении? И тем более к женщине. Неужели он такой бесчеловечный, что будет спокойно смотреть, как она выгонит свою родную сестру в эту пустыню?..

Наконец, он проиграл и проворчал свое согласие.

— Разговоры не помогут мне, — сказал он горько, — но не вини меня, если что-нибудь выйдет не так. Запомни!

В один из майских дней тетя Берта прибыла, и первое, о чем подумал Давид, когда увидел ее, что язвительное описание отца не было преувеличением. Тетя Берта была удивительно некрасива. У нее была масса непокорных, грубых рыжих волос. Они были темнее, чем морковь и светлее, чем скрипка. И если кому-нибудь пришлось бы описать цвет ее зубов, он бы сказал — зеленые. Она сказала, что чистила их солью, когда о них вспоминала. Мать Давида первым делом купила ей зубную щетку.

Она была нескладно сложена и не питала иллюзий по поводу своей внешности.

— Увы! — говорила она. — Я похожа на два бочонка с маслом, поставленных друг на друга.

Глубокая складка отделяла ее пухлую кисть от жирной руки. Ее ноги совершенно были лишены лодыжек. Что бы она ни носила, как бы чиста и нова ни была ее одежда, она всегда выглядела неопрятной.

— Жемчуг и золотые одежды будут вонять на мне, — жаловалась она.

Ее красная кожа, казалось, вот-вот начнет облезать от солнечных ожогов. Она потела больше, чем любая из женщин, которых Давид когда-либо видел. По сравнению с его матерью, чья бледная, матовая кожа не розовела ни от какой жары, красное лицо тетки казалось раскаленным котлом. Чем теплее становилось на улице, тем больше самых больших мужских носовых платков она использовала. А дома она повязывала салфетку вокруг своей короткой шеи.

— Пот щекочет мне спину, — объясняла она.

В тех редких случаях, когда мать Давида покупала себе новое платье, она согласна была вообще не садиться, только бы не помять его. А тетку, наобо-

рот, так тяготило чувство зависимости от одежды, что она старалась как можно быстрее превратить ее в мятую тряпку и даже ложилась вздремнуть в новом платье.

Помимо того, что они совершенно не были похожи внешне, Давид скоро заметил огромную разницу в их характерах. Его мать говорила неспешно, вдумчиво и мягко, а тетка была шумной, колкой и не лезла за словом в карман. Его мать была очень терпелива и внимательна ко всему, что бы ни делала, а тетка была непоседа и очень рассеянная.

— Сестра, — подшучивала тетка, — ты помнишь это Соленое море, о котором говорил дед, около какой-то Иуды или Иордана, что ли? Там никогда не бывает штормов, и оно все терпит. Вот ты такая же. Вся твоя соль уходит в слезы. Теперь мудрые женщины применяют немного соли для острот.

Сама она употребляла на это всю свою соль.

3

В июле, в ясный воскресный полдень, Давид с теткой вышли из дому и направились к Третьей Верхней Авеню. Они собрались в Музей Метрополитен. Пот бежал по теткиным щекам, свисал каплями с подбородка и иногда падал, расплываясь пятнами на груди ее зеленого платья. Она проклинала жару и шлепала платком по каплям, точно это были мухи. Когда они достигли надземки, она заставила Давида спрашивать бесчисленное количество людей, на какой поезд им нужно садиться, и все время, пока они ехали, посылала его надоедать кондуктору.

Она сошли на 86 улице и после дальнейших расспросов пошли на запад, к Пятой Авеню. Чем дальше они уходили от Третьей Авеню, тем выше становились дома и тише улицы. Давида раздражал теткин громкий голос и ее идиш, которые были здесь совсем не к месту.

— Хм-м, — громко удивлялась она, — ни единого ребенка на улице. Я вижу, что дети не в моде в этой части Америки.

И, поглазев вокруг, вскрикивала:

— Ба-а! Здесь тихо, как в лесу. Кто захочет жить в таких домах? Ты видишь тот дом? — она показала пальцем на красную кирпичную тушу. — Точно такой же дом был у барона Кобелина. С такими же ставнями. Он был старое чудовище, этот барон, чтоб он сгнил поскорее! У него были выпуклые глаза, и его губы все время шевелились, как будто он жевал жвачку. Его спина была такая же кривая, как его душа, — и, изображая барона, она вышла на Пятую Авеню.

Перед ними, окруженное зеленым парком, стояло величественное здание.

— Должно быть, это, — сказала тетка. — Так мне и описывали в нашей мастерской.

Перед тем как перейти улицу, она решила быть предусмотрительной и предупредила Давида, чтобы он заметил темнокаменный дом и железный забор перед ним. Запомнив обратную дорогу, они поспешно пересекли улицу и остановились перед широкой лестницей, ведущей к дверям. По лестнице поднималось несколько человек.

— Кого бы спросить, туда ли мы пришли?

Близ здания стоял торговец орехами со своей тележкой. Они подошли к нему. Это был тощий, смуглый парень с черными усами и живыми глазами.

— Спроси! — приказала тетка.

— Это музей?

— Музей, — сказал тот, глядя на тетку и поигрывая бровями, — прямо так и входите, — он выпятил грудь, — а выйдете усталые.

Тетка схватила Давида за руку и потащила его прочь.

— Поцелуй меня в зад, — стрельнула она через плечо на идиш. — Что сказал этот черный червяк?

— Он сказал — это музей.

— Тогда давай войдем. В худшем случае мы получим ногой в зад.

Теткина смелость испугала Давида, но ему ничего не оставалось делать, как следовать за ней по лестнице. Впереди них мужчина и женщина входили в дверь.

Тетка притянула его к себе и торопливо прошептала.

— Эти двое! Похоже, что они знают. Давай ходить за ними, пока они не выйдут на улицу. А то мы наверняка заблудимся в этом колоссальном дворе.

Те двое прошли через турникет. Давид с теткой сделали то же. Те повернули направо и вошли в комнату, полную странных гранитных фигур, сидящих на гранитных тронах. Давид с теткой следовали за ними, не отступая.

— Мы должны смотреть на все только одним глазом, — предупредила тетка, — а другим — следить за ними.

И, следуя этому плану, они тащились за своими ничего не подозревающими гидами, куда бы те ни шли. Время от времени, однако, когда тетка замирала, пораженная какой-нибудь скульптурой, та пара уходила так далеко, что почти терялась. Один раз это случилось, когда ее хватил столбняк при виде каменной волчицы, которую сосали два малыша.

— Горе мне! — вскрикнула она так, что смотритель зала нахмурился. — Кто бы мог поверить — собака с детьми! Нет! Этого не может быть!

Давид должен был несколько раз дернуть ее за платье и напомнить о попутчиках прежде, чем она смогла оторваться.

И еще раз, когда они подошли к огромной мраморной фигуре, посаженной на такую же огромную лошадь, тетка была так поражена, что высунула язык.

— Вот как они выглядели в давние времена, — благоговейно выдохнула она. — Они были гигантами, Моисей, Авраам, Яков и другие, когда земля была молодой. Ай! — ее глаза выпучились.

— Они уходят, тетя Берта, — предупредил Давид, — скорее, они уходят!

— Кто? О, чтоб они сгорели! Не могут постоять минутку! Ну, пошли! Мы должны прилипнуть к ним, как грязь к свинье!

Казалось, прошли часы. Давид начал уставать. Те двое, что вели их через залы, полные оружия, одежды, монет, мебели и мумий под стеклом, не выказывали никаких признаков усталости. Теткин интерес к чудесам, которые им открывались, давно пропал, и она от всего сердца начала поносить своих гидов.

— Чума на вас, — бормотала она всякий раз, когда те двое останавливались перед каким-нибудь новым экспонатом. — Неужели вы еще не напичкали свои глаза! Хватит! — она обмахивалась своим намоченным платком. — Пусть так горят ваши души, как горят мои ноги!

Наконец, мужчина впереди остановился и зачем-то обратился к зрителю в форме. Тетка Берта замерла.

— Ура! Он жалуется, что мы идем за ними! Слава богу! Пусть нас вышвырнут отсюда. Это все, о чем я прошу!

Но, увы, их не выкидывали. Вместо этого служитель объяснял мужчине, как куда-то пройти.

— Они уходят, наконец, — сказала тетка с глубоким вздохом облегчения. — Я уверена, он объясняет, как выбраться отсюда. Надо было мне, дуре, заставить тебя спросить самому. Но кто мог знать! Пошли, мы можем выйти с ними, раз уж мы вошли вместе.

Но мужчина и женщина не вышли, а, пройдя несколько вперед, разъединились и вошли в разные двери.

— Ваа! — теткина ярость не знала пределов. — Они всего лишь пошли помочиться. Я больше не иду за ними. Спроси этого идиота в форме, как выбраться из этих каменных и тряпичных джунглей.

Служитель объяснил им, но его объяснения были так сложны, что скоро они опять заблудились. Они должны были спрашивать еще и еще раз. Наконец, им удалось выбраться на улицу.

— Тьфу, — сплюнула тетка на лестницу, когда они спускались, — чтоб вас всех поразило молнией! Если я еще раз поднимусь по этим ступеням, я, наверно, рожу пару медных тарелок! — и потащила Давида к их ориентиру.

Отец и мать были дома, когда они вошли. Тетка со стоном повалилась в кресло.

— Вы выглядите так, как будто заглянули в каждый уголок мира, — мать посадила Давида на колени. — Куда ты водила бедного ребенка, Берта?

— Водила? — взревела тетка. — Ты лучше спроси, куда меня водили. Мы привязались к дьяволу и дьяволице с черной силой в ногах. И они таскали нас сквозь заросли человеческих работ. Джунгли, я тебе говорю. И теперь я так устала, что, кажется, у меня не осталось сердца в груди!

— Почему вы не ушли, когда досыта насмотрелись?

Тетка слабо засмеялась.

— Это место сделано не для того, чтобы из него уходить. А! Такая зеленая гусыня, как я, с грязью Австрии под ногтями, лезет в музей!

Она сунула нос себе под мышку.

— Фу, от меня пар идет!

Как всегда, когда она позволяла себе какое-нибудь грубое выражение или жест, отец поморщился и топнул ногой.

— Ты получаешь то, что заслужила, — вдруг сказал он.

— Хм-м! — она презрительно вскинула голову.

— Да!

— Почему же? — раздражение и усталость брали над ней верх.

— Такая кляча, как ты, должна немного поучиться кое-чему прежде, чем лезть в Америку.

— Ах, какой культурный американец, — протянула она, опуская углы рта, как бы представляя мрачное лицо отца, — с каких это пор тебе насрать на то, что осталось за океаном?

— Такие морды должны оставаться там, — накалялся отец.

— Вот я и говорю то же самое. Только не я одна такая.

Зловещая вена забилась на его виске.

— Не говори со мной так, — его веки стали тяжелыми, — и оставь эти словечки для своего отца, старого обжоры!

— А ты, что ты...

— Берта, — вмешалась мать, — не надо!

Теткины губы задрожали, и она покраснела, как будто боролась с мощным позывом что-то выкрикнуть.

— Ты так устала, — продолжала мать. — Почему бы тебе не прилечь ненадолго, пока я приготовлю поесть.

— Ладно, — бросила тетка и выбежала из комнаты.

4

— И это мужчина, — горячо начала тетка Берта, — правит молочным фургоном и болтает с торговцами и извозчиками, сидит на лошадином хвосте все утро, а когда я говорю, — да нет! Когда я ничего не говорю! Совсем ничего! — он топает ногой или шуршит газетой, будто у него лихорадка. Слыхано ли такое! Нельзя даже пукнуть, когда он в доме!

— Ты хорошо используешь его отсутствие, — заметила мать.

— А что? Я не могу сказать, что думаю, когда он здесь. И я полагаю, что не обижу твоего сына, если скажу, что думаю, обо всех отцах. Своего отца он

знает. Кислый дух. Мрачный. Жизнь дала ему по обеим щекам, и теперь каждый, кого он встречает, должен страдать. А мой отец, добрый реб Бенямин Крольман, тот иной, — и она стала трястись и быстро бормотать, оглядываясь украдкой и натягивая на себя воображаемое молитвенное облачение. — Молитвы служат ему оправданием его лени. Пока он молится, он ничего не должен делать. Пусть ты, Геня, или его жена заботятся о магазине, его дело заботиться о Боге. Набожный еврей с бородой — что с него больше спрашивать? Работа? Боже упаси! Он играл в лотереях!

— Зачем ты так говоришь? — не согласилась мать. — Нельзя винить отца за то, что он набожный. Допустим, у него не было деловой жилки, но он старался.

— Старался? Не защищай его. Я только что распростилась с ним, и я знаю. Наш дед работал и после смерти бабки, пока рак не согнул его. Ему тогда было семьдесят. А отец, храни его Бог от рака, был стариком уже в сорок. Ой! Ай! — она с обычной внезапностью переключилась на подражание. — Ой! Горькое! Ай! Моя спина, мои кости! Семена смерти таятся во мне! Ай! Точки перед глазами! Это ты, Берта? Я не вижу. Ой! Но чуть кто-нибудь из нас попадался на его пути... хо-хо! Он вдруг становился проворным, как жеребенок. И как он сыпал удары? Без устали. Махал своей палкой, как дирижер.

Мать вздохнула и засмеялась, признав свое поражение.

— Мамина вина тоже в этом была, — добавила тетка Берта, как бы давая урок жизни. — Жена должна подталкивать мужа, а не нежить и баловать его, пока он не развалится. Она была мягкой и податливой, — и тетка представилась мягкой и податливой. — Она сама дала себя заарканить. Девять детей родила, кроме двойни, что умерли между моим и твоим рождением. Она серая теперь. Ты бы заплакала, если бы увидела ее. Ни кровиночки. Ты б ее не узнала. Все еще таскается за ним, старым обжо-

рой. Помнишь, как он прятал от нас свежий пирог? И совал нос во все горшки?

— Я иногда думаю, что он просто ничего не мог с этим поделать. Нужно ж было накормить столько ртов. Это, наверно, пугало его.

— Конечно. Но чья это была вина? Не мамина же. Почему даже когда она болела, он... — и она закончила фразу по-польски.

Давид ненавидел этот язык за то, что не понимал его.

— Скажи, ты бы вернулась в Австрию, если бы у тебя были деньги?

— Никогда!

— Нет?

— Деньги я послала бы им, — твердо сказала тетка. — Но вернуться домой — никогда! Слава Богу, что я вырвалась оттуда. И зачем возвращаться? Скандалить?

— Не хочешь даже увидеть мать?

— Бог жалеет ее больше других. Но что ей от того, что я ее увижу? Или мне? Лишнее расстройство. Нет! Ни ее, ни отца, ни Йетту, ни Адольфа, ни Германа, ни даже маленького Саула, хотя один Бог знает, как я любила его. Я не из тех, кто тоскует по родному дому.

— Ты еще мало здесь живешь. Эту землю поначалу все принимают к сердцу ближе, чем она того стоит.

— Ближе, чем она того стоит? Почему это? Конечно, я работаю, как лошадь, и воняю, как лошадь своим потом. Но здесь жизнь, понимаешь! Здесь всегда движение. Послушай. Улицы. Машины. Громкий смех. Ха-ха, хорошо! Вельши был тих, как бзdej в компании. Кто мог это вынести? Деревья. Поля. Опять деревья. Много ли поговоришь с деревьями? Здесь, по крайней мере, я могу найти развлечения получше, чем скатываться с крыши на заднице.

— Да, ты, наверно, права, — мать засмеялась над теткой горячностью. — Мне кажется, что в этой

земле ты из новичка станешь старожилом намного раньше, чем я. Да, здесь есть развлечения, кроме... — она не договорила и засмеялась.

— Мне здесь лучше, чем было там, — сказала тетка, — здесь все лучше. От той тишины у меня лопались мозги.

Мать уклончиво покачала головой.

— Что? Нет? — не поняла тетка ее жеста. — Скажешь нет?

Она начала считать на пальцах:

— Если бы Адольф приехал сюда мальчиком, нужно ли было б ему убежать на лесопилки и зарабатывать себе грыжу? Ха? И Йетта. Она бы нашла себе лучшего мужа, чем этот идиот портной. Он находит бриллианты на дороге, говорю тебе, и теряет их прежде, чем добирается до дома. Он видит детей, тонущих в замерзшей реке тогда, как в деревне все дети сидят по домам. Ужас! Ужас! И Герман с этой крестьянской девушкой. И крестьянин, который искал его с топором. Ты не видишь, что это за земля? Его счастье, что он смылся вовремя в Стриж, и счастье, что это не случилось в России. А то был бы погром! Там всем нечего делать, и они сходят с ума, а когда сходят с ума, делают все, что взбредет в голову. И, если хочешь знать, моя молчаливая, мягкая сестричка... — ее тон стал хитрым, — у нас ходили слухи определенного сорта. Кто-то что-то сделал... Но только слухи, — добавила она быстро, — ложь, конечно!

Мать вдруг повернулась к окну и заговорила о другом, не дав сестре закончить:

— Посмотри, Берта! Новая машина. Какая хорошенькая, голубая. Ты бы хотела быть богатой, чтобы иметь такую?

Тетка скорчила гримасу, но подошла к окну и выглянула:

— Да. Какая у нее спереди ручка. Как у шарманки. Помнишь, как мы в первый раз увидели машину на новой дороге в Вельише? Черную? — легкая тень

недовольства закралась в ее голос. — Твое вечное молчание! Когда ты отучишься от этой манеры?

Что-то в их тоне и выражениях, так тщательно скрываемое обсеими, возбудило любопытство Давида. Но, поскольку они об этом больше не говорили, у него остался только неопределенный интерес к тому, что сделала мать, и надежда, что он когда-нибудь узнает.

5

Враждебные отношения между отцом и Бертой быстро приближались к точке кипения. Давид был уверен, что вот-вот что-то случится, если тетка не придержит свой язык.

В этот субботний вечер тетка прибыла домой с большой картонной коробкой в руках. Она пришла позже обычного и задержала ужин почти на час. Этот пост отнюдь не привел отца в дружеское расположение духа. Он начал ворчать еще до того, как она появилась, и теперь, хотя она мыла лицо и руки с величайшей поспешностью, он не смог удержаться:

— Скорее. Все равно тебе никогда не смыть свою вонь.

В ответ Берта выставила в его сторону свой широкий зад. Глядя на нее взбешенным взглядом, он ничего не сказал. Только рука его зло забарабанила ножом по столу.

Несколько погодя тетка выпрямилась и стала вытираться, не сознавая, очевидно, в какое бешенство она привела отца.

— Похоже, ты ходила по магазинам, — дружелюбно обратилась к ней сестра, ставя на стол еду.

— Точно, — тетка села, — я делаю успехи в этом мире.

— Что ты купила?

— По дешевке, конечно! — кинул отец презрительно. Казалось, он только и ждал повода, чтобы вмешать-

ся. — Хозяин, который не снимет с нее голову так, что она это и не заметит, может закрывать свою лавочку.

— Ну, да? — язвительно отпарировала тетка. — Лучше о себе скажи. Я не трачу жизнь на охоту за ржавыми подковами. Этот граммофон, который ты купил летом! Ха-ха! Тих и недвижим, как в канун творения.

— Придержи язык!

— Эй, вы оба! Лапша с сыром стынет, — осадил их мать.

Все начали есть, и стало тихо. Время от времени тетка бросала счастливый взгляд на картонную коробку.

— Одежда? — скромно спросила мать.

— Что ж еще? Половина тряпок этой страны!

— Очень они тебя украсят! — вставил отец, жуя лапшу.

— Альберт! — возмутилась мать.

Тетка Берта вдруг перестала есть.

— С тобой-то кто говорит? Подавись своими островами. Никто не просит тебя мною любоваться.

— Чтобы я тобой любовался, Бог должен дать тебе новую душу.

— Чтобы не нравиться тебе, я останусь, какая есть! — она презрительно вскинула голову. — Я скорее была бы рада, чтоб свинья восхищалась мною!

— Не сомневаюсь.

— Скажи, дорогая Берта, — мать сделала отчаянную попытку отвлечь ее, — что ты купила?

— О, коробку тряпок! Что еще я могу купить на свои деньги? Я покажу тебе.

Бросив торопливый взгляд на отца, мать предупреждая протянула руку, но было поздно. Тетка схватила со стола нож и уже разрезала бечевку на коробке.

— У нас что здесь, ужин или базар? — спросил отец.

— Может быть, немного позже? — предложила мать.

— Нет, — загорелась тетка мстительной радостью, — пусть он жрет, если хочет, мой аппетит потерпит, — и распахнула коробку.

Извлекая вещь за вещь — кофточку, нижнюю юбку, чулки, — она блаженно объявляла их названия и цену. Наконец она вытащила на свет большие белые панталоны и восхищенно повертела их в руках. Отец резко повернул стул, чтобы их не видеть.

— Разве они не прекрасны, — лопотала тетка, — смотри, какое кружевце по краю. И так дешево. Только двадцать центов! Там, в магазине, есть совсем маленькис. У некоторых бедных женщин совсем нет попы! — она захихикала. — Когда я их держу на расстоянии вниз головой, они выглядят, как горы в Австрии.

— Да, да, — сказала мать поспешно.

— Ха! Ха! — продолжала она, совершенно очарованная своей покупкой. — Что поделаешь? У меня жирный зад. Но это ли не чудо? Двадцать центов, и я могу носить то, что в Австрии носят только баронессы. И такие удобные, и так аккуратно скроены. И эти пуговицы. Смотри, как здесь открывается. "Крик моды", — сказала она. — А помнишь, какие мы носили в Австрии? Мы заправляли их в чулки. Летом и зимой мои ноги выглядели, как цыганская гармошка.

Отец не мог больше сдерживаться.

— А ну-ка, убери прочь эти штуки! — взорвался он.

Тетка испуганно отшатнулась. Потом она сузила глаза и выпятила свои упрямые губы.

— Не ори на меня!

— Убери это! — он ударил кулаком по столу так, что затанцевали тарелки, и желтые лапшинки свесили свои тонкие шеи через их края.

— Пожалуйста, Берта, — взмолилась мать, — ты знаешь, как...

— И ты на его стороне? — прервала ее тетка. — Уберу, когда захочу. Я ему не рабыня!

— Ты сделаешь то, что я говорю?

Тетка хлопнула себя рукой по бедру.

— Когда захочу! Тебе пора знать, что женщины надевают на свою задницу.

— Прошу тебя последний раз, грязная сука, — отец отодвинул стул и медленно поднялся в гнев. Давид заплакал.

— Пусти! — тетка оттолкнула сестру. — Тоже мне праведник, не может смотреть на пару панталон. Он что, писает водой, как святые, или растительным маслом?

Отец приблизился к ней.

— Я прошу тебя, как просил бы смерть! — он всегда это говорил в моменты гнева. Его голос звучал тонко и с пугающей жесткостью. Это значило, что он сейчас ударит. — Ты уберешь?

— Только попробуй! — закричала тетка, размахивая панталонами перед самыми глазами отца.

Она не успела отступить, как его длинная рука метнулась, и со злым ласом он вырвал у нее панталоны и разодрал их на две части.

— Вот тебе, сука! — рычал он. — Вот тебе горы в Австрии! — и он их швырнул ей в лицо.

Тетка бешено прыгнула на него, растопырив когти. Не сжимая кулака, он толкнул ее ладонью в грудь, и она ударилась о стену. Его глаза пылали сатанинской злобой. Он повернулся на каблуках, сорвал с крючка у двери шляпу и пальто и величаво удалился.

Тетка повалилась на стул и заплакала, громко и истерично. Сестра, сама с влажными глазами, пыталась утешить ее.

— Сумасшедший! Псих! — прорывались сквозь рыдания тетчины слова. — Дикая скотина! — она подняла с пола панталоны. — Мои новые панталоны! Что он имел против них? Чтоб его голову так же разодрали! Ох! — слезы текли по ее щекам. Пряди ее рыжих волос свисали на липкий лоб и нос.

Мать, утешая, гладила ее по плечу.

— Ша, дорогая сестричка. Не плачь так, дитя. Ты надорвешь себе сердце.

Но Берта запричитала еще сильнее.

— Зачем я коснулась ногой этой вонючей земли? Зачем я сюда приехала? Десять часов в душном це-ху. Бумажные цветы. Тряпичные цветы. Десять длин-ных часов. Боишься пописать лишний раз, чтобы бригадир не подумал, что ты увиливаешь от работы. И теперь, когда после стольких потов я купила то, что приятно моему сердцу, этот мясник раздрает их! Ай!

— Я пыталась спасти тебя, сестра. Тебе уже пора знать его. Слушай меня, у меня есть немного денег. Я куплю тебе новую пару.

— О! Горе мне!

— И даже эти можно починить.

— Чтоб его сердце так же болело, как мое. Их уже не починишь.

— Смотри, они порвались точно по шву.

— Что? — тетка открыла наполненные мукой гла-за, посмотрела на панталоны и вскочила со стула, — он бросил их в меня, швырнул прямо в лицо. Он ударил меня о стену. Я не останусь здесь больше ни минуты. Я не выдержу больше, чем минуту. Я соберу свои вещи. Я уйду! — она направилась к двери.

Мать поспешила за ней.

— Подожди, — упрашивала она, — куда ты пой-дешь? Уже ночь. Пожалуйста, я молю тебя!

— Куда угодно. Я уехала из Европы, чтобы из-бавиться от своего тирана-отца. И вот что я нашла здесь — сумасшедшего. Чтоб на него наехал трол-лейбус! Разрази его, Всемогуший Господь!

Она убежала, громко плача, в свою комнату. Мать грустно последовала за ней.

Хотя тетка не выполнила своей угрозы и не ушла из дому, в последующие дни она и отец не сказали друг другу ни единого слова. По вечерам они ели молча, и, если одному из них что-нибудь было нуж-но от другого, Давид или мать были посредниками. Однако через несколько вечеров такого напряже-

ния эти оковы стали невыносимы для тетки. И в один из вечеров она вдруг сбросила их.

— Передай мне селедку, — пробормотала она, обратившись на этот раз непосредственно к отцу. Его лицо помрачнело, но он все же подтолкнул к ней тарелку.

Так было подписано перемирие, и отношения, хотя и не сердечные, восстановлены. С тех пор тетка старалась насколько возможно сохранять мир.

— Он бешеный пес, — сказала она сестре, — он должен бегать на лапах. Лучше всего быть от него подальше.

И она долгое время поступала именно так.

6

— Сердце исходит жалостью! — насмешливо говорила тетка Берта. — Да, да, на самом деле! Он выдергивает зуб и просит всего пятьдесят центов. Понимаешь, что это значит? Что меня будет мучить больше всего, так вот это "только пятьдесят центов". А когда у меня не будет зубов, и я буду выглядеть, как моя бабушка, дай ей Бог покоя там, где она лежит, он повысит цены. Я вижу этих бандитов насквозь, не беспокойся.

Тетка часто баловала себя невероятными количествами сладостей и мороженого. За этим следовали жестокие зубные боли. Она заявляла, что в течение последних нескольких ночей ее рот стал величиной с пол-арбуза. Давид не был уверен, что это в действительности так, но ее зеленые зубы и красные губы и правда чем-то напоминали арбуз. После долгих споров матери удалось, наконец, заставить ее пойти к врачу. Завтра вечером он вытащит у нее несколько зубов.

— В Вельше, — продолжала тетка, — говорили, что "какн"* облегчает головную боль. А здесь, в

* Какн (идиш) — иметь желудок.

Америке, по-моему, он тоже сказал — "какн" помогает от зубной боли. Газета отца предупредительно зашуршала.

— Кокаин? — спросила мать.

— Да, да, кокаин, — поправилась тетка.

— И еще, — тетка разразилась озорным смехом, — он вытащит шесть зубов. И три из них он называет "моле"* . Ну, не чудно ли! Вытащит "моле" и потом сделает мне "моле".

Давид не знал, что значит "моле" по-английски. Но он знал, что на идиш "моле" каким-то образом относилось к обрезаю. Тетка была слишком беспечна в этот вечер.

Но если в этот вечер отцу пришлось терпеть ее шутки, то в другой раз терпеть привелось ей.

Потом мать рассказала, что произошло. Тетка кротко и спокойно села в кресло. Она зажмурилась, когда игла вошла в ее рот, и вела себя очень смело. Но когда первый зуб был вырван, и доктор Гольдберг велел ей сплюнуть, она плюнула не в плевательницу, а прямо на доктора Гольдберга.

— Весьма похвально! — сказал отец. — Пример для мудрецов.

— Да! — тетка забыла о своих страданиях. — А если у тебя вытащат все твои зубы? Посмотрим, какой ты будешь смелый и умный. По крайней мере, я довольна, что плюнула на него, а не на себя. И ты, — она повернулась раздраженно к сестре, — ты тоже большая умница! Ты видела, что меня всю свело от страха. Ты видела, как я закрыла глаза потому, что у меня кружилась голова, и поэтому я даже забыла, где нахожусь. Он сказал: "Открой рот". Я открыла — широко, как мешок. "Закрой". Я закрыла. "Плюй!" Иди, ищи плевательницу, когда у тебя почти обморок. Ничего, в другой раз не будет торчать перед ртом.

* Molat (англ.) — коренной зуб. Близкое по звучанию "моле" на идиш — обрезание.

Губы матери задрожали от смеха, но она сдержалась.

— Я не хотела тебя обидеть, сестра моя. Я знаю, как ты настрадалась. Извини. Но ты уже на три зуба ближе к этим золотым ядрышкам, которыми ты так восхищаешься.

— Ближе? — тетка робко коснулась голой красной десны. — Порожней, ты хочешь сказать. Ты уверена, что он не воткнет новые зубы в дырки, что наделал?

— Нет, нет, — успокоила ее мать. — Он же говорил тебе. Они будут висеть, как ворота.

— О, у меня все горит во рту. Но я буду красивее, правда?

— Как же! — щеки отца растянулись в кислой улыбке...

После того, как раны на деснах затянулись, тетка начала посещать врача дважды в неделю. Сначала она горько жаловалась и ходила с величайшим нежеланием. Однако через две недели в ее настроении произошли разительные перемены. Теперь она с нетерпением ждала своих визитов к врачу и задерживалась там вдвое дольше. Больше не было жалоб и детальных описаний различных видов болей, наносимых разными инструментами. Обо всем этом, казалось, было забыто. Какое-то новое, прежде невиданное возбуждение овладело ею. Она стала подолгу разглядывать себя в зеркале и, стыдясь, оглядывалась, не наблюдают ли за ней. Она начала заботиться о своих волосах и блузке, выгибать свою короткую шею, улыбаться так, что были видны ее временные золотые коронки и душиться духами с сильным запахом. Что-то случилось. Во всяком случае, дважды в неделю Давида выгоняли из кухни, и она мылась в раковине. А ведь была уже на дворе осень. И еще — она купила пудру, которая хлопьями сыпалась с ее щек. Произошло что-то очень серьезное. Скоро ее визиты к дантисту участились до трех раз в неделю, а потом и до четырех.

Эта непонятная частота визитов, нетерпеливое ожидание их и вообще странное поведение Берты возбудили не только любопытство Давида и матери, но и молчаливое, никак не выражаемое вслух удивление отца. На осторожные расспросы матери тетка сначала отвечала, что над ее зубами ведется тонкая и таинственная работа, деликатная обработка и пригонка. Конечно, призналась она со смешком, если б она настаивала, ту же самую работу можно бы легко сделать и за два визита, вместо четырех, но она предпочитает ходить туда как можно больше. Там так приятно бывать, — объясняла она. Боли почти не было или было так мало, что о ней и не стоило упоминать. "Человек привыкает к страданиям", — философствовала она.

И, кроме того, приемная, где ждали пациенты, была такая уютная, и люди так хорошо говорили по-английски, что находиться среди них было и приятно, и полезно. К тому же жена доктора Гольдберга выходила в приемную поболтать с ними на "фантастически правильном английском". И, что особенно было приятно, миссис Гольдберг, разговаривая на превосходном английском, продолжала делать какую-нибудь работу по дому, нарезая лапшу или мешая тесто для кекса. Тетка как-нибудь покажет матери, как делать кекс. И, конечно, нужно было выглядеть прилично. Она, миссис Гольдберг, познакомила тетку с прекрасным человеком, хотя он и из России. Он делает ножные протезы для детей. Его имя, между прочим, Натан Стернович, и он такой веселый!

Некоторое время об этом ничего больше не говорилось. Однако в пятницу вечером тетка решила посвятить мать в свои тайны. Это был один из тех вечеров, когда кабинет дантиста был по случаю субботы закрыт, и тетка осталась дома. Она молчала до половины девятого, пока отец не ушел спать и из-за двери спальни не слышалось его ровное дыхание. На счастье Давида ему разрешалось по пятни-

цам и субботам ложиться в девять и даже позже, так как на следующее утро не нужно было идти в школу. Он все слышал. Было это, когда мать показывала ему извилистые границы Австрии на карте учебника, который они еще не начали проходить в школе. Она со смехом сообщила ему, что Вельиш — такая маленькая точка, что они вряд ли увидят ее на карте, если даже вдобавок к свечам зажгут газовую горелку. Вдруг тетка прочистила горло и произнесла:

— Ну, Геня, твой муж уснул.

В ее тоне была такая настороженность и нервозность, что Давид и мать подняли головы. Тетка задумчиво теребила пальцами свою рыжую корону. Мать посмотрела на нее и на дверь спальни.

— Уснул. Ну и что?

— Я не пойду к дантисту завтра, — сказала тетка. — Уже давно туда не хожу. Не каждый раз, по крайней мере. Я хожу держать компанию.

— Что? — мать свела брови. — Что ты делаешь?

— Держу компанию. Пора бы тебе подучить себя английскому языку. Это значит, что у меня есть уха-жер.

— Тогда слава Богу! — засмеялась мать. — Кто... А, я знаю! Этот Стернович!

— Да. Я тебе говорила о нем как-то. Но я не хочу, чтобы он знал, — она предупреждающе кивнула в сторону спальни. — Он был бы счастлив, если бы все развалилось. Поэтому я ничего не говорила.

— Ты слишком резка с ним, Берта. Он не желает тебе ничего плохого. Правда, не желает. У него такой характер. Так будет всегда.

— Хорошенький характер, — с ненавистью подхватила тетка, — в земле ему место...

— Ах, Берта! Ша!

— Да, давай не будем слишком много говорить. Он может услышать. И, кроме всего, он твой муж. Но ты ему не скажешь? Пока все не уладится. Обещаешь? Помни, я хорошо хранила твои секреты.

Эти слова всколыхнули в Давиде волну любопытства. Секреты? Его матери? Подняв голову, он увидел яркие розы на ее щеках. Их глаза встретились. Она молчала.

— Прости меня, — заторопилась Берта, — правда, я не хотела... Я не хотела быть такой... такой грубой! Пусть у меня язык отвалится, если я хотела обидеть тебя!

Мать быстро глянула на дверь спальни и вдруг улыбнулась.

— Ничего, я не обиделась.

— Так ли? — все еще смущенно спросила тетка.

— Да, конечно!

— Но ты так покраснела. Я думала, что ты рассердилась, — ее голос снизился до шепота. — Это из-за Альберта?

— Нет, — спокойно ответила мать, — ничего подобного. Сын посмотрел мне в глаза.

— Ох! — успокоилась Берта. — Я думала, что... — и она строго посмотрела на Давида. — Ты слушаешь, жулик?

— Что? — его глаза рассеянно оторвались от книги, скользнули по теткинному лицу и опять опустились.

— Ах! — Берта отмахнулась от тревог сестры. — Он мечтает о Вельише, маленький дурачок.

— Я не уверена, — засмеялась мать. — Но о чем ты говорила? Кто он? Протезист?

— Да. Детский протезист. У него хорошая работа, и он много зарабатывает. Но... — она неистово зачесала голову, и фраза повисла в воздухе.

— Ну, что тебя беспокоит? Он некрасивый? Что?

— Ах! Ты веришь в любовь?

— Я? — улыбнулась мать. — Нет.

— Нет? Скажи это своей бабушке. Ты читала все немецкие романы в Австрии. Знаешь что? С тех пор, как я здесь, я ни разу не видела, чтобы ты читала книгу.

— У кого есть время даже на газету?

— Ничего хорошего они тебе не дали, — продолжала тетка после недолгого раздумья. — Они сделали тебя странной и твои мысли странными. У тебя появились странные понятия, которых ты не должна иметь.

— Ты уже говорила мне, и отец говорил, много раз.

— Да, было бы лучше, если бы ты его слушалась. Они испортили тебя, понимаешь? Ты была самой мягкой из нас, но ты не была истинной еврейкой. Ты очень странная. У тебя не еврейский характер.

— А что это за характер?

— Ах! Понимаешь? Ты улыбаешься. Ты слишком спокойная, слишком благородная. Это плохо. Так не годится. Ты не обижайся на меня, но, может быть, ты забыла, какая у тебя была хандра и какие телячьи глаза. Ты выглядела так... — теткина челюсть отвалилась, и она свесила свой красный язык. — И так... — и ее зрачки закатились под веки, — всегда какой-то затуманенный взгляд. Ты не принимала ни одного из ухажеров, которых тебе приводили. А среди них были такие, к чьим ногам я бы упала не задумываясь, — она гордо вскинула голову, чтобы подчеркнуть свою собственную ценность и значимость подобного признания. — Немецкие романы! Это они наделали! И потом ты вышла за Альберта — при том выборе, какой у тебя был.

Мать смотрела на нее с выражением озадаченности и отчаяния.

— О чем мы говорили? Обо мне, о тебе или о немецких романах?

— Я боюсь.

— Чего? Что ты сделала?

— Ничего. Ты думаешь, я дура? Пусть он только посмеет! Но почему с тех пор, как ты вышла замуж, каждая из наших сестер обзаводится семейкой, которую я бы пожелала иметь самым худшим своим врагам?

— Я не знаю, — выдохнула мать с ноткой безысходности. — Но ты все-таки скажешь, в чем дело?

— Что, у меня нет права бояться? — она вытерла ладони о бедра, пощупала, сухи ли они и снова вытерла их о свои растрепанные волосы. — Как тут не бояться, когда чувствуешь себя, как бычок, которого ведут на бойню.

— Не говори глупости, Берта.

— Весь наш род проклятый, говорю тебе. Порочное семя.

— Ах! Кто он? Расскажи мне о нем.

— Мне стыдно.

— Тогда не будем об этом говорить.

— Нет. Даже если ты не хочешь, я тебе скажу. Натан Стернович — вдовец. Вот так. Ты довольна?

— Господи, и это все! — успокоилась мать. — И поэтому ты изводишь себя и меня? "Вдовец". Я думала он — я знаю что — без рук и без ног!

— Избави Бог! Так ты думаешь, это не стыдно, не скандал, если я выйду замуж за вдовца? Я еще не старая дева...

— Чепуха!

— Но он старше меня на тринадцать лет. Тридцать восемь! И у него уже двое детей. Это скандал! — простонала она. — Это скандал!

— Ты дуручка, и вот это — скандал, — сказала мать с коротким смешком. — Ты его любишь?

— Горе мне, нет! И он меня тоже не любит, так что не спрашивай меня.

— А что же?

— О, мы правимся друг другу. Мы много смеемся, когда мы вместе. Мы много разговариваем. Но всякий ведь может понравиться тому, кто ему нравится. Он мне нравится. Но он не верит в любовь. Он говорит, что любовь — это ущипнуть здесь и ущипнуть здесь, — она показала на свою большую грудь и на бедра, — и больше ничего. И если это все, что может быть, то я тоже не верю в любовь. Но я еще не уверена.

— Это, действительно, не намного больше, — верхняя губа матери дрогнула в улыбке, — если захотеть так смотреть на это дело.

— А не будут надо мной смеяться? Женщины на работе и люди в Вельише? Когда они узнают, что я вышла замуж за вдовца с двумя дочерьми? Подростки: десять и одиннадцать лет!

— Вельиш слишком далеко, чтобы о них беспокоиться, сестричка. А если бы это было даже не дальше, чем Браунсвилл, чего тебе беспокоиться? Это ты беспокоишься о том, что подумают другие! Стыдно! Я думала, ты смелее.

— Но быть мачехой в двадцать пять лет! Или даже в двадцать шесть! На что это будет похоже! Занять место женщины, которая лежит в могиле! И говорят, что вдовцы всегда забываются и называют тебя именем бывшей жены. Рахель! А она лежит в саване! Я дрожу, когда об этом думаю!

— Вот чего ты боишься на самом деле. Ты суеверная. Я никогда не слышала ничего глупее.

— Не знаю. Я ненавижу покой и смерть.

— Тогда не бойся. Ты, наверное, еще долго не встретишься со всем этим. Ты до сих пор осталась ребенком. Но послушай. Женщины в саванах не ревнивы. Это меня меньше всего беспокоит. И, в конце концов, если ты не можешь с этим справиться, если ты дрожишь при каждой мысли об этом, почему ты хочешь за него замуж?

— Я некрасивая, это ты знаешь. Даже с этой новой пудрой на лице и с куском золота во рту, — она подняла губу. — Не переубеждай меня. На меня никто не смотрит. Даже в воскресенье, хотя я уже не валяюсь в своих новых платьях. Денег на брачных агентов у меня нет. Ну, чего же еще? Он первый, кто сделал мне предложение. И, может быть, последний. Я не хочу стереть свои ягодицы до костей, сидя на работе.

— Это глупо, Берта, — мягко запротестовала мать. — Ты говоришь так, точно у тебя нет ни одного хоро-

шего качества, как будто ты совсем безнадежна. Подожди, если появился один, будут и другие.

— Чем дольше я жду, тем больше денег мне надо копить. А чтобы скопить что-нибудь с моими тремя долларами в неделю, нужно долго ждать.

— Не заботься ты так о сбережениях. Предоставь это мужчинам. Ты еще мало живешь в стране. В Нью-Йорке полно мужчин, которым ты понравилась бы.

— Да! — мрачно ответила тетка. — В нем также полно гладких, гибких евреек, которые умеют играть на пианино. Пока я научусь говорить на этом языке, сколько мне будет? Тридцать! Старая и сухая. У других есть деньги, и они умеют танцевать и петь. А я умею только смеяться и есть. Вот и все мои таланты. Если я не заполучу мужа сейчас, мне, может, никогда это и не удастся.

— Ну, так быстро ты не увянешь. А как он выглядит?

Тетка выпятила губы.

— Еврей, как остальные.

— Да? Ну, дальше.

— Внешне ничего, короткий и некрасивый, как я. Хотя потоньше здесь и здесь. Волосы падают. Те, что остались, — темные и вьются. Маленькие глаза. Длинный нос, как крючок. Он аккуратный. Не курит. Он, как Альберт. Но у него есть одна привычка, с которой я хочу покончить. Он разрезает хлеб на маленькие кубики, когда ест. Вынимает свой перочинный нож и режет. Он очень симпатичный и никогда не злится. У него есть планы, как делать деньги. Он меня спросил, смогу ли я содержать кондитерскую, если мы поженимся. Он бы ее купил, а я бы там работала. Понимаешь, что это значит. Он будет зарабатывать протезами, а я буду зарабатывать в кондитерской.

— А как же дом?

— К черту дом! Я ненавижу домашнее хозяйство. Его девицы достаточно взрослые, чтобы забо-

титься о доме. Кондитерская! Какая жизнь! А! Блеск! Все равно, что жить все время на ярмарке.

— И у тебя всегда будут сладости, — хитро засмеялась мать, — тебе это понравится.

— Конечно, — распалилась тетка, не замечая, что мать иронизирует. — Не странно ли как все поворачивается: от конфет к зубам, от зубов опять к конфетам?

— Да. И пусть эти повороты судьбы принесут удачу!

— Дай Бог! Я как-нибудь приведу его на ужин.

— Конечно!

— Только не говори ничего Альберту. По крайней мере, пока я не скажу тебе, пока я сама не буду уверена. Скоро у нас будут обручальные кольца, с Божьей помощью.

— Не может быть!

— Ай! — тетка сложила руки, как в молитве. — Чтоб он поскорее забыл свою Рахель. Это единственное мое желание, — и вдруг она сварливо надула губы, — а если он не забудет, я возьму пару камней и вышибу это из его головы!

— Я думаю, что с такой женой, как ты, он очень быстро ее забудет, — улыбнулась мать.

7

Прошло около недели. Был полдень. Повернув за угол на Авеню Д, Давид увидел мать, идущую по противоположной стороне улицы. Случайные встречи с ней на улице всегда доставляли ему острое удовольствие. словно движущийся лабиринт улицы наполнялся устойчивостью от ее присутствия. Ему казалось, будто дни, а не часы прошли с тех пор, как он видел ее в последний раз, потому что, действительно, дни, а не часы прошли с тех пор, как он последний раз видел ее на улице. Он прыгнул через канаву и бросился к ней.

— Мама!

Она остановилась и улыбнулась ему. — Это ты?

— Да. — Они пошли, и он старался не отставать. — Ты куда идешь?

— Домой, естественно, — ответила она. — Ты поднимешься со мной?

— Да.

— Тогда возьми вот это, — она дала ему сверток.

Белье из прачечной. Он узнал его по запаху свежести и по желтой оберточной бумаге.

— А китаец дал тебе сладкие орешки?

— Я забыла спросить, — сказала она, — жаль.

— У-у-у, — разочарованно протянул он.

— В следующий раз обязательно возьму.

— А что у тебя там? — он указал на маленький, завернутый в газету квадратный предмет, который она держала в руке.

— Сюрприз.

— Для меня? — спросил он с надеждой.

— Это, — замялась она, — для всех.

— О! — он недоверчиво посмотрел на пакет. Он был слишком мал, чтобы его хватило на всех.

Они дошли до своего дома и вошли в подъезд.

— Можно мне посмотреть?

— Конечно, когда поднимемся.

У двери он едва дождался, когда она справится с ключами. Они вошли на цыпочках. После полудня они всегда разговаривали шепотом, потому что в спальне спал отец.

Мать развернула газету, и Давид увидел картину.

— Нуу! — Он был слегка разочарован.

— Что, не нравится? — засмеялась мать.

Давид рассмотрел картинку внимательней. На ней был изображен участок земли с высокими зелеными стеблями, между которыми росли маленькие голубые цветы.

— Нравится, — протянул он неопределенно.

— Я купила ее у лоточника, — сообщила она с одним из своих необъяснимых вздохов. — Она напомнила мне об Австрии и о доме. Знаешь, что здесь нарисовано?

— Цветы?

— Это пшеница. Она так растет. Она растет из земли, летом. Сладкая пшеница. Не лоточник придумал ее, понимаешь?

— А что это за голубые цветы внизу?

— Они появляются в июле. Прелестные, правда? Ты видел их, конечно. Целые поля васильков. Только ты уже не помнишь, ты был еще маленьким. — Она оглядела все стены. — Где бы ее повесить? Где-то я видела гвоздь. Когда я была маленькой девочкой, — сказала она тут же, без всякого перехода, — в соседнем доме начался пожар, и мой брат так разволновался, что стал кричать: "Лестница, лестница, лестница! Топор, топор, топор!" Люди порой несут несурязицу. Вот! Вот он! — она придвинула стул к стене и встала на него.

Давид еще никогда не видел свою мать такой воодушевленной и радостной. Ему хотелось смеяться, глядя на нее.

Она спрыгнула со стула и посмотрела на висящую на стене картину.

— Немного высоковато для пшеницы, но ничего. Все равно это, как-никак, лучше, чем календарь.

— Зачем ты ее купила?

Она игриво погрозила ему пальцем.

— Разве ты не знаешь, что у нас будут гости? Берта приведет свою "компанию". Я правильно сказала? Так она меня научила. Ты хочешь его видеть?

— Аа-а. — он холодно пожал плечами.

— Ах! Какой ты плохой племянник. Даже не хочешь посмотреть на нового ухажера своей тетки. Он будет твоим дядей, если она выйдет за него замуж. Тогда у тебя будет американский дядя. Мог ли ты когда-нибудь такое предвидеть?

Давид молча смотрел на нее, удивляясь, почему он должен этому радоваться.

— Я теперь вижу, — продолжала она ворчливым шепотом, — что ты ни о чем не думаешь. Ведь правда, скажи честно? Ты просто два уха и два глаза. Ты видишь, слышишь и помнишь, но когда уже ты будешь пони-

мать? Если бы ты не приносил домой хорошие отметки, я бы сказала, что ты — дурачок.

— Я иду гулять, — упрямо сказал он.

— О, ты и вправду дурачок! — печально засмеялась она. — Берта права. Но подожди, сегодня ты должен прийти немного пораньше, дорогой. Я должна вымыть тебя, причесать и нарядить в новую рубашку. У нас сегодня гость.

— Не-е-е! — он уже был в дверях.

— И не поцелуешь? — она поймала его за плечи и поцеловала, — не опаздывай.

Он спускался по лестнице, удивленный и немного расстроенный. Он не очень-то возражал против того, что его называли дурачком. Она ведь только шутила, не больше. Она засмеялась и поцеловала его. Но вот, если он не проявлял интереса к своему будущему дяде, то она забыла даже о нем самом. Забыть китайские орешки! Когда их дают бесплатно, и она знает, как он их любит. Может быть, китаец даст ему, если он пойдет и скажет, что его мать только что получила белье? Но какое? Рубашки. Да. Отец, наверно, тоже наденет чистую рубашку. Может быть, с крахмальным воротничком. Хотя, в свертке не было ничего жесткого. Не дадите ли вы мне немного орехов, мистер... мистер? Она забыла спросить, мистер... Чайни-Чинк. Смешно. Все равно надо пройти мимо и заглянуть. О чем это он думал? Никак не вспоминается. Не об орешках. О "компании"? Нет.

Он сошел с крыльца и повернул на запад. Китайская прачечная — на углу Десятой улицы и Авеню С. Он шел медленно и беззаботно. Его не пугало движение автомобилей и людей. Он уже знал этот мир.

Он дошел до прачечной и хотел заглянуть в окно, но его окликнули знакомые голоса.

— Эй, Дэви!

Он обернулся. Это были Ицци и Макси. Оба жили на его улице и учились с ним в одном классе.

— Ты куда идешь? — спросил Ицци.

— Никуда.

— Зачем ты тогда смотришь в окно к китайцу?

— Мать получила здесь белье, когда я возвращался со школы, но забыла про орехи.

— А ты хочешь попросить? — Ицци понравилась идея. — Давайте, все войдем.

— Нее, — я просто хотел посмотреть. Может, она придет потом, и я с ней войду.

Они заглянули в окно, сложив ладони козырьками. Внутри, за высоким зеленым прилавком узкоглазый человек брызгал водой из пульверизатора на чистое белье. Он был увлечен работой и не замечал их.

— Клянусь, сейчас можно получить орехи! — сказал Ицци. — Макси, иди и скажи, что ты Давид. Он поверит, что ты Давид, и даст тебе. И у нас будут орехи. Потом его мама придет, и мы получим еще...

— Даа! — заупрямился Макси, — сам иди. У них длинные ножи!

— Он похож на женщину, — сказал Ицци, — какой у него хвост на голове. Давай постучим в окно. Может, он на нас посмотрит.

— А, может, он за нами погонится, — возразил Макси.

Ицци прижался носом к стеклу.

— Я знал китайца, — сообщил он. — У него не было рук. Он брал в рот кисточку и писал.

— А как же он писал? — спросил Макси. — Как он держал пиписку?

— Он не держал. Кто-нибудь помогал ему.

Они помолчали.

— Я могу съесть миллион орехов, — сказал Ицци.

— Я тоже! — согласился Макси. — Ну, когда же твоя мать придет?

Давид испугался. Он и не думал, что они это примут настолько всерьез.

— Не знаю, — ответил он уклончиво и начал отступать от окна.

— Но ты сказал, что она придет, — настаивали они, следуя за ним.

— А, может, и нет. Я не знаю.

— А куда ты теперь? — Они поворачивали на юг, к Девятой улице, а он на север, к Десятой.

— Никуда, — сказал он.

— Что за человек! — возмутился Ищи, — ни с кем не водится.

И на том они расстались.

8

Когда Давид пришел домой, отец уже встал. Он был обнажен до пояса, и тяжелая нижняя рубаша свисала поверх брюк до колен. Он стоял у раковины и вытирал полотенцем блестящую бритву. В голубом свете газовой горелки его лицо казалось каменно-серым, более рельефным и красивым. Когда он двигался, на его руках и плечах мощно перекачивались под кожей узлы мускулов. Мышцы на груди и животе были квадратные и плоские. Редкие темные волосы вились на белой коже груди. Он сильный, его отец, намного сильнее, чем выглядит, когда одет. Давиду казалось, что он видит отца впервые. И он смотрел на него почти благоговейно, пока резкий взгляд отца не оттолкнул его. Он подошел к матери. Она улыбнулась.

— Ну, мой второй мужчина, теперь ты потрудись.

Снимая пальто и свитер, он заметил, что кухня была безукоризненно чиста. Плита казалась отполированной. Линолеум тепло блестел. Оконных стекол не было видно на фоне синих сумерек. Стол был накрыт его любимой скатертью, белой, с квадратами из тонких золотых линий. Он расстегнул рубашку, снял ее, стянул с себя нижнее белье. Отец в это время сражался со своей рубашкой, надевая ее. Давид посмотрел на свои собственные тонкие руки, потом поднял глаза и схватил последнюю вспышку мощных мышц, вдвигаемых в ножны рукавов. Сколько еще ждать, подумал он, пока на его руках появятся такие же мускулы. Он хотел, чтобы это случилось сейчас же. Какой сильный его отец,

сильнее, чем, вероятно, будет он сам. Волна зависти и отчаяния поднялась в нем. У него никогда не будет таких узлов на плечах. Но он должен быть таким сильным, должен. Он еще не знает почему, но он должен.

— Когда есть огонь в печи, есть и теплая вода, — сказала мать, наливая воду в раковину.

Она пододвинула к ней стул. Давид взобрался на него и начал умываться. Сзади него была тишина, и потом сквозь плеск воды он услышал звук, который напомнил ему о чистом замерзшем белье. И ворчание отца.

— Нужен клин, чтобы влезть в эти рукава. Они что, крахмалят их гипсом?

— Возможно. Я не знаю, зачем они это делают. Но это только сегодня. И если мы гостью подойдем — еще один раз.

— Хм-м! — ворчал он, продолжая борьбу с сорочкой. — Чем скорее, тем лучше. Если она думает, что я буду совать ей палки в колеса, она сумасшедшая. Я не стал бы надевать эту гипсовую сорочку, если бы я не надеялся от нее избавиться. Можешь ей так и сказать, если она из-за этого разводит такие секреты.

— Вовсе не из-за этого, Альберт. Она не боится, что ты помешаешь. Но такие вещи случаются не очень часто в жизни женщины, и она чувствует себя неуверенно. К тому же ей стыдно и она немного испугана: вдовец, жена в могиле, понимаешь.

— Пф-ф! Я бы сказал, что ей повезло, даже если б она должна была стать его шестой женой. А что до него, так русские лучшего не знают и лучшего не заслуживают. Но эти хитрости — дантист четыре раза в неделю, золотой зуб, пудра, зеркала. Только Бог мог догадаться, что с ней происходило.

— Это разве хитрости, Альберт, — она указала Давиду, с которого капала вода, на полотенце и чистую рубашку на спинке стула, — любовь, женитьба, как это ни назови, приносит человеку тревогу и неуверенность. Человек хочет выглядеть лучше, чем он есть.

— Что же ты думаешь, что я тоже так делал?

— Да, — она замялась, — конечно.

— Ба!

— Конечно. Знаешь, как поется в старой песне: "Так или эдак жених и невеста обманывают друг друга".

— Обманывают! — его тонкое серое лицо заострилось. — Чего уж тут обманывать — русский, да еще вдовец.

— Но, Альберт! — она лукаво улыбнулась. — Русский еврей — тоже мужчина.

— Возможно.

— И она будет ему хорошей женой. Она хитрая и, что главное, не застенчивая. Наряды ей особые не нужны. И при собственной кондитерской, — она засмеялась, — ей будет не на что тратить деньги. Судя по тому, что она мне рассказала, именно такая жена нужна этому Натану.

— Если у нее когда-нибудь будет кондитерская и если она будет ее содержать так же, как она содержит свою комнату здесь, то храни Господь ее покупателей. Здесь, когда она оставляет на полу пучки волос, толстые, как стебли, мы на них только наступаем, а там люди будут их есть, запомни мои слова. Волосы будут на каждой конфете. А этот рыжий лисий хвост, что болтается у нее на затылке, его будут находить в мороженом. Хоть раз в жизни она что-нибудь положила на место? Хоть что-нибудь она делает тщательно? А какую пищу она ему будет готовить, Боже всемогущий!

— О, она научится, Альберт! Она научится! Она вынуждена будет. Я тоже не умела готовить до замужества. У нас были слуги, когда я была девочкой. Они делали все по дому — убрали, готовили.

— Ба! — прервал он ее презрительно. — Я в это не верю. Она никогда ничему не научится. А что она знает о детях? Ничего! Что за жизнь они ей устроят. И она им. Две девочки на руках в день свадьбы. Чужие ей. Хи! Что за безумие! Такое можно поже-

лать только врагу. Ладно, — он нетерпеливо пожал плечами, — единственное, чего я прошу, чтобы это скорее кончилось.

Давид, который к этому времени надел рубашку и галстук, совершал маневры, чтобы попасться матери на глаза. Она заметила его, и ее глаза широко раскрылись от удовольствия.

— Смотри, как он сияет, твой сын.

Бесстрастные глаза отца задержались на нем лишь на секунду и уплыли.

— Почему он не причесался?

— Я причешу, — она смочила расческу и нежно провела ею по волосам сына, — они были темнее, когда ты был маленький, мой красавчик.

Примерно через полчаса пришли тетка Берта и ее жених. Присутствовать при знакомстве отца с новым человеком всегда было мукой для Давида, а на этот раз все было еще мучительней. Тетка была смущена, отчего поток ее слов и жестов лился еще неукротимей, а отец стал скованным и чужим, словно вырезанным из камня. Когда мужчины здоровались, отец что-то хрюкнул в ответ на приветствие, и, избегая глаз собеседника, мрачно глядел поверх его плеч. Мистер Стернович, смущенный, бросил беспомощный взгляд на тетку, которая посмотрела на отца с ненавистью и подбодрила гостя улыбкой. Эта минута напряженности прошла, когда мать пригласила всех к столу. Они уселись, постепенно избавляясь от скованности.

Во время разговора о дантистах, в котором отец, нервно вертевшийся по комнате, не принимал участия, Давид рассматривал незнакомца. Это был маленький, длинноносый, голубоглазый человек с болезненным цветом лица. Редкие узкие усики, концы которых он все время пытался ухватить углами рта, росли над самой губой. Его уши были слишком большие, мягкие и пушистые, почти, как красный плюш. Когда он говорил, у него во рту поблескивал золотой зуб, а его чахлые брови исчезали в морщинах

лба, набегающих из-под каштановых кучерявых волос. Весь он выглядел каким-то незначительным и даже немного смешным. И Давид, разглядывая его, испытывал все возрастающее разочарование, не столько даже из-за себя, сколько из-за тетки.

Разговор перешел на протезы, и Стернович сообщил, что этот бизнес быстро идет на спад. Дети носят намного меньше протезов, чем раньше. И из-за неуверенности в будущих заработках, сказал он, стесняясь, он полагает, что жена должна иметь независимые прибыли, с чем тетка горячо согласилась. Сначала неуверенный, но подбадриваемый теткой и матерью, Стернович постепенно оправился от неловкости, навеянной холодным молчанием отца, и заговорил свободнее. Но он стушевывался всякий раз, когда его глаза встречались с отцовыми. Давид сочувствовал ему. Всех отец подавлял своим присутствием, кроме тетки, и чем сильнее смущался Стернович, тем более вызывающе вела себя она.

Когда мать подавала ужин, Стернович, предварительно укусив кончик уса, сказал:

— Мой отец был слугой.

— И в дождь он таскал двух своих детей в хедер на спине, правда, Натан? — подхватила тетка.

— Да, — Стернович поднял глаза от тарелки, — приходилось.

— Но почему ты должен сообщать это всем при первом знакомстве? С этим можно бы и подождать. Почему не расскажешь о сестре своей матери — враче? Вот чем можно хвалиться.

— Я как-то не думал об этом, — ответил, оправдываясь, Стернович и доверчиво взглянул на отца, — но он и вправду был слугой!

— Вот-вот! Все расскажи им! — затрясла тетка головой. — И как твоя мать ослепла, когда рожала тебя, а потом все годы твоего детства была подслеповатой. И однажды угостила тебя вместо сиропа уксусом. И от этого ты такой некрасивый!

— Надо же о чем-то говорить, когда все молчат, — упорствовал Стернович.

— Ах! Для беседы есть многое другое, — раздражалась тетка. — Ты же не хотел бы, чтоб я, едва встретившись с твоей родней, рассказала о своем первом ухажере? — Она стала жестикулировать и корчить гримасы: — Он за-за-заикался. И когда сват велел ему говорить, ох! он сказал: "Ва-ваща ба-бабушка лю-любила с-с-сыр?"

— Будь снисходительней, Берта, — сказала мать, — какая разница, что расскажет он сейчас, что потом. Мы еще многое узнаем друг о друге.

— Возможно, — многозначительно подчеркнула тетка.

Стернович тайком поглядывал на мрачного отца и на тетку. Потом он смущенно моргнул, попытался засмеяться и неуверенно спросил:

— Что ж ты ответила?

— Я сказала, что ему придется спросить мою бабушку. А она умерла.

— Ой! — Стернович прикусил свой ус. — Она устроит мне ужасную жизнь. И даже то, что я отец двух детей, не поможет мне. Моя первая жена была старше меня. Но она была словно без языка, и она со всем соглашалась. Может быть, теперь моя жена будет моложе и...

— И третьей уже не будет, — схибно улыбнулась тетка.

— Нет, — послушно согласился он. И потом, чтобы подбодрить себя сказал:

— Но мы ведь еще не женаты, а?

-- Уфф!

— А что случилось с вашей матерью? — спросила мать после паузы.

Стернович, держа кусок хлеба в руке, другой долго и бесцельно шарил в кармане. — Никто не знал. Врачи, — он пожал плечами и вытащил перочинный нож с перламутровой ручкой, — они не знали. — Его глаза встретились с теткиными. Она перевела взгляд с его

лица на нож. Пригнув свою жесткую шею, он тоже уставился на нож, точно впервые увидел его.

— Они не знали! — вздохнул он. — Горе мне! Тяжелая жизнь.

Он опустил нож в карман и откусил слишком большой кусок хлеба.

Тетка вдруг улыбнулась любовно и снисходительно.

— Прожуй, Натан, звездочка ты моя. Потом расскажешь, как это случилось. Или мне рассказать?

Он зажевал быстрее. Его виски раздувались. Он хотел говорить.

— Это было так, — продолжала тетка, не обращая на него внимания, — он будет рассказывать об этом так долго, как муравей вползает на гору. Его мать слеpla, и когда врачи не могли ее вылечить, муж повел ее к раввину, и тот вылечил, правда, Натан?

— Да, — сказал Стернович, глотая.

— К какому раввину они ходили? — спросила мать. Стернович приободрился.

— Не к одному из этих образованных нынешних, не думайте. Разве это порядок, — обратился он к отцу за поддержкой, — если раввин позволяет русским офицерам посещать его дочерей? Или если он подчиняется моде, не носит белых чулок и высоких башмаков, стрижет бороду и пейсы? Ха? Нет! — он пытался, казалось, выразить словами то, что говорил угрюмый взгляд отца.

— Я так думаю, что чем моднее они становятся, тем меньше в них божьей силы. Реб Лейбиш, тот раввин, был такой набожный, что заставлял свою жену возвращать все пожертвования. У него не было денег — ни копейки. Он ненавидел всякие удовольствия. Он никогда не принимал в четверг приглашения на субботу. И постился два раза в неделю. Вот это называется раввин. И когда отец привел к нему мать, он не сказал, мол, идите домой, я помолюсь Богу за вас. Нет. Бог был рядом с ним. Он сказал отцу: "Оставь ее. Убери свои руки". А потом еще сказал: "Иди сюда, дочь моя". И она спросила: "Куда? Я не вижу!" А он закричал: "По-

смотри на меня! Открой глаза! Всемогуший даст тебе свет!” И она открыла глаза и прозрела. Вот это раввин!

— Она, должно быть, хорошо прозрела, — тетка поцлепала себя пальцами по губам в знак насмешки, — если дала тебе уксус вместо сиропа.

— Не сразу, — запротестовал Стернович. — Но она видела все лучше и лучше. Когда я уехал из Пскова, она уже совсем хорошо могла видеть и... смотрите! — Он засмеялся и показал пальцем на Давида. — Смотрите, как он уставился на меня. Великолепно!

Давид уронил голову от смущения. Это было правдой. Не зная почему, он был встревожен рассказом Стерновича. Он смотрел на него во все глаза, надеясь, что тот будет продолжать. Но теперь ему стало стыдно, когда все, а особенно отец, стали на него смотреть.

— Ты хочешь меня о чем-то спросить? — поинтересовался Стернович снисходительно.

— Нет.

— Такой дикхий ребенок, — одобрительно закивал Стернович, — как... — его взгляд задержался на секунду на отце, но потом поспешно метнулся к тетке, — как мои дочки, — перешел он на шутливый тон, — правда, Берта?

— Абсолютно! — насмешливо ответила та. — Но они не захотят меня, запомни это!

— Еще чего! — улыбнулся он, — так же, как они не хотят меня! Сколько, вы говорите, ему лет?

— Ему? — мать погладила Давида по голове. — Семь и несколько месяцев.

— Какой рослый, не сглазить бы, — он отложил вилку и постучал костяшкой пальца по дереву. — Моим десять и одиннадцать, но они не выше. Может, еще со сватаем его с одной из них.

— Кстати, о сватовстве, — тетка вдруг предупреждающе приложила палец к губам, — нельзя ничего говорить этой дантистке, слышишь, Натан? А то она еще будет канючить проценты. Шиш она у меня получит!

— Вы уже до этого дошли? — засмеялась мать, — будьте счастливы!

— Я? — Стернович поднял кверху ладони, — я еще не дошел. Это она дошла.

— Ах так? — вспылила тетка. — Не ты ли говорил мне вчера, что подыскиваешь для меня кондитерскую в хорошем месте, может быть, даже на углу, за разумную цену? Говорил? Если ты думаешь, что я очень уж спешу тащить тебя к хупе*, можешь не переделывать кольцо Рахели. Уф-ф! Я подожду!

Одним взмахом руки она оттолкнула Стерновича.

— Он, как все мужчины: сначала думает, как тебя использовать, а уж потом — когда на тебе жениться. Одно без другого ты не получишь.

— Постой! Постой! — остановил ее Стернович, — что я такого сказал, что ты так кипишь? Я сказал, что мы еще не обручились, вот и все. Я думал, что когда я дам тебе кольцо...

— Если ты дашь мне это кольцо! — тетка насмешливо покачала головой.

— Когда я дам тебе кольцо, то было бы лучше, чтобы ты его снимала, когда пойдешь к дантисту, понимаешь? Тогда у нас не будет неприятностей, и мы сэкономим пятьдесят долларов.

— Теперь ты говоришь, как мудрец! — одобрительно закивала тетка, — почему ты сразу так не сказал?

— Ты же вздохнуть не даешь!

— Вы уже нашли подходящую кондитерскую? — спросила мать. — Есть у вас что-нибудь на примете?

— Нет, еще нет, — ответил Стернович, — на самом деле, я еще по-настоящему не начал искать. Но теперь я буду. Я кое-как в них разбираюсь. У моего брата была кондитерская, и я там ночевал. Есть лишь одна проблема. У большинства кондитерских имеются только две задние комнаты. Это удобно для двух человек. Но мы... у меня двое детей. Они сейчас у сестры. Когда я возьму их к себе, нам понадобится по меньшей мере три комнаты.

* Хупа (иврит и идиш) — балдахин, устанавливаемый над женихом и невестой на время свадебного обряда.

— Да, это будет трудно, — покачала мать головой, — жить в подсобных комнатах. Толкотня и шум. Может быть, лучше снять комнаты в другом месте? Даже в том же доме.

— Если мы будем жить в другом месте, — сказал Стернович, — на это уйдет половина выручки. Зачем выбрасывать деньги на наем квартиры, когда можно жить бесплатно. Нам много не нужно. Лишь бы было, где спать и есть.

— Мне не важно, где жить, — сказала Берта, — лишь бы мы зарабатывали деньги. Деньги, проклятые деньги. Не страшно, если будет немного неудобно. Я никогда не отказываюсь от мяса из-за того, что оно застревает в зубах. Сейчас время копить. Позже, когда мы соберем немного денег, продадим магазин, тогда и поговорим.

— Я тоже так думаю, — Стернович потер ладони.

— Тогда поторопись к ювелиру! — тетка мечтательно раскачивалась взад и вперед. — Какое-то время мы будем жить в тесноте и писать в темноте. А потом у нас будет дом. У нас будет достойный дом. Солидная мебель с красными ножками, как в витринах магазинов. Все покрыто стеклом. Пузатые красивые люстры. Патефон. Мы заработаем все это. Что за блаженство просыпаться утром, не промерзнув до мозга костей. Белая раковина. Отдельный туалет. Ванна. Настоящая ванна для моей несчастной шкуры в июле. Не этот проклятый наждак, — она показала на раковину. — Всякий раз, когда я моюсь, у меня отпечатывается ветка смородины на заднице! — Отец мрачнел, его ноздри раздувались. Пальцы на ногах Давида сжимались и разжимались в тесных ботинках.

— Ты слышишь, Натан? — тетка, как всегда, на замечала, как отец загорается гневом. И, как обычно, не обращая на него внимания, пустилась в море экстравагантных видений. Она почти пела.

— У нас будет белая ванна. Горячая вода. Белая ванна! Пусть она будет самая гладкая в мире. Пусть будет

самая скользкая в мире. Пусть она будет скользкой, как сопля...

— Как ты привыкла там, у себя дома, — нарушил свое молчание отец.

— Да, привыкла, — ответила тетка возмущенным тоном человека, внезапно разбуженного среди сладкого сна. — Даже если ванна там и выглядела, как гроб, она все же была из жести и намного глаже, чем этот кусок тротуара! Когда я приехала в эту золотую страну, я думала, что буду мыться в чем-нибудь получше, чем этот ящик с обломками камней, которые режут мою...

— Знаю, знаю! — резко прервал ее отец. — Ты очень деликатная девица.

— И у меня будет самая лучшая ванна, — продолжала тетка мстительно, — я не соглашусь на квартиру с холодной водой. Я не буду жить на последнем этаже, построенном для гоев и нищих. В этой земле еврей может построить свое счастье, если он способен на это, а не сидит всю свою жизнь на лошадином хвосте!

— Берта! — воскликнула мать. — Берта! Ты что, с ума сошла. Не переступай роковую черту!

Каким-то невероятным усилием воли отец взял себя в руки. Он процедил сквозь зубы.

— Чем скорее ты уйдешь к своему счастью, тем лучше для меня. И не думай, — добавил он язвительно, — что если я и не пойду на твою свадьбу, так я не буду танцевать!

Стернович смотрел то на одного, то на другого застенчивыми, испуганными глазами.

— Ай, Берта, — попытался он разрядить обстановку, — ты ужасна! Что ты так бесишься из-за ванны. Что такое ванна!

— Ванна есть ванна, — надулась она. — Ну и умница у меня жених!

Стернович сощурился, заморгал и не смел ни на кого смотреть. С трудом налаженное спокойствие было полностью нарушено, и все опять были настороже. И не было надежды, что натянутость ослабеет, потому что ужин был почти кончен, и отвлечься больше было не-

чем. Мать произнесла несколько неопределенных фраз, но они остались без ответа. В напряженной тишине тетка Берта, которая была близка к слезам, бормотала:

— Завидует мне во всем... Его ненависть... его кислое молчание... Дай ему Бог черную судьбу.

Давид сжался от страха, не смея думать о том, что может произойти. Наконец, Стернович, предварительно несколько раз кашлянув, выставил вперед подбородок и улыбнулся с принужденной и застенчивой сердечностью.

— Я вот что скажу, Берта, — сказал он, — давай пойдем прогуляемся. Что может быть лучше после такого прекрасного ужина? И по пути мы можем зайти в один или два магазина.

— Куда угодно, — вызывающе откликнулась она, — лишь бы уйти отсюда!

Они оба поднялись довольно стремительно, и тетка, наклонив голову вперед, поспешила в гостиную за пальто, бросив Стерновича в кухне одного. Он озираясь по сторонам, бормотал что-то по поводу ужина и тоскливо смотрел на дверь, за которой скрылась Берта. Через несколько минут она вернулась, и они оделись. Прилаживая шляпу на своих волосах, тетка подняла глаза к ее полям и затем перевела их на стену, туда, где висела картина.

Давид вздрогнул. Вот оно что! Теперь он вспомнил. Вот он о чем думал. А потом, на лестнице, забыл! Чудно...

Тетка приблизилась, вглядываясь.

— Посмотри, Натан, — поманила она его, — какая прекрасная пшеница растет в садике моей сестры. Никогда раньше этого не видела. — Она вопрошающе повернулась к матери.

— А я все думала, когда же ее заметят, — засмеялась мать, — должно быть в спешке повесила ее слишком высоко.

— Симпатично, — тетка посмотрелась в карманное зеркальце, — ты что, открываешь музей?

— Нет. Это просто причуда. Я думала, она стоит своих десяти центов. Пустячная цена.

— Ну, мы должны идти, — решительно сказала тетка. — Я вернусь поздно, сестра.

Попрощались. Тетка и отец обменялись ненавидящими взглядами. Приглашение матери навещать их Стернович принял без особого пыла. Он протиснулся в дверь вслед за теткой, и они ушли.

Наступило молчание. Отец, прислонившись к стене, сурово смотрел в потолок. Мать сосредоточенно собирала посуду. Давиду хотелось, чтобы они заговорили. Молчание делало отца еще более суровым. Но оно продолжалось, и Давид не смел двигаться, по крайней мере, пока отец не заговорит и не разрядит напряжение. Ему оставалось только смотреть на новую картину.

Он удивлялся, почему она преследовала его весь день, туманно возникая в сознании. Странно. Как будто кто-то идет за тобой по другую сторону стены. И никак не мог вспомнить, что это было. Чудно. И потом оказалось, что это было не что-нибудь особенное, а картинка с зеленой пшеницей и голубыми цветочками. Может быть, оттого, что мать была так счастлива, когда искала гвоздь? Она смеялась, когда вешала картину. Может быть, поэтому. Он не знал, почему она смеялась. И она сказала, что он тоже видел настоящую пшеницу давно, в Европе. Но, сказала она, он не может этого помнить. А, может, он пытался вспомнить настоящие цветы, вместо тех, что на картине. Но как? Если... Нет. Чудно. Все путается, путается...

Отец вдруг потянулся, и ботинки и ножки стула резко закрипели по линолеуму. Сейчас его злость прорвется! Давид смотрел на отца в надежде, что напряжение ослабнет, но и опасаясь последствий.

— Вульгарная шлюха! — сказал он, — сука! Как могли вы обе родиться от одной матери? Она со своим грязным ртом, со своими ванными, со своими манерами. Миллион ванн не очистят ее. Она — и ванны! Я долго сдерживался. Но я еще вышвырну ее из дома. Кто просил ее приезжать сюда?

Мать повесила тряпку и не спеша отвернулась, как бы не желая брать на себя труд успокаивать его и не ставя преград на пути его гнева.

— Тычет мне в спину насчет моих заработков. Хвалится своим счастьем и дворцами, в которых будет жить. Делает из меня дурака перед посторонним. Как будто я бездельничаю, как будто не потею за свой хлеб так же честно и много, как другие. Но я отплачу ей, не бойся! Я никому не позволю так ко мне относиться. Сейчас возьму и выброшу все ее вещи в коридор!

— Она скоро сама уйдет, Альберт. Потерпи еще немного.

— Терпеть эту осу!

— Понимаешь, она боится. Она думала, что ты повредишь ее шансам на замужество.

— Я? Я бы скорее повредил ее саму. И ее этот грязный, шлепающий язык. Даже когда она им не двигает, у меня кожа зудится. Словно она бросает на меня паразитов. Врежу ее шансам! Я хочу избавиться от нее!

— Она тоже не хочет здесь задерживаться больше, чем необходимо.

— Да, пусть лучше не задерживается. А он! Он безобидный. Я склонен был пожалеть его. Бедный идиот, он не знает, что получит. Она, наверное, еще не показала ему свое настоящее нутро. Но теперь я презираю его. Слабак! После того, что он видел и слышал, хотеть жениться на ней, на этом мерзком рте! Отдать своих детей в эти руки. Он не заслуживает ничего, кроме презрения.

— Пусть он сам об этом заботится. Он достаточно взрослый и видел и пережил достаточно, чтобы знать, чего он хочет. Может быть, он научится справляться с нею, как знать.

— Справиться с нею! Только кнутом! Пусть лучше начнет копать себе могилу. Но это меня не касается, — он дико затряс головой, как бы злясь на себя за эти мысли о теткинском будущем, — пусть выходит замуж, за кого хочет, и пусть кто хочет женится на ней. Пусть слушает басни этого дурака о слепоте и уксусе всю

свою жизнь. Но если она думает, что может сладить со мной, потому что у нее есть мужчина, пусть будет поосторожней. Она шутит со смертью!

— Ты просто не думай о ней, Альберт. Пожалуйста! Пусть идет себе своей дорогой. Тебе она мешать не будет. Я знаю. Она не будет его приводить сюда больше, чем нужно. Они уже говорят о кольцах.

— Пока она здесь, пусть придержит свой язык, а то я ее выставлю, — он втянул воздух ноздрями и мрачно уставился на противоположную стену. Его взгляд упал на картину:

— В какой куче ты это нашла?

— Это? У разносчика на Авеню С. Я подумала, что это не более, как десятицентовая трата, и я купила ее. Тебе не нравится?

Он пожал плечами.

— Может и понравилась бы, если б ты ее купила по другому поводу. Но сегодня... Но почему ты купила картину с пшеницей?

— Зелень, — сказала она мягко, — австрийская земля. А что бы ты выбрал?

— Что-нибудь живое, — он потянулся за газетой, — стадо на водопое, я видел в магазинах. Или призовой бык с блестящими боками и с черным огнем в глазах.

— Это не трудно. Я уверена, что смогу что-нибудь для тебя найти.

— Я уж лучше сам поищу, — сказал он. И, раскрыв газету, склонился над ней. — Я, наверное, лучше в этом разбираюсь.

Она смиренно повела бровями и взглянула на Давида с легкой, красноречивой улыбкой, как бы деля с ним радость, что отец успокоился и опасность миновала. Потом она вернулась к посуде.

В воскресенье — это был ясный воскресный день перед самыми выборами — отец встал из-за стола после завтрака и отбыл из дому, пробормотав что-то насчет предвыборного собрания. Тетка ворчала по поводу его внезапного интереса к политическим кандидатам и с желчью в голосе назвала истинную причину его ухода: Натан (как они теперь звали Стерновича) должен был навестить ее, и отец ушел, чтобы избежать встречи. Этот поступок, — добавила она язвительно, — очень великодушен, хотя отец не желал того, и она весьма благодарна ему, поскольку она не видит причин навязывать бедному Стерновичу его угрюмое присутствие. Таким образом, заключила она, ликуя, отец, стремясь оскорбить ее, оказал ей услугу. Но теперь, когда он это сделал, она от всей души желала, чтобы он, куда б он там ни пошел, сломал себе ногу. На возмущенный возглас матери тетка снисходительно возразила, что, если б он не был единственной опорой семьи, она бы молилась, чтоб он сломал себе обе ноги. Вот! И она пустилась в свои обычные расспросы, почему мать вышла замуж за такого малахольного.

— Он когда-нибудь услышит тебя, сестра, и тебе это дорого обойдется, — предупредила мать.

— Могу даже головой платить, — ответила тетка вызывающе, — пусть знает, что я о нем думаю.

— Он знает. Думаешь, у него мало было времени, чтоб выяснить это? И сказать по чести, я так устала разнимать вас! Пусть уж Альберт поступает так, как ему вздумается, но ты — ты могла бы иногда подумать и обо мне. Пусть в доме будет мир. Ты выходишь замуж и долго здесь не удержишься. Зачем же эти последние дни превращать в ад?

— Только не для меня! — тетка гордо вскинула свою рыжую голову, — он больше не ударит меня о стену! Я выцарапаю ему глаза!

Мать пожала плечами:

— Зачем искушать его?

— Ах, я прямо заболею от твоей мягкости. Насыплю ему яду в кофе, вот я что сделаю.

Тревожный взгляд матери упал на Давида, смотревшего на тетку со страхом и восторгом. Тетка тоже заметила взгляд Давида и добавила громогласно:

— И сделаю! Пусть слышит меня! Я не боюсь!

— Но, Берта, я боюсь! Ты не должна говорить такие вещи при... ах! — она запнулась. — Хватит, Берта, — и, повернувшись к Давиду: — Ты пойдешь гулять, мой хороший?

— Сейчас, мама, — ответил он. Но слишком уж он был восхищен теткой смелостью, чтобы сразу же уйти.

Тетка произнесла несколько фраз по-польски. К удивлению Давида, эти непонятные слова задели мать. Она вскинулась и непривычно резко крикнула:

— Это ерунда, Берта!

— А! Теперь ты сердишься? — Прядки рыжих волос соскользнули на теткин сморщенный нос.

— Да! Я прошу прекратить!

— Боже праведный! Гляньте-ка! Она умеет сердиться! Но, послушай, ведь и я имею право на это. Я живу с тобой шесть месяцев. Шесть месяцев я тебе рассказываю все, а что ты рассказала мне? Ничего! Я уже не ребенок! Я выхожу замуж. Мне уже не четырнадцать лет, как было тогда. Ты не доверяешь мне? Что, я не смогу понять? А-аа-ах! — она сокрушенно вздохнула, — если бы двойняшки не умерли, они бы к тому времени были уже достаточно взрослыми, чтобы все видеть и знать. Тогда бы я тоже знала, да?

— Я не хочу об этом говорить. Это было слишком давно. Это слишком больно. И мне некогда.

— Ба-а! — тетка упала на стул, — теперь у тебя нет времени. Я так и думала. Сначала... — она вдруг перешла на польский, — ну хорошо. Тебя можно было простить. Потом... — опять непонятные слова, — потом... так я и знала. Ну и храни это при себе! Я выйду замуж, так и не узнав, — она замолчала, мрачно глядя в окно.

Мать тоже молчала и смотрела в другое окно на темные крыши и кирпичные трубы.

— В чем дело! — удивлялся Давид. — Что значили эти польские слова, которые так разозлили мать? Он догадывался, что они были связаны с туманными намеками, которые он слышал раньше и которые так волновали и пугали его. Может быть, ему лучше не знать, что они значат. А то опять все изменится в его жизни. Может быть, лучше уйти, пока они молчат.

— Посмотри, Давид! — не вставая со стула, тетка вытянула шею, чтобы видеть улицу, — иди сюда, посмотри, что за ящик они тащат.

Давид приблизился к окну и выглянул. По темной улице, внизу, толпа мальчиков разного возраста, бранясь и колотя друг друга, волокла большой ящик вдоль канавы.

— Чего это они визжат? — спросила тетка. — Что это за дрова? Чьи они?

— Ничьи, — успокоил он ее. — Это — "выборные дрова".

— Что значит "выборные дрова"?

— Они сожгут их в день выборов. Они всегда разводят большой-большой костер в этот день.

Мать повернулась от своего окна:

— Я видела это в Браунсвилле, на пустырях. Такой здесь обычай. Жечь костры в день, когда выборы. Это будет во вторник. У Натана есть гражданство, Берта?

— Конечно! — тетка никак не могла успокоиться. — Вот еще!

Увидев выражение безысходности на лице матери, Давид опять решил идти.

— А почему они тащат это сейчас? — тетка повернулась к нему недовольно. — Они что, хотят заранее все сжечь?

— Нет. Они это спрячут. А то вчера пришел большой дядя с телегой и все забрал.

— А вот и еще волочат! Американские идиоты! Для уличного костра они надрывают кишки. А когда надо

принести дров матери, они становятся калеками. А ты! Ты тоже таскаешь дрова?

— Нет, — соврал он.

Тетка вздохнула и посмотрела на часы.

— Мой носатик придет только через полтора часа. Мне так одиноко.

— Послушай, Берта, — сказала мать глухим голосом, и точно она решилась на какой-то шаг, хотя не считала его необходимым. — Ты действительно хочешь узнать?

У Давида подпрыгнуло сердце. Лучше уйти. Но вместо этого он встал на колени и рассеянно пополз в направлении плиты.

Тетка подпрыгнула на стуле, будто ее укололи булавкой:

— Хочу ли я знать? — взорвалась она. — Вопрос! После стольких просьб! Хочу ли я знать! Ха! — она внезапно замолчала. Ее лицо из любопытного вдруг сделалось виноватым.

— Нет, нет, сестра. Если тебе трудно, ничего не говори. Даже не начинай. Мне стыдно, что я так извожу тебя.

— Тут нечего стыдиться, — в улыбке матери были горечь и прощение, — иногда нужно говорить о таких вещах. Не знаю, что на меня нашло, что я так долго храню это в тайне от тебя.

— Я тебе тысячу раз говорила, — поощряла сестру тетка, сдерживая любопытство, — это было так давно. Теперь это должно быть пустяком для тебя. И, что бы это ни было, разве это оттолкнет меня? Я знаю, сестра, какое доброе у тебя сердце. Ты не могла сделать ничего плохого.

— Это было достаточно плохо. Достаточно на всю жизнь.

— Да? — тетка почесалась спиной о спинку стула. — Да? — она уселась поудобнее.

— Только трое знают об этом, — начала мать с усилием, — мама, папа, я, конечно, и... и он. Я бы не хотела...

— О! Нет! Нет! Доверься мне, Геня.

— Ты помнишь, — начала она и вдруг запнулась, почувствовав на себе взгляд сына.

Легким кивком головы она как бы пригласила тетку переключиться на непонятную для Давида речь. И она заговорила на этом чужом, раздражающем языке.

Тетка наклонилась вперед, как бы для того, чтобы лучше поглощать то, что говорилось. Выражение ее лица мучало Давида, и он напряженно вслушивался в слова матери. Но это было бесполезно. Он сверлил мать глазами. Она покраснела. Ее горящие глаза потемнели, и речь была быстра. Но вот глаза сузились, и брови болезненно изогнулись. Боль. Что мучало ее? Вот она вздохнула и бессильно опустила руки, лицо ее стало скорбным и веки отяжелели. Что? Он ничего не понимал. Сдерживая слезы негодования, он лежал на спине и смотрел в потолок. Его это не касалось, вот и все. Он ей тоже ничего не скажет. Вот! Он уйдет гулять, вот что он сделает. Никогда не скажет ей ничего... Но... Внимание! Проскользнуло слово на идиш. Целая фраза! "Когда старый органист умер"... еще — "одна в лавке"... слово "красивый" ... "Коробку спичек"... Он повернулся украдкой, чтобы видеть ее.

— И он схватил меня за руку, — блеснуло целое предложение.

Тетка возмущенно взмахнула кулаками:

— Даже если он такой образованный, — возмущенно закричала она, — и даже если он органист, он — гой! Тебе нужно было заставить его собирать свои зубы на полу!

— Ша! — предупредила мать и опять скрылась в тумане польского языка. Давид немного устыдился и, все же, тайно радовался, что, наконец, было над чем поразмышлять. Гой, сказала тетка, и органист. Что такое органист? Он был образованный, это ясно. И что еще, что он делал? Можно узнать, если слушать дальше. Значит, он был гой. Христианин. Они говорят "Иисус Христос", "Иисус Кротцмих", говорит хозяин кондитерской и всегда смеется. "Исус Чеши меня". Смешно.

Но почему тетка сказала, что его надо было ударить? Потому что он — гой? Она не любит гоев. А мама? Любит. Чудно. Кто же он был?

Он следил за лицом матери. Когда же еще что-нибудь понятное вырвется из этой темной чаши? Он нетерпеливо ждал.

— Ух! — презрительно вскричала тетка. — У этих жуликов языки, как на шарнирах!

— И моя в том вина! — запротестовала мать, переходя, забывшись, на идиш. — К маю я стала такая. Целые дни я ждала этого получаса в сумерках. Мне хотелось, чтобы была зима, когда луна светит уже к пяти часам. Задолго до заката я уже была в лавке и еле сдерживалась, чтобы не поторопить отца в синагогу.

— О, ты сошла с ума.

— Но это было только начало. Ты не знаешь, какая я была сумасшедшая... — в ее голосе трепетала такая страсть, какой Давид никогда еще не слышал, и каждый звук проникал в его плоть, заставляя тело дрожать в непонятном возбуждении.

— День стал для меня хуже тьмы. Я радовалась свету только тогда, когда умирал какой-нибудь поляк. Ты помнишь, какие у них были процессии, с ксендзом и со знаменами? Людвиг пел там. Тогда я могла смотреть на него открыто, без опаски. Любовь...

С такой же внезапностью, как и раньше, смысл вновь уплыл за горизонт непонятности, оставив Давида на звучащем, но пустынном берегу. Фразы и слова смутно мелькали то там, то здесь, как дальние паруса, волновали его, но никак не приближались.

Ему казалось, что он лишится ума, если не внесет порядка в свои мысли. Каждая фраза, которую он слышал, каждое восклицание, каждое слово только увеличивали его напряжение. Непонимание стало почти невыносимым. Ему казалось, что все, о чем он знал прежде, было не так важно, как понять то, о чем говорила мать. Кто такой Людвиг? Это он был гоем? Что было на похоронах?

И не стало радости... и мать ходила удрученная... но

слишком счастлива, чтобы замечать... все это... я искала его... нигде... и я вспомнила... Один взгляд утешил бы меня... Лестница на чердак... На цыпочках по тонким доскам... Плетеная корзина... "Осторожно", — она выставила руки, словно поднимая тяжелую крышку. "Ты знаешь, как она скрипит..."

Она вдруг вздрогнула и прикрыла рот руками. Ее лицо исказил ужас, точно в этот момент она увидела что-то страшное, а не рассказывала о давних событиях. Давид вздрогнул.

— Свет померк у меня в глазах! Боже мой! Портрет лежал на самом верху, на куче старых пальто. Лежал и смотрел на меня!

— Они узнали! — воскликнула тетка.

— Они узнали, — повторила мать.

— Но как?

— Я поняла потом. Я забыла, что мать пересыпала корзины камфорой каждое лето.

— Когда тебя не было?

— Нет, раньше. Они отослали меня, потому что они знали.

— Ах!

— Мое отчаяние! Мой позор! Нельзя понять, что это такое, пока не испытаешь сама. У меня не было слов. Я думала, что упаду в обморок. Я подняла портрет. Они прочли надпись, без сомнения. Они знали все...

И опять глаза матери встретились с глазами сына, и опять она резко переменила язык. Давид встал на ноги. Он больше не мог выносить этой неизвестности, этого ожидания смысла. Он пойдет гулять, вот что он сделает. Он не будет слушать больше ни секунды. И если наступит время, когда он будет знать что-нибудь такое, чего не знают они, он оплатит им той же монетой. Он тоже научится говорить "вселичей-выличей", как девчонки на улице. Посмотрите-ка на них! Они даже не замечают его, так они увлечены. Даже когда он встал, они не обратили на это никакого внимания. Они даже не заметят, когда он пойдет за своим пальто. Они даже не заметят, когда он уйдет. Ну и ладно! Тогда он не

скажет им "до свиданья", вот что! Он просто уйдет, не сказав ни слова.

Он раздраженно ушел в другую комнату и взял пальто. Но когда он стал его надевать, негодование натолкнуло его ум на хитрость. Он посидит здесь и подождет. Он даст им последний шанс. Если они не будут знать, где он, может, они опять заговорят на идиш. С открытой дверью он мог слышать все так же ясно, как в кухне. Он украдкой пристроился на полу у двери и стал прислушиваться. Но хоть он и ушел из поля зрения матери, она, казалось, не замечала этого. Но смысл ее речи все еще всплывал из обрывков.

— Строила ему глазки... Шнурки, ленточки... Я бы сказала, в возрасте... Потом... Он пошел за ней... Ждала среди деревьев...

Дрожа от раздражения и отчаяния, он решил отказаться от борьбы. Не было смысла ждать и прятаться. Он ничего не услышит. Но когда он поднимался, нетерпеливый голос тетки прервал речь матери.

— Кто была эта женщина? Говори. Ты знаешь? Мне интересно.

— Она? Я как раз к этому подхожу. — Мать, наконец, говорила на идиш, и он понимал каждое слово. — Когда я сказала ему, что произошло, что они все знают и что я готова идти за ним на край света, от ответил: "Что за безумие! Как я могу на тебе жениться? С чем мы уйдем? Куда?" Он был прав. Конечно, он был прав!

— Может быть, он и был прав, — неистово выплнула тетка, — но чтоб его холера взяла!

Давид, обрадованный, сел. Они забыли о нем. Забыли! Он прижался к стене и молился, чтобы мать продолжала говорить на идиш. И она говорила.

— "Куда хочешь", — я сказала. Мне стыдно говорить тебе, Берта, но это правда. Я сказала, что пойду за ним в чем была.

— Ну и дура ты была!

— Да. Он сказал то же самое. "Любовная связь — это одно дело, а женитьба — другое. Разве это не понятно?" Я не понимала. "Я уже обречен", — он сказал.

— Она! — воскликнула тетка. — Та женщина, о которой ты говорила?

— Да.

— И ты не плюнула ему в лицо?

— Нет. Я стояла, как скованная морозом. "Ты любишь ее?" — я спросила. "Ба! — сказал он, — разве я могу? Ты же видела ее. Она богатая. У нее есть приданое. Ее отец дорожный инженер, лучший в Австрии. Он обеспечит остальное. А я беден, как темнота. Все, на что я мог бы надеяться, — это быть нищим органистом в деревенской церкви. И я отказываюсь. Ты понимаешь? Ты бы сама не желала мне такой участи. Но слушай, — сказал он и попытался обнять меня, — мы можем продолжать. Через некоторое время после этой проклятой женитьбы мы можем опять быть вместе. Быть тем же самым друг для друга. Никто не должен знать!" Я оттолкнула его. "Все это так много значит для тебя? — спросил он, — из-за того, что я должен жениться, ты вырвешь из своего сердца любовь ко мне?"

— Не знаю почему, не могу объяснить, но вдруг мне захотелось смеяться. Как будто все смеялось во мне. Увидев мою безумную улыбку, он, должно быть, подумал, что я соглашаюсь. Он схватил мою руку и сказал: "Посмотри на меня, Геня! Прости меня! Посмотри, какой я бедный. У меня даже нет приличной одежды для свадьбы. Геня, я отплачу тебе, достань мне костюм, если ты любишь меня. В лавке твоего отца. Еще немного, и мы всегда будем вместе!"

— Как назвать это словами, этот глоток смерти! Мне казалось, что небеса и воздух наполнились смехом, но странным, черным смехом. Прости мне Господь! И я услышала слова. Станные слова о розах. Я бежала. Я бежала с цветами! Как дитя. "Прощай, прощай!" — Сумасшествие, говорю тебе, Берта, настоящее сумасшествие.

Он оставил меня там. Наконец, я пришла домой. Мать ждала меня на пороге.

-- Отец хочет видеть тебя в лавке. — сказала она.

— Я знала, зачем, и я, ни слова не говоря, пошла к

лавке. Она шла за мной. Мы вошли вместе, и она закрыла дверь. Никого из вас не было там. Это хранилось в тайне от вас. Отец стоял перед прилавком. — "Ну, моя кроткая Геня, — сказал он, — ты знаешь, как горько он мог говорить, — желчь — приятный напиток? Какой у нее вкус? После нее чмокают губами?" Я не отвечала. Я могла только плакать. "Плачь! Вот так! — он как будто сошел с ума. — Плачь! Ах! — он погладил свой живот, словно съел что-то вкусное. — Ах! Так моему сердцу легче!" "Не мучь меня, отец, — сказала я, — я и так настрадалась". "Ха, — сказал он, — ты страдаешь? Несчастное, жалкое малое дитя!" Я молчала. Пусть говорит, что хочет. "Ты называешь это страданием, — кричал он, — почему? Потому что он держал тебя, как подстилку, и теперь бросает тебя?" — Так он говорил!

Она замолчала с тяжелым вздохом.

— Я знаю, — сказала тетка, — чтоб у него тоже отвалился язык.

— Так он говорил. Его слова впивались в мою грудь, как винты. Я не могла выдержать такой пытки. Я пробовала пробежать мимо него к двери, но он поймал меня и ударил по щеке.

Она говорила, пересиливая себя, низким, глухим голосом.

— А потом вдруг все утратило всякий смысл. Мне стало как-то все безразлично. Не могу сказать отчего, но боль прошла. Я почувствовала себя мельче мельчайших созданий, ползающих по земле. О, ничтожная, пустая! Его слова падали в пустоту.

"И куда ты теперь пойдешь? — кричал он. — У него другая. А тебя он оттолкнул, да? У него другая, богатая. Ты — лживая сука!" А мать кричала: "Тебя услышат на улице, Беньямин, тебя услышат!" И он отвечал: "Пусть слышат, я не могу не рыдать, когда огонь сжигает мое сердце". Потом он сорвал свою черную ермолку и швырнул мне в лицо. Он топал ногами, как ребенок в истерике. Ах! Это было ужасно. Наконец, мама заплакала: "Прошу тебя, Беньямин, ты пере-

оцениваешь свои силы. У тебя будет удар. Хватит! Остановись, ради Бога!” И он остановился. Он упал вдруг на стул, закрыл лицо руками и начал раскачиваться вперед и назад. ”Увы! Увы! — стонал он, — где-то, как-то я согрешил. Где-то, как-то я обидел Его. Его! Вот Он и посылает мне такие муки!” Ты же знаешь отца!

— Я знаю его! — сказала тетка многозначительно.

— ”Видишь, что ты натворила, дочь моя, — сказала мама, — у тебя железное сердце? У тебя нет жалости к еврейскому сердцу? Ты не жалеешь отца?” Я плакала, что еще я могла делать? ”Она не только себя погубила, — причитал отец. — Пусть она существует, пусть умрет! Но меня! Меня! И моих бедных юных дочерей, и тех, что еще родятся. Кто возьмет их? Кто возьмет их, если об этом узнают?” — И он был прав. Все вы навсегда могли остаться у него на руках. И он желал себе смерти. — ”Ша, — сказала мама, — никто ничего не скажет, никто не узнает”. — ”Узнают! Узнают, я говорю! Такую грязь не спрячешь. И кто знает, кто знает, завтра другой гой придется ей по душе. Она уже связалась с гоями. Что теперь остановит ее!” — И он опять начал кричать.

— А ты еще его защищала, — упрекнула тетка.

— Я тоже была не совсем безгрешна.

— Продолжай.

— ”Если ты выгонишь ее, все узнают. Это будет проклятием для всех твоих дочерей”. — ”Я? Я навлеку на них проклятье? Она! Бесстыжая!” — И он плюнул в меня. — ”Но ты должен простить ее”, — умоляла мама. — ”Никогда! Никогда! Она нечистая!” Потом мама подвела меня к нему и достала из кармана фото Людвига, которое было в корзине. Она вложила его мне в руку и сказала: ”Подними глаза, Беньямин, смотри, она рвет это на клочки. Она никогда больше не согрешит. Только посмотри на нее”. Он поднял глаза, и я порвала фото — раз, и еще раз и кинулась ему в ноги.

— И он тебя простил?

— О, да! Он сказал: ”Пусть Бог простит тебя. Если

ты когда-нибудь выйдешь за еврея, это будет Его знак". Как видишь, я вышла за еврея. Через несколько месяцев я встретила Альберта.

— Ага, — сказала тетка, — вот как все это получилось. — А эта свинья. — он подходил к тебе потом?

— Нет. Я, конечно, часто видела его издалека. А один раз близко. За несколько дней до их отъезда в Вену. Они там поженились.

— Ради этого ехать в Вену? Ого. А деревенская церковь, чтоб она сгорела, не подходила этому новому аристократу?

— Нет, я думаю, что причина была не в этом. У ее брата было в Вене какое-то доходное дело. Так говорили слуги, которые приходили в нашу лавку.

— Он говорил с тобой?

— Когда?

— Ты говоришь, что видела его близко.

— О, нет, мы не говорили. Он меня не видел. Однажды я стояла на дороге и увидела коляску. У нее было два желтых колеса. На таких богатые ездили в ту пору. Даже до того, как стало видно, кто правит, я знала, что это был брат его невесты. Он часто ездил на ней туда, где строили новую дорогу. Я спряталась в пшеничном поле. Но на этот раз то был не ее брат, а сам Людвиг, и она рядом с ним. Они промчались. Я чувствовала себя пустой, как колокол, пока я не увидела васильки под ногами. Они подбодрили меня. Тогда я видела его в последний раз.

... "Васильки"... Теперь Давид понял. Как те, на картине. И пшеница. Нужно посмотреть на них потом.

— Ну вот, я рассказала тебе, — сказала мать, — и теперь я не знаю, рада ли я, что сделала это, или нет...

— Ну, ну, — проворчала тетка, — я обещала тебе, что никому об этом не скажу. Да и кому здесь говорить? Девушкам на фабрике? Ну, может быть, Натану. Но он будет молчать. Чего ты так боишься? Что Альберт будет ревновать, если узнает?

— Не знаю. Я никогда не испытывала его. К тому же непохоже, чтобы он хотел знать об этом, поэтому я

немного боюсь твоей резкости. Ну, ладно! — сказала вдруг она, — давай говорить о живом.

— Да! — с готовностью согласилась тетка, — скоро мой Натанчик придет. Много пудры осыпалось с моего носа?

Мать засмеялась:

— Нет! На это понадобится много времени.

— Когда я потею, пудра стекает с носа. Поэтому нужно, чтобы на носу ее было больше. Знаешь, Натану очень нравится, как ты печешь.

— О, рада слышать.

— Жалко, что у нас нет шнапса.

— Шнапс? Зачем шнапс? Он пьет чай.

— Да, — засмеялась тетка, — и, слава Богу, он мягкий человек и еврей. У меня никогда не будет таких трагедий. Но кто может знать.

Давид вздрогнул. Они задвигались по кухне, а он все еще сидел у двери. Они увидят его. Они не должны знать, что он все слышал. Он бесшумно поднялся на ноги и прокрался к окну. Нужно притвориться, что он все время смотрел на улицу и ничего не слышал. Теперь он все знал. Ну и что? Что изменилось? Нечего было бояться. Ей кто-то нравился. Гой. Органист. А ее отцу он не нравился. И его отцу, наверно, тоже. Она не хочет, чтобы он знал. Ха-ха! Он знает больше, чем его отец. И она вышла за еврея.

Но как же оправдать свое присутствие в этой комнате? Он выглянул в окно. На улице было холодно. Прохожие торопливо шли, держа руки в карманах и пригибаясь навстречу ветру. Прошел негр. Можно спросить, почему у него изо рта идет белый пар, когда он черный. Нет! Они будут смеяться. Но о чем-то надо спросить, а не то — они догадаются.

Два маленьких мальчика перешли улицу и присели над тротуаром. Один из них держал в руках коричневый предмет, в котором Давид с трудом узнал лишенную головы целлулоидную куклу. Если такую куклу положить, она сама встает. Что они собираются делать? Они выглядят такими увлеченными. Давид

прищурился, чтобы лучше видеть. Он чувствовал, что это могло быть ему оправданием, что это могло бы объяснить, почему он все время был в комнате. Только бы они поторопились. Один из них, очевидно — владелец, вынул что-то из кармана и чиркнул об асфальт. Спичка. Он прикоснулся спичкой к кукле, и та вспыхнула желтым пламенем. Они отскочили. И потом один показал пальцем на то место, где лежала кукла, а теперь ничего не осталось, кроме пепла. Другой наклонился и что-то подобрал. Что-то блеснуло. Ага! Кусочек металла.

Давид услышал, как мать произнесла его имя. Он обернулся.

— Я как-то забыла о нем, — сказала она спокойно, — он пошел гулять, Берта?

— Странно, — ответила тетка, — кажется, я видела как он пошел в... А, может, он и внизу.

— И не попрощался? — Мать появилась на пороге. — О! — она внимательно на него посмотрела. — Ты еще здесь? А я думала... Почему ты сидишь в этой холодной комнате?

— На улице, — ответил он, важно показывая на окно. — Иди сюда, мама, я покажу тебе трюк.

— О, он здесь. — Тетка появилась тоже. — Он сидел что-то слишком тихо, даже для него.

— Он хочет показать мне "дрюк", — засмеялась мать.

— Дрюк? — улыбнулась тетка, — где? В штанах?

— Видите, внизу, — продолжал он серьезно, — тот мальчик. Он сжег куклу, и теперь у него есть кусочек железа. Видите? У него в руках. Посмотрите.

— Ты понимаешь, о чем болтает этот простофиля? — спросила тетка.

— Еще нет, — улыбаясь, мать смотрела на двух мальчиков внизу, — ага, вижу железку. Ну, пошли в кухню. Ты здесь простудишься. Ты знаешь, Берта, становится холодно.

Давид последовал за ними в кухню. ... "Легко, — удовлетворенно думал он, — легко обмануть их. Но они не обманули его. И не напугали... Картина! Но не сейчас. Посмотрю позднее, когда никого не будет... Она зеленая и голубая..."

КНИГА III

УГОЛЬ

1

В конце февраля, спустя несколько недель после того, как тетка вышла замуж, отец однажды пришел с работы несколько позже обычного. Давид был уже дома. Еще с утра было непривычно холодно для этого времени года, и конец дня был серым и сырым. Отец как всегда порывисто швырнул свою мокрую шапку в раковину и начал стаскивать пропитанный водой плащ. Потом шли куртка и серый свитер. Наблюдая за отцом, Давид вспомнил о чувстве дремотного одиночества, преследовавшем его, когда раннее вставание отца будило его среди ночи, об остром холоде и томительной мгле. Пыхтя, отец расшнуровал свои тяжелые башмаки и бросил их под стул. От них остался влажный след на линолеуме.

— Ты немного позже сегодня, — отважилась заметить мать.

— Да, — он устало опустил на стул, — эта кляча упала на дороге.

— Бедное животное! Она поранилась?

— Нет. Но я должен был распрячь ее, принести песку и потом снова запрягать. Собралась толпа этих идиотов. Это заняло время. Я прокляну завтрашний рассвет, если опять подморозит. — Он потянулся, и мышцы на его скулах заходили. — Им все равно пора дать мне лошадь получше.

После года работы единственно, чем отец постоянно был недоволен, так это лошадьё. И Давид, который почти каждый день видел это серое, костлявое животное, должен был признать, что жалобы отца имели основание. Ее звали Тилли, и у нее был один глаз цвета опаленного целлулоида или капли нефти на луже в пасмурный день. Она стояла терпеливо, даже когда дети выдергивали волоски из ее хвоста, чтобы плести себе кольца. Но она не выглядела слабее большинства лошадей, проезжавших по Девятой улице. И Давид заключил, что это просто одна из причуд отца — править лошадьёю такой же сильной, как он сам. Хотя Давид бесконечно жалел Тилли, он все же надеялся, что ради отца молочная компания скоро заменит ее на что-нибудь более подходящее.

— Достань старое одеяло, — сказал отец, — если завтра подморозит, я оберну им колени. Этот холод пробирает до мозга костей.

Давиду была любопытна разница между грубой краткостью отца, когда он был печатником, и его резкостью теперь, когда он развозит молоко. Его новая резкость была бесконечно менее опасна для окружающих.

— Каша готова, — сказала мать. — И потом чай?

Отец вздохнул, завел руки за спинку стула и наблюдал, как мать накладывает кашу в миску.

— Дай джем.

— Вот он, — мать поставила на стол банку домашнего клубничного джема.

— Вот это я ел, — он густо покрывал кашу красной массой, — когда был ребенком.

Давид ждал, что отец это скажет. Он всегда так говорил, когда ел кашу, и это был один из немногих фактов его детства, ставших известными.

Отец посмотрел на Давида. — Я подумал, если что-нибудь случится со мной... Для меня было бы утешением знать, что что бы из него ни вышло — и только Бог знает, что из него может выйти, — но он хоть не будет полным язычником из-за того, что я запустил это дело.

— Что ты имеешь в виду?

— А то, что я сам очень мало еврей. Но я хочу быть уверен, что он тоже хоть немного будет евреем. Я хочу подыскать для него хедер, где ребе* был бы не чересчур набожным. Я давно бы сделал это, если б твоя рыжая сестра не считала своим долгом давать мне советы.

Давид помнил этот случай. Тогда отец велел тетке не лезть не в свое дело. Мать с сомнением покачала головой.

— Хедер? Он мог бы начать немного позже. Дети в Америке не идут так рано в хедер.

— Да? Не уверен. Все равно, будет при деле и перестанет торчать все время дома. И ему не мешает узнать, что это значит — быть евреем.

— Он не так уж много теперь сидит дома, — мать улыбнулась Давиду, — Он совсем забросил меня. А насчет того, чтобы узнать, каково быть евреем, так я думаю, что он уже понял, как это тяжело.

Отец коротко кивнул в знак того, что решение принято.

— Ты поищи строгого ребе. Его надо обуздать немного, раз я этого не делаю. Может быть, это его спасет. Восьмилетний олух, а ничего кроме баловства не знает.

Давиду было только семь. Но эта манера отца прибавлять ему годы, чтобы подчеркнуть его виновность, была давно известна. Он даже перестал этому удивляться.

— Ну, где же чай? — завершил отец разговор.

2

Маленький, чисто выбеленный домик хедера с оза-ренной закатом стеной стоял перед ними. Он был одноэтажным, и его окна почти упирались в землю. Окружающие его высокие дома, казалось, в презрении выпячивали свои пожарные лестницы. Дым вился из

* Ребе (идиш) — учитель иврита и Священного писания.

маленькой черной трубы посередине крыши, а выше мириады веревок для сушки белья сложно переплетались, ловя небо в темную сеть. Большая часть веревок была голой, но некоторые провисли под белым и цветным бельем, капли с которого барабанили по крыше хедера.

— Я надеюсь, — сказала мать, — что ты проявишь большие способности к древнему языку, чем я. Когда я ходила в хедер, ребе клялся, что у меня телячьи мозги. — И она засмеялась. — А я думаю, причина была в том, что мне некуда было деться от запаха из его рта. Дай Бог, чтобы этот не был таким любителем лука!

Они пересекли короткое пространство двора, и мать открыла дверь. Волна дремотного воздуха окутала их. Казалось, внутри было темно. Гул голосов прервался.

Ребе, человек в ермолке, сидевший у окна рядом с одним из учеников, увидел их и поднялся.

— Здравствуйте, — затрусил он к ним. — Я — реб Идл Панковер. Вы хотите... — он провел большими волосатыми пальцами по лоснящейся спутанной бороде.

Мать представилась и объяснила причину визита.

— И это он?

— Да. Мой единственный.

— Всего одна такая звездочка? — он чмокнул и ущипнул Давида за щеку пропахшими табаком пальцами. Давид застеснялся.

Пока мать и ребе обсуждали часы, цену и содержание его учебы, Давид разглядел своего будущего учителя повнимательнее. Он был не похож на школьных учителей, но Давид уже видел других ребе раньше и знал, что он и не должен быть похож. Он казался старым и очень неопрятным. Он носил мягкие кожаные ботинки, похожие на домашние тапочки, на которых не было ни шнурков, ни пуговиц. На нем были мешковатые брюки в пятнах. Полосатая мятая рубашка торчала наружу между поясом и жилетом. Галстук, узел которого съехал к одному уху, свисал из-под грязного воротника. Его крупное лицо блестело от жира. Пол-

ный тревог по поводу своих будущих отношений с ребе, Давид все же понимал, что должен подчиниться судьбе. Ведь это отец решил, что ему пора идти в хедер.

Потом Давид осмотрел комнату. Голые, выкрашенные в коричневую краску стены с волнистыми трещинами. У одной стены стоит пузатая печка, схожая с ребе, но отличающаяся тем, что она раскалена до темно-красного цвета, тогда как одежда ребе — черная. У другой стены длинная линия скамеек завершается столом самого ребе. На скамейках сидят мальчики разного возраста. Они болтают, спорят и дерутся. На скамейке перед столом ребе сидят несколько ребят, очевидно, ждущих своей очереди читать вслух по книге, лежащей на столе.

То, что было лишь гулом голосов, когда они вошли, теперь превратилось в рев. Казалось, одна половина мальчиков вступила с другой в какой-то яростный спор. Ребе, извинившись перед матерью, повернулся к ним и с громовым ударом кулака по двери рявкнул свирепое "ша!.." Рев немного утих. Он обвел комнату зло сверкающими глазами и, смягчив их выражение улыбкой, вновь обратился к матери.

Они, наконец, договорились, и ребе записал имя и адрес своего нового ученика. Давид понял, что уроки будут где-то между тремя и шестью часами, что он должен приходить в хедер после трех и что плата за обучение — двадцать пять центов в неделю. Более того, первый урок состоится немедленно. Это было неприятным сюрпризом, и он запротестовал сначала, но когда мать начала уговаривать его, и ребе заверил, что первый урок не займет много времени, он сдался и печально принял мамин прощальный поцелуй.

— Садись там, — коротко сказал ребе, как только мать ушла, — и не забывай, — он поднес согнутый палец к губам, — в хедере нужно сидеть тихо.

Давид сел, а ребе вернулся к своему месту у окна. Но не сел, а достал из-под своего стула короткую плетку, громко стукнул рукоятью по столу и произнес грозно: "Тихо чтоб было!" И при испуганном молча-

нии, мгновенно сковавшем все рты, он сел. Потом взял со стола маленькую указку и ткнул ею в книгу. Мальчик, сидящий рядом с ним, начал читать на странном и непонятном языке.

Давид напряженно прислушивался к звучанию слов. Это был иврит, он знал, тот самый таинственный язык, на котором мать шептала молитву, зажигая свечи, на котором отец читал книгу по праздникам перед тем как пить вино. Не идиш. — иврит. Священный язык, как сказал ребе. Если знать его, можно говорить с Богом. Но кто Он? Теперь он узнает о Нем.

Мальчик, сидящий рядом с Давидом, скользнул по скамейке поближе к нему.

— Ты только начинаешь хедер?

— Да.

— Уух! — простонал тот, указывая на ребе глазами, — он плохой! Дерется!

Давид смотрел на ребе в ужасе. Он видел, как учителя били детей в школе за непослушание, хотя ему самому ни разу не доставалось. Страх, что его высекут этой ужасной плеткой, сковал его губы. Он даже не ответил другому мальчику, спросившему, есть ли у него спичечные коробки для коллекции.

Постепенно после прихода нескольких опоздавших языки опять развязались, и комната наполнилась гамом. Когда Давид увидел, как ребе несколько раз взмахнул плеткой, но так и не пустил ее в дело, его страх немного рассеялся. Однако он не осмеливался присоединиться к разговорам, а лишь настороженно наблюдал за учителем.

Мальчик, что читал первым, кончил, и его место занял следующий, по-видимому, не умевший продолжать в быстром темпе своего предшественника. Когда он ошибся первый раз, ребе поправил его, произнеся верный звук. Но ученик ошибался снова и снова, и в голосе ребе появились угрожающие нотки. Через некоторое время он уже дергал мальчика за руку при каждой ошибке, потом толкал его локтем в бок и, наконец, дал ему затрещину по уху.

Давид видел, как эта процедура повторялась полностью или частично почти с каждым читавшим. Было, конечно, несколько исключений, и они, как Давид заметил, делались в случае, если изо рта ученика вырывался непрерывный, как грохот барабана, поток звуков. Давид заметил также, что всякий раз, когда ребе собирался внести в чтение поправку, он бросал на стол свою маленькую указку, которой водил по страницам, и уж потом замахивался. Поэтому, даже когда он клал указку, чтобы почесаться, поправить ермолку или выудить окурок из пепельницы, ученик, сидящий перед ним, вздрагивал и вскидывал руки, отражая удар.

Свет в окнах угасал. В комнате было тепло. Застоявшийся воздух убаюкивал даже самых непоседливых. Давид в полудреме ждал своей очереди.

— Ага! — услышал он саркастическое восклицание ребе, — это ты, Гершеле, ученый из страны ученых!

Эти слова относились к парню, только что занявшему место за книгой. Давид уже раньше заметил этого толстяка с тупым лицом и открытым ртом. По тому, как он испуганно вжал голову в плечи, было ясно, что он был с ребе не в очень хороших отношениях.

— Сейчас он получит, — захихикал мальчик рядом с Давидом.

— Ну, может ты сегодня чем-нибудь блеснешь? — предложил ребе с вгоняющей в страх улыбкой. Он опустил указку на страницу.

Мальчик начал читать. Хотя он был большим, и уж во всяком случае не младше остальных, он читал медленнее и больше запинался. Было видно, как ребе сдерживался изо всех сил. Он гримасничал, поправляя ошибки, часто стонал, топал ногой и дергал себя за нижнюю губу. Все в комнате затихли и слушали. По напряженным, уже тонушим в темноте лицам, Давид почувствовал, что каждую минуту они ожидали взрыва. Мальчик продолжал мямлить. Насколько Давид мог судить, он делал все время одну и ту же ошибку, потому что ребе все время повторял один и тот же звук. Наконец, терпение учителя кончилось. Он швыр-

нул указку. Парень пригнул голову, но недостаточно проворно. Ладонь ребе так звякнула об его ухо, точно ударили в гонг.

— Ты, глиняная голова! — взревел ребе, — когда ты запомнишь, что бет — это бет, а не вав! Голова, полная грязи, где твои глаза? — Он погрозил толстяку кулаком и поднял со стола указку.

Но через несколько минут была сделана та же самая ошибка и последовала такая же "поправка".

— Чтоб сатана взял отца твоего отца! Помогут тебе удары или нет? Бет, свинья! Бет! Бет, помни, даже тогда, когда ты будешь умирать в судорогах!

Мальчик всхлипнул и стал читать дальше. Но через несколько слов он сделал паузу на страшной грани и, словно нарочно, вновь повторил свою ошибку. Это было последней каплей! Страшный рев вырвался из груди ребе. Он вцепился в щеки воющего ученика и затряс его голову из стороны в сторону, выкрикивая:

— Бет! Бет! Бет! Чтоб у тебя выкипели мозги! Бет! Создатель всего живого, десять тысяч хедеров в этой земле, а ты выбрал меня, чтобы пытаться! Бет! Последний из божьих идиотов! Бет!

Он с такой яростью лупил указкой по столу, что, казалось, вот-вот вгонит ее в дерево. Наконец, указка треснула.

— Сломал! — ликующе объявил кто-то.

Полный ужаса, Давид не понимал, как все это могло быть развлечением для остальных.

— Я не видел, — канючил толстяк, — я не видел. Уже темно.

— Чтоб у тебя в голове потемнело! — продолжал быстро выкрикивать взбешенный ребе, — чтоб у тебя почернело в глазах и пусть судьба твоя будет так черна, что маковое зернышко тебе покажется солнцем. Встать! Вон! А то я вылью на тебя всю горечь души моей!

Громко воя и размазывая слезы по щекам, парень стал слезать со скамейки.

— Оставайся здесь, пока я не разрешу тебе уйти, —

крикнул ему ребе, — вытри свой сопливый нос. Ну, что я говорю! Если бы ты мог читать так легко, как пишут твои глаза, ты бы и вправду стал ученым!

Мальчик сел, вытер глаза и нос рукавом и перешел на слабое нытье.

Посмотрев в окно, ребе выудил из кармана спички и зажег газовую горелку, торчащую из стены над его головой. Потом уселся, выдвинул ящик стола и вынул новую указку, как две капли воды похожую на сломанную. Давид подумал, что ребе, наверное, выстругивает сам большое количество указок, предвидя их судьбу.

— Подвинься, — приказал ребе толстяку. — Давид Шерл! Иди сюда, мое золотко.

Давид приблизился к нему, дрожа от страха.

— Садись, дитя, — он все еще тяжело дышал от возбуждения. — Не бойся.

Он вытащил из кармана пакет сигаретной бумаги и мешочек с табаком, аккуратно свернул цыгарку, сделал несколько затяжек, потушил ее и положил в пустую коробку. Сердце Давида прыгало от страха.

— Теперь, — ребе раскрыл книгу на последней странице, — покажи свою сообразительность.

Он указал новой указкой на большой иероглиф наверху.

— Это "камец", а это называется "алеф". Когда видишь камец и алеф, надо сказать "а".

Его дыхание, насыщенное душистым табачным духом, вилось вокруг лица Давида.

Слова матери о ее ребе вспыхнули в его сознании, но он оттолкнул их и сосредоточил свой взгляд на букве.

— Повторяй за мной, — продолжал ребе, — камец и алеф — а.

Давид повторил.

— Так! — скомандовал ребе, — еще раз: камец и алеф — а.

Они повторили несколько раз.

— А это, — ребе показал на следующую букву, — "бет". Скажи, капец и бет — ба.

То ли от страха, то ли благодаря способностям, Давид сделал эти первые шаги без единой ошибки. Наконец, ребе потрепал его по щеке в знак похвалы и сказал:

— Иди домой. Крепкая у тебя голова!

3

Прошло два месяца с того дня, как Давид начал ходить в хедер. Пришла весна, а с ней — настороженное спокойствие, удивительная пауза, точно он ждал какого-то знака, какой-то печати, что навсегда освободит его от стесненности и откроет для него хорошую жизнь. Иногда ему казалось, что он уже заметил этот знак. Похоже, посещение хедера было знаком. Он ходил в синагогу по субботам и научился легко произносить звуки священного языка. Но он еще не был уверен. Может, знак откроется вполне, когда он научится переводить с иврита. Во всяком случае, с тех пор, как он начал ходить в хедер, жизнь удивительно выравнилась, и он приписывал это своему приближению к Богу. Он больше не думал о работе своего отца. Больше не было прежнего кошмарного ожидания новых приливов гнева. Казалось даже, что они и вовсе прекратились. Мать тоже не тревожилась больше об отцовой работе. Она стала уверенней и спокойней. И секреты, которые он подслушал когда-то, растворились в нем и только изредка мерещились в дальних уголках сознания. Так происходит со всем, что было неприятного в прошлом, решил Давид, все растворяется в человеке. Нужно только представить себе, что ничего этого не было. Даже подвал в том доме можно было не вспоминать, раз в коридоре светло. Каждому нужен только свет. И иногда Давид почти верил, что он этот свет обрел.

До Пасхи оставалось несколько дней. Утро было

радостным, теплым и ясным. День был полон обещаний — страница лета в книге весны. В школе Давид был неспокоен и невнимателен. Он с нетерпением ждал, когда же наступит три и раздастся избавительный звонок. Вместо того, чтобы смотреть на доску, он разглядывал солнечные пятна на стенах. Прячась за учебником географии, он смастерил из карандаша и клочка бумаги парус и ловил им легкий ветерок, влетающий в класс через открытое окно. Мисс Стегман заметила это, поджала губы (густой пушок вокруг них всегда темнел, когда она так делала) и закричала:

— Ну-ка, встань, маленький бездельник! Сейчас же! Сию же секунду! Иди и сядь у двери! Какая наглость!

Она часто произносила это слово, и Давид недоумевал, что бы оно могло значить. Потом она отпрыгнула, что всегда с ней случалось, когда ее выводили из себя.

Но и на новом месте он не мог усидеть спокойно: катал украдкой карандаш подошвой по полу, пытался связать узлом волоски, упавшие на страницу книги. Он ждал и ждал, но когда все это кончилось, ему не стало легче. Темнело, и холодный ветер кружил пыль и бумажные клочки в канаве. Дворник натягивал свой черный дождевик. Погода обманула его, вот и все! Теперь ему было некуда идти. Он промокнет. Разве что прийти раньше всех в хедер. Безутешный, он пересек улицу.

Но откуда мама знала утром, что будет дождь? Она подошла к окну, выглянула и сказала, что солнце поднялось слишком рано. Ну и что?..

Из-под его ног вспорхнул газетный лист, подхваченный порывом влажного ветра, и унесся, кружась, в небо. Он пошел быстрее. Над окнами магазинов хлопали и раздувались полотняные навесы. С криком промчался мальчик, в погоне за своей шапкой.

— Уй! Смотри! — возглас заставил его обернуться.

— Стыдно! Стыдно! Панталоны видно, — запел хор мальчиков и девочек.

Красная и хихикающая рослая девица одергивала непослушные волны своей юбки. Над острыми коле-

нями на пухлых бедрах обозначились белые панталоны. Ветер ослабел, и юбка, наконец, опустилась. Давид отвернулся, испытывая слабость от отвращения, вспышку забытого ужаса. Анни в шкафу, кныш. Фу! Один раз он видел, как сносились собаки. Фу! Какой-то дядя облил их водой. Стыд! Стыд!

— Софа! — закричали сверху, — Софа!

— Да! — отозвалась девица.

— Иди домой, а то сейчас получишь!

Капля дождя упала на подбородок.

— Началось!

Он зажал книги под мышкой и пустился быстрым шагом.

— Скорее, пока не промок.

На пороге хедера он оглянулся. Черные тротуары были пусты. Дети, собравшиеся в подворотне, кричали монотонными голосами:

— Дождь, дождь, уходи, лучше завтра приходи. Дождь, дождь...

Давид толкнул дверь и ринулся в комнату, укрываясь от капель. Ребе, державший зажженную спичку у газовой горелки, оглянулся:

— Чтоб этот год был черным для тебя! — прорычал он, — не можешь войти, как человек?

Ничего не ответив, Давид занял свое место. За что он кричит на него? Он не хотел сделать ничего дурного. Горелка вспыхнула, и Давид увидел еще одного ученика. Это был Мендель. Он сидел перед столом ребе, подпирая голову руками. Его шея была обернута толстым слоем бинтов. Все говорили, что он счастливчик, потому что у него на шее карбункул, и он из-за этого не ходил в школу. Целую неделю он приходил в хедер раньше всех. Давид подумал, не сесть ли рядом с ним. Ребе был не в духе. Но он все же решился попробовать и тихо скользнул на скамейку рядом с Менделем. В нос ударил резкий запах лекарств.

— Фу! Воняет!

Он отодвинулся. Мутноглазый, с надутыми губами, Мендель посмотрел на него свысока и повернул лицо

к ребѣ. Тот вытащил большую синюю книгу из стопки на полке и уселся на свой стул с подушечкой.

— Странная мгла, — сказал ребѣ, шурясь на залитое дождем окно, — ненастная пятница.

Давид поежился. Обманутый теплотой дня, он вышел из дому в тонкой голубой рубашке. И теперь, без огня в пузатой печке и без дышащих тел своих сверстников, которые поделились бы теплом с сырой комнатой, ему было холодно.

— Вот, — сказал ребѣ, поглаживая бороду, — это ты должен читать на бар-мицве* , когда доживешь.

Он посплюнул указательный и большой пальцы и начал щипать страницы, от чего они порхали и переворачивались, как бы по своей воле. Давид с удивлением заметил, что, в отличие от других книг, принадлежащих ребѣ, эта довольно неплохо сохранилась.

— Вот "седра"*** на эту неделю, — продолжал ребѣ, — и поскольку ты не знаешь, что такое "хумаш"***, я объясню тебе это после того, как прочитаешь.

Он взял указку, но вместо того, чтобы направить ее на страницу, внезапно поднял руку. Мендель непроизвольно сжался.

— Ай! — воскликнул ребѣ с досадой, — что ты прыгаешь, как козел? Разве я могу ударить тебя? — И он стал ковырять тупым концом указки у себя в ухе. Его смуглое лицо покрылось болезненной рябью. Затем он вытер указку о ножку стола и ткнул ею в страницу:

— Начинай.

Мендель затараторил.

От нечего делать Давид тоже начал читать про себя, беззвучно соревнуясь с Менделем. Но скорость оказалась слишком большой для него. Он отказался от го-

*Бар-мицва (иврит; буквально — сын завета), совершеннолетие, наступающее по религиозному еврейскому закону в тринадцать лет.

**Седра (идиш, от иврит "сидра" — комплект) — часть Библии, читаемая в синагоге в данную неделю.

***Хумаш (иврит) — каждая из частей Пятикнижия Моисея.

нок и рассеянно повернулся к мокрому окну. В доме напротив зажигались огни, и в окнах двигались смутно различимые фигуры. Дождь стучал по крыше, и иногда сквозь его ровный шум прорывался грохот, словно наверху был еще этаж, и там двигали по полу тяжелую мебель.

...Кровать на колесиках. Наверху (его мысли блуждали между шумом дождя и гудением голоса). Вот это дождь! И конца не будет. Даже если перестанет, я не могу идти. Если бы я мог читать "хумаш", я бы его побил... Почему нужно читать "хумаш"? Сначала читаешь — "Адонай злохейну абабаба", потом говоришь — "Нельзя есть трефного мяса". Мне это не нравится. Большие куски висят на крюках. Ветчина. Ух! И цыплята без перьев в ящиках, и живые маленькие кролики в магазине на Первой авеню около надземки. В деревянной клетке с листьями салата. И леденцы в палатках. Леденцы всех цветов. И длинные, черные угри. Ух! Гои все едят...

Мендель продолжал быстрое чтение. Ребе перевернул страницу. Послышался далекий гром.

...Опять кровать на колесиках. Но откуда Моисей знал? Кто сказал ему? Ему сказал Бог. Есть только кошерное мясо, и все. Нельзя есть мясо и потом пить молоко. Мама за этим не следила, кроме тех случаев, когда тетка была рядом. Тетка ругалась, что мама путала мясные ножи с молочными. Это — грех... И Бог сказал: "Ешь мясо только из своей лавки". Один раз довелось побывать там, где режут цыплят. Там цыплята бегали вокруг. И потом дядя с ножом сделал "зинк"! Кровь и крылья. И бросил его. Даже кошерное мясо, когда видишь его, не хочется есть...

— Достаточно! — ребе постучал указкой по столу.

Мендель замолчал и откинулся со вздохом облегчения.

— Теперь я объясню тебе немного, что ты читал и что это значит. Слушай меня и запомни. Исайя видел Бога. И Бог сидел на троне, высоко в небесах, в храме. Понимаешь? — он показал пальцем на потолок.

Мендель кивнул, морщась из-за надоевшего бинта на шее.

...Ого! И он видел Его. Интересно где? (Давид слушал с напряженным интересом. В этом было что-то новое).

— Вот! Вокруг Него стояли ангелы, божьи благословенные ангелы. Можешь себе представить, какие они красивые. И они кричали: "Кадаш! Кадаш! Кадаш! Свят! Свят! Свят!" И храм гудел и дрожал от звука их голосов. Вот! — Он замолчал, вглядываясь в лицо Менделя, — понимаешь?

— Да, — понимающе сказал Мендель.

...И там были ангелы, и он их видел. Чудно...

— Но когда Исайя увидел Всевышнего во всем его величии и страшный свет его, "Горе мне! — закричал он, — что мне делать! Погиб я!" — ребе схватился за свою ермолку и сжал ее в кулаке. — "Я, простой человек, видел Всевышнего! Я, нечистый, видел Его! Мои уста нечисты, и я живу в нечистой земле!" Потому что евреи тогда были нечистыми.

...Чистый? Свет? Чудно... Спросить бы его, почему евреи были грязные. Что они делали? Но лучше не спрашивать! Он может взбеситься. (Украдкой, пока ребе говорил, он наклонился, чтобы увидеть номер страницы). Шестьдесят восемь. Может быть, потом спрошу. На странице шестьдесят восемь...

— И когда Исайя вскричал "Я нечистый", один из ангелов подлетел к алтарю и клещами вытащил горящий уголь. Понимаешь? Клещами. И с этим углем он спустился к Исайе, и этим углем коснулся его губ: "Вот! — ребе прищелкнул пальцами, — ты чист!" И когда уголь коснулся губ Исайи, он услышал голос Бога: "Кого мне послать? И кто пойдет для Нас?" И Исайя сказал...

Но внезапный шум голосов за дверь прервал его. Во дворе послышался топот бегущих ног. Дверь распахнулась. На пороге появилась шумная ватага. Бранясь и хохоча, они проталкивались в комнату.

— Пусти!

— Нет ты пусти!

— А ты не пихайся, паршивая вонючка!

— Чур, я следующий, — подлетел один к столу ребе.

— Моше шлепнул ногой по луже!

— У, гад, не пускай его!

— Я следующий! — еще один кинулся к столу.

— Я раньше...

— Ша! — взревел ребе, — чтоб вас всех отвели на бойню! Вы слышите меня! И ни одного не пощадили!

Все утихло.

— А ты, там, навсегда бы тебе калекой остаться, закрой дверь!

Возня у двери прекратилась.

— Живо! И чтоб жизнь твоя закрылась вместе с дверью.

Кто-то прикрыл за собой дверь.

— А сейчас, милый Сэми, — сказал ребе язвительным тоном, — ты следующий? Я тебе покажу, кто следующий. Убирайся!

Сэми так и сдуло со скамейки.

— И тихо! — проскрежетал ребе, — как будто языки ваши сгнили! — Он подождал, пока установится полная тишина. — Теперь, — сказал он, вставая, — я дам вам кое-какую работу! Ицхак!

— Да-а! Что я сделал! — Ицхак поднял жуткий вой.

— Я тебя говорить просил? Иди сюда.

— Чего вы от меня хотите? — Ицхак приготовился к защите.

— Садись здесь, — он рассадил учеников по возрасту и достал с полки несколько маленьких книжек.

— Аа-а! Фу! — прошипел сквозь зубы Ицхак, — опять проклятая Хагада!*

Они сидели тихо, и ребе раздал им книги. Моше, сидевший недалеко от Давида, уронил свою книгу, но тут же бросился на пол, схватил ее и поцеловал, глядя на ребе с выражением ханжеской набожности.

*Хагада (иврит; буквально — сказание) — здесь — повествование об исходе евреев из Египта, читаемое в первый вечер Пасхи в кругу семьи.

— Сначала, тупицы, — сказал ребе, — четыре вопроса* Читайте их снова и снова. Чтобы они текли, как вода, из ваших ртов. И горе тому идиоту, который не сможет сказать их на идиш! Он огребет столько ударов, сколько песчинок в куче песку! Но чтоб было тихо, словно вы мертвые. Поняли?

Шмайке поднял руку, как в школе.

— Что тебе?

— А можно читать друг другу?

— Тухлые мозги! Вам еще не надоело слышать друг друга? Читайте. Но берегитесь, если услышу хоть одно гойское слово! — он вернулся к своему стулу и сел. Несколько секунд его свирепый взгляд скользил вдоль скамеек, потом упал на книгу перед ним.

— Я говорил тебе, — обратился он к Менделю, — как Исайя увидел Бога, и что потом случилось.

Слова ребе точно спустили с цепи голоса учеников, и кипение шепота наполнило комнату.

— Слышь, что говорю? Слышь? Мне на тебя насрать. Понял, Солли. Запомни. Это ты меня пихнул! А у Менди все еще бинт на шее...

— Сказал "Кого Мне послать?" — слова ребе тонули в густеющем шуме. — "Кто пойдет для Нас?"

— Ици-пици! Сыграем, лупоглазый?

— Никак не спросишь (глаза Давида рассеянно смотрели на страницу), взбесится... Может — потом, когда я буду читать. Где это было? Страница шестьдесят восемь. Я скажу: "На странице шестьдесят восемь, в той голубой книге, которая новая, где Мендель читал, вы сказали, что человек видел Бога. И свет"...

— Сколько? У меня больше. У меня тоже был прыщ на голове.

— А ты был, когда сверкала молния?

— Мы были. Под дождем.

— "Пойди и скажи этому народу", то есть этим падшим людям...

* Четыре вопроса об особенностях пасхальной трапезы обычно задает главе семьи в начале торжеств — младший из сыновей.

— Да, и получишь по задку! Нечет! Мне попал на голову песок, и сделался большой прыщ. Я видел вспышку, когда мы входили.

— Где он Его увидел? Бога? Не говорит. Может, он сам не знает? Надо спросить... Страница шестьдесят восемь. Где? Я тоже где-то... Когда я... Когда я... На далекой улице... Хэлло, господин Столб, гудбай, господин Столб. Хи! Чудно!

— Что никогда не будут здоровыми, никогда не будут чистыми.

— Где-то Исайя видел Его. Он сидел на стуле. У Него есть стулья, и Он может сидеть. Хи! Сидеть — пердеть! Шшш! Прости, Бог, я не хотел этого! Прости, Бог, это кто-то другой сказал! Пожалуйста...

— "Надолго ли? — спросил Исайя. — Надолго ли, Боже"...

— И почему ангел это сделал? Почему он хотел сжечь рот Исайи углем? Он сказал: "Ты чистый". Но от угля остается сажа и пепел. Как же тогда чистый? Как он мог? Уголь наверняка не был чистым. Не мыл же он его. Так что...

— Мой отец еще задаст твоему отцу...

— И почему клещами? Уголь был горячий, вот почему. Но он — ангел. Значит, ангел боялся обжечься? Чудно...

Игра стала общей. Волна голосов, казалось, раскачивала хедер.

— И ни единого дерева... — ребе склонялся все ниже и ниже к столу, тогда как голос его поднимался все выше и выше по крутой лестнице раздражения, — не останется в этой земле! — он выпрямился, завершая крещендо ревом.

— Нуу! — Его рев прижал к земле дрожащие стебли голосов. — Теперь моя очередь!

Свиरेпо улыбаясь, он встал с плетью в руке и приблизился к замолчавшим перепуганным ученикам на скамейках. — Вот! — Плетка свистнула и опустилась на чье-то тело. — Вот тебе!

— Ай!

— И тебе!

— Ой! Что я сделал?

— Это за твой змеиный язык!

— Пустите! Ой!

— И тебе, чтобы у тебя задница горела!

— Ай! Ой!

— И тебе за твою улыбочку! И тебе за твоё ржание!

И тебе за твои пререкания! На! Держи! Хватай! Пляши!

Никто не избежал ударов, даже Давид. Устав, наконец, ребё остановился, задыхаясь. Глаза его горели. Комната наполнилась стонами, охами и тихими проклятиями.

— Ша!

Даже эти звуки прервались.

— Теперь возьмите книжки. Уткнитесь в них! Четыре вопроса. Ну! Начинайте.

— Так! — сказал ребё, когда они кончили. — Есть здесь хоть одна голова, которая помнит, что было вчера? Кто может сказать это на идиш? Ну!

Поднялось несколько неуверенных рук.

— Но все полностью! — предупредил он, — не кусочки, а все, и без заикания. А то получите... — он щёлкнул плеткой, — лапшу!

Напуганные добровольцы убрали руки.

— Что? Никто? — его взгляд метался по комнате. — Эх, вы! — саркастически отмахнулся он от старших учеников. — Пора бы вам совершить подвиг! Ни один! — Он горько покачал головой. — Чтоб у вас зубы повыпадали! Никто больше не хочет быть евреем. Горе вам! Даже гой знают о своей грязи больше, чем вы знаете о святости. Горе! Горе! — Он укоризненно посмотрел на Давида. — И ты? И у тебя голова набита соломой, как у остальных? Говори!

— Я знаю, — несмело признался Давид, боясь навлечь на себя ненависть остальных.

— То-то же! Ну! У тебя что, кость в языке? Начинай. Я жду!

— "Один козлик, один козлик... — осторожно начал Давид, — один козлик, которого купил отец за два

зуза. Один козлик, один козлик... И пришла кошка, и съела козлика, которого купил отец за два зуза. Один козлик, один козлик... И пришла собака, и укусила кошку, что съела козлика, которого купил отец за два зуза. Один козлик, один козлик”...

У Давида появилось чувство, что все в хедере насто-
рожились, чтобы наброситься на него, пропусти он хоть
одну ступеньку в этой длинной лестнице вины и рас-
платы. Осторожно добрался он до вола и до резника, и
до Ангела Смерти.

— ”И тогда Пресвятой, благословен Он...”

”(Ха! Последний Потом никого. Я не знал раньше.
Но иногда после Него еще — мама. Хи!) Непрошенные,
сторонние мысли вкрались в короткую паузу между
словами. На секунду он запнулся. (Нет! Нет! Не оста-
навливаться!)”.

— ”Благословен Он, — торопливо повторил Давид, —
зарезал Ангела Смерти, что зарезал резника, что заре-
зал вола, что выпил воду, что потушила огонь, что сжег
палку, что побила собаку, что укусила кошку, что съе-
ла козлика, которого купил отец за два зуза. Один
козлик, один козлик”...

Одним духом читал Давид до конца, боясь что ребе
разозлился на него за запинку посредине. Но ребе улы-
бался:

— Так! — он похлопал в свои большие ладони, — вот
кого я назову своим дитем. Вот это — память! Вот
это — ум! Может быть, ты еще станешь великим рабби,
кто знает!

Удовлетворенно поглаживая свою черную бороду,
он несколько мгновений смотрел на Давида, потом
вдруг сунул руку в карман и вытащил потасканный
черный кошелек.

Рокот невероятного удивления поднялся над ска-
мейками.

Щелкнув металлической застежкой, ребе позвенел
монетами внутри и вытащил медяк.

— Вот! За то, что у тебя настоящая еврейская голо-
ва. Держи!

Давид машинально поднял руку и зажал пенни в кулаке. Остальные сидели безмолвно, с открытыми ртами.

— А теперь читай, — приказал ребе. — А вы, идиоты, берегитесь. Если я только услышу, как вы моргаете, я разорву вас не на кусочки, а на кусочки кусочков!

Немного ослепленный неожиданной удачей, Давид последовал за ребе к столу и уселся на скамейку. Пока тот тщательно скручивал цыгарку, Давид смотрел в окно. Дождь кончился, хотя на дворе все еще было темно. Он почувствовал, как странное спокойствие объяло улицу за окном. За спиной Давида вспыхнул первый шепот. Ребе зажег цыгарку, закрыл книгу, по которой читал Мендель, и отодвинул ее в сторону.

...Можно спросить сейчас. Он дал мне пенни. Об Исае и угле. Где? Страница шестьдесят восемь ..

Струйки дыма вились над столом. Ребе потянулся за потрепанной книгой и взял со стола указку.

— Ребе!

— Ну? — он листал страницы.

— Когда Мендель читал об этом... этом человеке, который, вы сказали, который...

Ему не довелось кончить. Дважды метнулся по двору фиолетовый свет, как будто кто-то качнул над крышами фонарь. Потом стало темно, грохнул гром и покатились, словно бочка по лестнице погребя.

— Шма Исразль! — ребе пригнул голову и ухватился за руку Давида, — горе мне!

— Ой! — взвизгнул Давид и хихикнул, когда рука ребе разжалась.

За спиной Давида затараторили резкие, возбужденные голоса.

— Видел! Бух! Во дает! Говорю тебе, что раньше тоже полыхало!

— Ша! — к ребе вернулось самообладание, — молния перед Пасхой! Будет теплое лето, — он повернулся к Давиду. — Почему ты закричал и почему ты засмеялся?

— Вы меня схватили, — объяснил Давид осторожно, — и потом...

— Что потом?

— И потом вы пригнулись, как мы, когда вы бросаете указку, — и я подумал...

— Пред Богом, — прервал его ребе, — никто не может стоять прямо.

...Пред Богом...

— Но что ты подумал?

— Раньше я думал, что это кровать. Наверху. Но это не кровать.

— Кровать! Не кровать! — Глаза ребе расширились. — То, что я дал тебе пенни, не значит, что из меня можно делать дурака. — Он подтолкнул книгу. — Читай, уже поздно.

...Нет, сейчас нельзя спросить...

Давид начал читать, и мысль утонула в монотонности звуков.

После недолгого чтения ребе отпустил его, и Давид соскользнул со скамейки и пошел туда, где сидели остальные, чтобы взять свою стопку книг. Шломо, державший книги Давида на коленях, поднялся с готовностью при его приближении и протянул их навстречу.

— Они хотели забрать, но я их держал, — сообщил он. — А что ты купишь?

— Ничего.

— Ну-у, — сказал он с горячностью, — я знаю где есть леденцы — восемь за цент.

— Я ничего не хочу покупать.

— Ты вонючий гад!

Остальные загудели:

— Говорили тебе, что ничего не получишь за то, что держишь книги. Вот, теперь видишь. Покажи хоть пенни. Мы пойдем с тобой. Это нам никто не запретит!

Они метнулись к своим местам. Давид взял книги под мышку и направился к двери.

Воздух посвежел, и мгла сменилась тусклым светом. Ветер стал холоднее. Он морщил лужи на мостовой и раскачивал бельевые веревки. Откуда-то еще срывались иногда большие капли, но на стенах и заборах уже показались сухие пятна. Все еще сжимая пальцами пенни в кармане, Давид поднялся по темным намокшим ступеням, прошел по теплому коридору и вышел на улицу. Тротуары и канавы подсохли и снова стали серыми, а ручейки утончались на глазах. На западе вокруг солнца серебряным хаосом громоздились облака, и их отсвет в неровной каменной раме улицы был белесоват и мрачен.

...Покажу ей пенни, когда приду домой. И она скажет папе. А что он скажет? Он, конечно, не поверит. Он скажет — я нашел монетку. Но я могу повторить ему все, с начала до конца: "Один козлик, один козлик"... и ему придется...

Он остановился и посмотрел задумчиво на множество игрушек, луженых фанфар, масок, содовых бутылок и сигаретных реклам.

...Нет. Сначала надо ей показать: "Смотри, что у меня есть". Потом можно купить. Что? Конфеты? Нет. Может, лучше подождать до завтра и получить еще пенни. И тогда — ух! Пойду к тетке Берте в кондитерскую. Когда я там был? Давно, с мамой. Слишком далеко. И девчонки, Эстер и Полли. Ненавижу их. Как они дерутся, тьфу! Как они едят суп! Папа убил бы меня, если бы я так ел. Но дядя Натан только ворчит, а тетка ворчит на него. Помнишь дядю Натана и его мать? Уксус... И свет, когда раввин сказал. Свет! Хи! И Исайя и этот ангельский уголь. На его губах. Не забыть бы. Синяя книга — такая большая. На странице шестьдесят восемь. Может, в следующий раз спрошу. Может, мама знает...

— Эй, мальчик, — обратились к нему на идиш.

Он вздрогнул и поднял голову. Он чуть не натолкнулся на нее — сморщенную старуху с тонкими, косы-

ми линиями морщин на лице, похожими на дождь. Спина ее была согнута. Полосатый сине-белый передник закрывал перед ее порыжевшего черного сатинового платья. Белки глаз были затуманены и опутаны сетью красных прожилок. Ее ноздри были мокрыми. Между бровями и белым платком на ее голове выступал жесткий каштановый парик.

— Мальчик, — повторила она скрипучим голосом, покачивая из стороны в сторону слабой головой, — ты еврей?

На миг Давид удивился: как бы он мог ее понять, если б не был евреем?

— Да.

— Хорошо. Это тебе никак не повредит, — прошамкала она. — Ты еще слишком маленький, чтобы грешить. Пойдем со мной, и ты получишь пенни.

Давид смотрел на старуху со страхом. В ней было что-то пугающее и призрачное. Как старая ведьма, которая делает пироги из маленьких мальчиков.

— Зажжешь газовую плиту для меня, да?

Вот-вот, так ведьмы и делают, только не на газу. Он едва было не бросился бежать.

— Я уже зажгла свечи, — объяснила она, — и теперь слишком поздно.

— Аа-а! — теперь он понял. Это была пятница. Но все равно, почему она зажгла свечи так рано? Еще солнце не зашло.

— Ты идешь? — спросила она и двинулась вперед. — Я дам тебе пенни.

Да это ведь его улица. Вон, через два дома, его собственный дом. И к тому же он получит еще пенни. Он пошел за старухой. Она прошаркала к ближайшему дому и медленно, с трудом, поднялась по ступенькам. Уже на пятой ступеньке она дышала со свистом. Наверху ее сморщенные, потресканные ботинки остановились на пороге. Давид поднялся и встал рядом с ней.

— Больше нет ступенек, — пробормотала она, ожидая, пока ее дыхание станет ровным. — Будь проклят этот черный сон, что сморил меня. Когда я проснулась,

было темно, и я со сна зажгла свечи. Не догадалась сначала посмотреть на часы и зажечь плиту. Горе мне, — она двинулась опять. Несколько шагов по коридору, и она остановилась перед дверью, открыла ее и вошла.

Кухня, чисто выметенная и нагоняющая тоску, затоптанный матовый линолеум, четыре свечки на тяжелой, красно-белой скатерти. Запах рыбы. Застоявшийся воздух.

— Сначала пододвинь стул, — сказала старуха, — и зажги газ наверху. Можешь достать спички?

Давид выдвинул ящик, на который она указала, и нашел там коробку спичек. Потом он поставил стул под газовую лампу и взобрался на него.

— Знаешь, как? — спросила она.

— Да, — он чиркнул спичкой, повернул кран и зажег газ.

— Хорошо! А теперь под кастрюлями.

Он зажег и там.

— Меньше, — сказала она, — меньше. Как можно меньше.

Когда он отрегулировал пламя, она указала на кошелек на столе.

-- Возьми, — сказала она и начала кивать, и кивала, как будто не могла остановиться, — возьми пенни.

— Не надо, — замялся он.

— Бери! Бери!

Под действием ее взгляда он выудил пенни.

— Ты хороший мальчик. Благослови тебя Бог, — и она открыла дверь.

5

”Нет, — думал он, выходя из подъезда, — она не ведьма — просто старуха с Девятой улицы, и все”. Но все же непонятная тоска омрачала радость, которую он должен был испытывать, получив пенни. Хотя из него и не сделали пирог, что-то давило на сердце. Что? Может быть грех? Да, наверное — грех. Но она сказала,

что я слишком маленький. Нет. Для греха никто не маленький. Какой пенни он получил за грех? Он поглядел на оба. Один с индейцем, один с Линкольном. Этот, с Линкольном, он получил только что. Но холодный воздух улицы вымел угрызения совести так же, как очистил легкие от запахов кухни. Он повернул к своему дому и пошел быстрее. Сумерки заполняли пространство на востоке. Столбы дыма на другом берегу реки начали бродить по небу. На углу Авеню Д погруженный в тень фонарщик с бледным, поднятым кверху лицом воткнул свое длинное копьё с горящим наконечником в дымчатый шар уличного фонаря. Давид приостановился, чтобы увидеть, зажжется ли газ. Послышалось слабое шипение, и шар превратился в желтый цветок. Поднимаясь на крыльцо, Давид думал, мучают ли фонарщиков их грехи, или они все гои.

На лестнице слышались детские голоса.

— Ты должен.

— Нельзя! — ответил другой голос.

— Но еще не шабес*.

— Шабес. Уже темно.

— Это здесь темно, но еще не шабес.

Перед полуоткрытой дверью туалета, в котором сидел на корточках мальчик, стояли два его товарища.

— Я оторву, — слышался изнутри непокорный голос, — тут ничего другого нет.

Проходя мимо двери, Давид видел, как мальчик, сидящий там, оторвал длинную полосу от газеты, валившейся на полу.

— Вот ты и согрешил! — мстительно прокомментировал один из стоявших.

— И это двойной грех, — добавил второй.

— Почему это двойной? — встревоженно спросил грешник.

— Потому что уже шабес, — пояснил первый голосом праведника, — это один грех. Нельзя ничего рвать в шабес. И потому, что это еврейская газета с еврейским языком, и это второй грех. Вот!

*Шабес (идиш) — суббота.

— Да! — вмешался второй, — у тебя был бы только один грех, если бы ты порвал английскую газету.

— Да вы же не дали английскую!

Их пререкающиеся голоса угасли внизу.

...Во все места заглядывает Он. Я знал, что нельзя зажигать газ. Один пенни плохой. Но другой — хороший. Значит поровну. Может быть, Он не рассердится? Но как Он может смотреть во все темные места, если Он — свет? Так сказал ребе. А здесь — настоящая темнота. Как Он может видеть в темноте, а мы не можем видеть Его? Что такое темнота? Анни — шкаф — подвал — Лютер. Не надо! Это был грех...

Он посмотрел на окошко над их дверью. Оно было темным. Лишь чуть серое в сумерках. Его сердце упало. Значит, мамы нет дома, и там только отец, и он, вероятно, спит. Давид остановился нерешительно, объятый страхом перед темнотой и отцом. Придется будить его, если дверь заперта, и в этом таилась опасность. Лучше выйти на улицу и ждать, пока вернется мать. Нет. Он сначала попробует ручку. Он нажал на ручку, и дверь открылась. Это было странно. Он вошел на цыпочках в кухню, куда доносилось дыхание отца из спальни. Он прошел в гостиную. Мама была здесь! Она сидела у окна, и ее профиль темнел на фоне угасающего неба. Его сердце подпрыгнуло.

— Мама! — он старался удержать свой голос в пределах шепота, но не смог.

— Ох! — Она вздрогнула. — Ты напугал меня! — И протянула к нему руки.

— Я не знал, что ты здесь, — он нырнул в желанное кольцо ее объятий.

— Моя голова, как старый колокол, — вздохнула она, прижимая его к себе. — Пустая и глухая, но иногда шепчет что-то... — она засмеялась и поцеловала его в лоб. — У тебя промокли ноги во время дождя?

— Нет, я прибежал в хедер раньше.

— Этот свитер слишком тонкий.

Он все время держал пенни с индейцем в руке, чтоб не звенело в кармане. И теперь он показал его ей:

— Смотри, что у меня есть.

— Ого! — удивилась она, — откуда это у тебя?

— Мне ребе дал.

— Ребе?

— Да, я единственный знал вчерашнее задание.

Она засмеялась и обняла его:

— Соломон, мудрец!

Он глубоко вздохнул. Он уже спрашивал ее раньше, но это было так непонятно. Он хотел, чтобы ему объяснили еще раз.

— Кто Бог, мама?

— Нашел, кого спрашивать, — улыбнулась она, — разве ребе не сказал тебе?

— У него нельзя обо всем спрашивать.

— А почему тебе это так интересно?

— Не знаю, но ты мне не сказала, как Он выглядит.

— Это потому, что я сама не знаю, — она усмехнулась в ответ на его досаду, — и все же я говорю тебе, что...

Слабый, сонный голос отца донесся из спальни, прервав ее речь.

— Геня!

— Я здесь, Альберт.

— Хмм!

Отец, казалось, всегда сомневался в том, что ему говорили, и требовал подтверждений. Давид надеялся, что мать поторопится досказать свое объяснение прежде, чем отец встанет.

— Да, — продолжала она, — так вот что сказала мне одна набожная старуха в Вельише, когда я была маленькой девочкой. И это все, что я знаю. Она сказала, что Он настолько ярче всего, насколько день ярче ночи. Понимаешь? Даже, если ночь будет такой яркой, что можно будет различить, вьются или нет черные волосы. Ярче, чем день.

Ярче, чем день. Это было ясно и совпадало с его собственными представлениями.

— И Он живет на небе?

— И на земле, и в воде, и в мире.

— А что Он делает?

— Он держит нас в своих руках. Так говорят. Нас и весь мир.

В темном дверном проеме появился отец. Осталось время только для одного вопроса.

— А Он может все это разрушить? Нас, улицы, все?

— Конечно. У Него вся сила. Он может разрушить и построить, но Он держит.

— Почему вы сидите в темноте? — спросил отец.

— Это из-за моей стирки, — виновато засмеялась мать, — занавески для пасхи. Я уже кончала, когда стемнело. И я решила, что лучше кончить в темноте, а то соседи увидят и будут болтать языками. Ты знаешь, сын получил пенни в хедере.

— За что? За свои умные вопросы? "Создать — разрушить". Дурак в куче песка. — Он зевнул. Потягиваясь, он уперся руками в притолоку, и она скрипнула:

— Давайте зажжем свет.

6

Это было утро понедельника. Вечером начиналась Пасха. В этот день было хорошо быть евреем — не нужно было идти в школу. Давид вышел на улицу, держа в руках сверток с деревянной ложкой, в которую вчера вечером отец смел куриным крылом со стола все оставшиеся крошки хлеба, а затем обвязал все вместе тряпкой. Это был "хамец"*, его нужно было сжечь на костре. На крыльце Давид задержался, чтобы понаблюдать за дворником-венгром, который начищал до блеска медные поручни перед домом. От меди шел какой-то неприятный запах гнили, и все же там, где солнце касалось отполированных мест, вспыхивал яркий, желтый свет. Гниль. Блеск. Чудно!

— Трогать нельзя! — хмуро предупредил дворник, натирая перила. — И стоять здесь нечего.

*Хамец (иврит) — дрожжевое тесто, а также изделия из него, запрещенные к употреблению в Пасху по еврейскому религиозному закону.

Давид спустился с крыльца и пошел к середине квартала. Кто-то развел там маленький костер. Бросив ложку в огонь, он исполнил бы свой долг и был бы свободен до самого хедера, который сегодня начинался немного раньше. Свои два пенни он не трогал в надежде получить от матери еще один.

Три мальчика, все старше Давида, стерегли пламя, и когда он приблизился, один из них спросил:

— Чего тебе?

— Я хочу бросить в огонь мой хамец.

— А где твой пенни?

— Какой пенни?

— Мы сжигаем хамец за пенни. Мы трое — владельцы. Правда, Чинк?

— Да, это — наш огонь.

— А что, мне нельзя сжечь хамец? У меня маленький.

— Нет.

— Разводи себе сам костер.

— Проваливай, если у тебя нет пенни. Нам не нужен твой хамец.

Внезапный скрипящий звук, сопровождаемый полными злобы непонятными словами чужого языка заставил их обернуться.

Широкая лопата с блестящими краями, толкаемая дворником-итальянцем, приближалась к ним.

И хозяева пламени вдруг, в свою очередь, стали просителями:

— Эй, мистер! Не тушите костер. Это грех. Смотрите! Это хамец! И костер в канаве. Чего вы хотите? — Они танцевали вокруг итальянца.

— Он в канаве! Асфальт не размякнет, раз мы жжем в канаве.

— Ты получить! Вы убирайтесь — неумолимая лопата сгребала угли.

— Ты, проклятый зверь! — вскричали владельцы огня, — оставь в покое наш хамец! Нам полицейский разрешил!

— Я сейчас отца позову! — пригрозил один из них. — Он тебе покажет! Эй, пап! Пап! Отец!

Человек с короткой бородкой, в запачканном кровью переднике, выглянул из мясной лавки.

— Пап! Смотри, он потушил наш костер!

С бешеным криком мясник бросился к ним, сопровождаемый своей женой в таком же, как у него, переднике.

— Ты зачем раскидал, а? — мясник указал рукой на угли, едва тлеющие среди отбросов на дне канавы.

— А ты чего? — зло закричал дворник, сводя черные, как уголь, брови под белой шапкой. — Ты мне не кричи — "зачем раскидал"! Я убираю эту улицу. Тут нельзя разводит костры, — он яростно жестикулировал.

— Что? Я не могу тебе слова сказать, а? Вонючий гой! — Мясник встал на насыпи перед дворником. — Убирайся!

Тот пробормотал что-то на своем языке и угрожающе поднял лопату.

— Ты хочешь меня ударить? — взревел мясник. — Да я проломлю твою паршивую голову!

Дворник отбросил лопату: — Пархатый жид!

Но прежде, чем завязалась драка, жена мясника начала оттаскивать мужа за руку.

— Ты, бык! — закричала она на идиш, — ты связываешься с итальянцем? Ты что, не знаешь, что они все носят ножи? Ну! — потянула она его назад.

— А мне плевать! — бушевал мясник, хоть и не делал явных попыток освободиться от жены. — А я? Что, у меня нет ножей?!

— Ты сошел с ума! — кричала жена. — Пусть ему горло перережут итальянские бандиты, а не ты! — И, удвоив усилия, она утащила мужа в лавку.

Оставшись один на поле боя, дворник, все еще крича и скрежеща зубами, поднял свою лопату и, кидая пылающие гневом взгляды вслед отступающим мальчикам, свирепо набросился на следы костра. Давид, наблюдавший за этой сценой с тротуара, решил, что ему лучше уйти, тем более, что у него в руках все еще был сверток с деревянной ложкой.

Но что же с ним делать? Нужно сжечь, иначе он со-

грешит. Можно было, конечно, подождать, пока дворник уйдет, и потом развести маленький костер. Но ведь можно простоять на этом самом месте неведь сколько времени. А куда он мог пойти с большим свертком в кармане? Его можно и потерять, и это будет грех. Да кроме того, само присутствие свертка стесняло бы его свободу. И ему совсем не хотелось разводить огонь самому — полицейский может не понять. Да еще дворник вернется.

Куда же все-таки пойти? Где найти другой костер? Может, в другом квартале? Но там ему тоже, возможно, не разрешат сжечь хамец. И там могут потребовать пенни. А что, если он сумеет незаметно подкрасться и подбросить сверток? Нет, не дадут. Но он должен сжечь, иначе — грех. Куда идти?

Он побрел бесцельно к Авеню Д. На углу остановился, рассеянno озираясь.

...Седьмая улица... Восьмая улица... Река... Река! Там! Там никого нет. Он все равно хотел туда пойти. Там можно развести огонь, маленький костер у свалки. Да, там! Спички? Да, у него есть четыре...

Обрадованный таким решением, он пересек Авеню Д, миновал жилые дома и задержался на минуту у открытых дверей кузницы. Там в тени стояла лошадь и работал кузнец. Чувствовался едкий запах паленых копýt. Красный металл брызгал искрами под ударами молота и позванивал, когда щипцы переворачивали его.

Давид дошел до края мусорной кучи и присел, вдыхая соленый запах прилива.

...Вот здесь, на камнях. Никого нет, никто не смотрит. Собрать маленькие кусочки — вон большая газета — бумага. Поймать, пока не унесло ветром. Разорвать на клочки. Мальчик в туалете. Он согрешил. Клянусь, что Он смотрит. Бог. Всегда. Маленькие щепки. И итальянец согрешил. Так тот парень сказал. А у мясника, наверное, нож больше. Картон тоже хорошо. Интересно, Он видит, как я хорошо себя веду? Теперь сверху положим хамец. Ну, пошло!..

Он достал спичку, чиркнул ею о камень и, прикрывая ладонью огонь, поднес его к клочкам бумаги. Пробудилось живое, золотистое пламя. Загорелся картон, затем дерево, и через секунду пылала вся кучка. Он сидел на корточках перед костром и смотрел, как первые язычки пламени побежали по тряпке, что связывала крыло и ложку. Голубой дымок коснулся его лица.

— Фу, как воняет перо! Нет, не воняет. Оно святое, и Он смотрит. Перья не воняют, нет!

Тряпка сгорела быстро. Крыло и ложка распались и погрузились в угольки. Почерневшие крошки просыпались, и огонь поглотил их.

...Нет больше хамеца. Все сгорело. Смотри, Бог, я хороший? Теперь есть только белая маца. Могу идти. "Не сиди на краю причала", — говорит мама. Она за меня боится. А я не боюсь. Посижу совсем немножко. Я ведь хорошо себя вел...

Несколько шагов к реке, и камни сменились широкими досками причала. Зброшенная лодка с облезлой краской гнила в воде. Дойдя до конца причала, он сел, свесив ноги над водой и прислонившись к рогатой тумбе, к которой были привязаны лодки. Здесь ветер был свежее. Необычное спокойствие наполнило его. Под его ладонями сухие, потрескавшиеся доски излучали тепло. А под ними невидимые, всегда немного злоеющие, неустанные всплески воды между столбами. Перед ним — река, и справа — длинные серые мосты, пересекающие ее. На другой стороне реки буксир проворно толкал корму огромной баржи. Он напряженно пыхтел, набирая скорость.

По бокам баржи на воде появились усы. Перед ее носом ритмично взлетали брызги, замирали в воздухе и падали вниз. На барже были кирпичи. Пожалуй, на целый дом.

Облако закрыло солнце, у Давида озябла спина. Ветер стал резче. Столбы дыма вдалеке медленно темнели. Он посмотрел влево. Облако проходило, и лучи солнца зажигали серебро на воде.

...Огонь на воде. Белый...

— К-какое чудо?

— Пошли, мы покажем тебе. Правда, Везель? Вон там. — Он указал мечом за мусорную кучу, в направлении Десятой улицы. Там, где вагонетки.

— Что вы хотите делать? — замялся Давид.

— Пойдем, мы тебе покажем. — Они окружили его, отрезая путь к отступлению. — И вот мой меч, держи. — Педди протянул меч, и Давид взял его. Они двинулись.

У подножья мусорной кучи Везель остановился.

— Постойте, — объявил он, — я хочу ссать.

— Я тоже, — сказали остальные и тоже остановились. Они расстегнулись. Давид отодвинулся к краю.

— Отсюда выходит пиво, — пропел Педди.

— Видишь, — Везель торжествующе показал на дрожащего Давида, — я говорил тебе, он не белый. Ты почему не ссышь?

— Не хочу. Я уже писал.

— Пошли! — сказал Везель.

Сопровождаемый двумя парнями по бокам и одним сзади, Давид вскарабкался на кучу. Только одна надежда поддерживала его, что на той стороне кто-нибудь будет, и он побежит. Но там было пусто, только поблескивали рельсы, разветвляясь в конце.

— Фу! Что это воняет? — Педди сплюнул.

Откуда-то из грязи и отбросов доносился запах разложения. Мертвая кошка.

— Ну, быстрее!

Когда они спускались, ржавая проволока, жесткий корень этой похоронной земли, ухватила Давида за ногу. Он упал и погнул меч.

Двое засмеялись. Только лицо Везеля сохраняло невозмутимость. Казалось, он считал делом чести не смеяться.

— Держись, ты, подонок, — пролаял он, — меч погнул!

— Подождите, — остановил их Педди, — я погляжу. Он соскользнул вниз и огляделся.

— Вперед! Никого!

Они присоединились к нему.

- Сейчас мы покажем тебе чудо.
- Сейчас увидишь, — красноречиво пообещали они.
- Да, лучше, чем кино...
- Что вы хотите сделать? — их растущее возбуждение усиливало чувство ужаса.
- Пойдешь по рельсам и там, в конце, раздвинешь мечом железки. Вот так, посередине.
- Я не хочу, — заплакал он.
- Вперед, сопливая вонючка! — кулаки Везеля сжались.
- Иди! — гримасничали остальные. — Пока не схватил по яйцам.
- Потом мы тебя отпустим, — пообещал Педди.
- Если я вставлю меч?
- Да, как я показал.
- И тогда отпустите?
- Да. Давай. Не укусит. Ты увидишь все кино в мире! И водевиль тоже! Давай, пока не приехала машина.
- И всех ангелов!
- Иди! — они замахнулись кулаками.

Его глаза, полные мольбы, метнулись к западу. Казалось, что его отделяли мили от людей, идущих по Авеню Д. Дверь кафе в одном из домов была закрыта. Он посмотрел на восток. Никого! Ни души! За измазанными дегтем камнями набережной виднелась серебристая гладь воды, тронутая чешуйчатой рябью. Он был в западне.

— Ну! — их лица были неумолимы, тела застыли в ожидании.

Он повернулся к рельсам. Длинные темные канавки между ними выглядели такими же безобидными, как всегда. Он проходил здесь сотни раз, ничего не подозревая. Что же там было такое, что заставляло этих троих смотреть на него с таким напряжением? Раздвинь их, они сказали, и мы отпустим тебя. Просто раздвинь. Он приблизился на цыпочках по каменным плитам. Острие меча дрожало перед ним, звякнуло по камню, потом, найдя, наконец, впадину, раздвинуло со скрежетом широкие, словно бы улыбающиеся губы

Его веки тяжелели.

...И в воде, она сказала. Яркий. Ярче, чем день. Ярче. Это Он...

Давид все смотрел и смотрел. Блеск был гипнотический. Он не мог оторвать глаз. Его дух растворялся, таял в этом блеске.

Потом он вздрогнул, стяхивая с себя сон. Прямо перед ним проплывал черный буксир. В дверях, выходящих на палубу, стоял человек в тельняшке. Он свистнул, улыбнулся, сплюнул и закричал: "Проснись, парень, пока не стал утопленником!"

Что это он видел? Он не мог сказать. Как будто он видел что-то из другого мира, мира, который нельзя вспомнить, если покинешь его. Он только знал, что этот мир был совершенным и ослепляющим.

7

Он еще долго сидел там. Доски причала стали казаться жесткими. Он поднялся. Надо идти домой.

Приближаясь к краю причала, он услышал голоса и посмотрел налево. Три парня со стороны Восьмой улицы карабкались на кучу мусора. Увидев Давида, они завопили, прыгнули на землю и побежали к нему. Они были в кепках и в красных с зеленым поношенных, прорванных на локтях свитерах. Двое из них были чуть выше Давида, у них были голубые глаза и вздернутые носы. Третий был смуглым и выглядел старше. У него в руке был меч, сделанный из полоски цинка с прикрученным проволокой болтом. Одного взгляда на их жестокие, недоброжелательные лица было достаточно. Глаза Давида метнулись в поисках выхода. Но пути не было. Только в сторону реки. Прижатый, он стоял неподвижно, переводя испуганный взгляд с одного парня на другого.

— Что ты делал там? — спросил старший из них, скривив рот. Солнце блеснуло на лезвии меча, протянутого в сторону причала.

— Н-ничего. Я ничего не делал. Там лодки...

— Сколько тебе лет?
— Мне... мне уже восемь.
— Почему же ты не в школе тогда?
— Потому что, потому... — Что-то удержало его. —
У моего брата корь.

— Он врет, Педди. Он вор.
— Придется отвести его к полицейскому.
Лучшего оборота дела Давид не мог бы и желать. Но
Педди мрачно отверг эту идею:

— Где ты живешь?
— Там, — он видел даже окна своей квартиры, — в
том доме на Девятой улице. Моя мать сейчас придет
за мной.

Педди, сощурившись, посмотрел туда, куда показ-
зал Давид.

— Это жидовский дом, Педди, — сказал другой со
зловещей радостью.

— Да. Так ты еврей, а?

— Нет! — горячо запротестовал Давид, — я не еврей.

— В этом доме живут только жида.

— Я венгр. Мои отец и мать венгры. Мы дворники.

— А почему ты показывал на верхний этаж?

— Потому что моя мать моет там полы.

— Говори по-венгерски, — потребовал другой.

— Абашишишабабабио томама вава.

— Деньги есть?

— Нет, ничего. Все осталось дома.

Он был бы рад отдать им свои два пенни, только бы
отпустили.

— Сейчас проверим карманы.

— Вот. Я вам покажу, — он поспешно вывернул кар-
маны.

— Ладно, — сказал Педди, — давайте, покажем ему
чудо.

— Давай, давай, — поддержали остальные. — Хочешь
увидеть чудо?

— Не. Не хочу. Пустите меня!

— Не хочешь? — разозлился Педди. Двое других рва-
лись, как собаки с привязи.

чугунного рта. Он отступил. Из открытых губ в темноту вырвалось пламя.

...Сила!..

Точно рука, протиснувшаяся сквозь твердые волокна земли, гигантская сила шквалом вырвалась наружу!

И свет, сорвавшийся с цепи, ужасный свет с ревом выплеснулся из чугунных губ. Пространство задрожало и заревело, и цинковый меч запрыгал и закорчился, как пленные под пытками, и начал таять, поглощаемый извержением.

Ослепленный и потрясенный этим взрывом жара и света, Давид отпрыгнул от огня. Секунду спустя он уже бешено неся в сторону Авеню Д.

8

Когда он оглянулся, свет исчез и рев стих. Педди и его друзья сбежали. На перекрестке несколько человек остановились и смотрели в сторону реки. Их глаза задержались на Давиде, когда он приближался к Авеню Д, но поскольку никто не пытался преградить ему дорогу, он повернул за угол и побежал к Девятой улице. Молочная повозка отца стояла у тротуара. Отец был дома. Он может догадаться, что что-то случилось. Лучше не подниматься. Он проскользнул мимо своего дома, метнулся через улицу и побежал дальше. Добежав до ворот хедера, он нырнул в это прибежище и оказался на пустом, залитом солнцем дворе. Дверь была закрыта. Было еще слишком рано. Дрожа всем телом, ослабев от страха, он озираясь в поисках места, где бы смог отдохнуть. Широкие деревянные двери погреба мягко светились на солнце. Новый медный замок блестел на них: слишком часто ученики хлопали им, отправляясь в класс. Он дотащился до дверей, прижался к одной из створок спиной и закрыл глаза. Его дух погрузился в красное море под освещенными солнцем веками. Хотя дерево и солнце были теплыми, его зубы

стучали, и он дрожал, точно дул ледяной ветер. Со стоном он повернулся боком и ощутил теплую жесткость замка под щекой. Глубокие, сотрясающие рыдания подкатились к его горлу. Горячие слезы пробились из-под закрытых век и покатались по щекам. Он плакал беззвучно.

Сколько времени прошло, он не знал. Но постепенно мучения его ослабли, кровь успокоилась, и рыдания стихли. Опустошенный и безразличный, он открыл глаза. Знакомые грубые стены домов, покосившиеся заборы, веревки, пестрое белье, свет солнца, голубое небо над головой — это было хорошо. Рыжая кошка осторожно спустилась по пожарной лестнице и прыгнула на забор. Теплая и осязаемая реальность. Из открытых окон доносились голоса, стук посуды, журчание воды в раковине, смех, перекрывающий громкие слова знакомой речи. Это было хорошо. Легкий ветер принес сильные и приятные запахи кухни. Где-то наверху мерно застучал топорик. Мясо или рыба, а может — горькие травы Пасхи. Занемевшее, безвольное тело расправлялось, наполнялось уверенностью.

...”Чоп. Чоп”. Ровный, постоянный звук. Его мысли потекли в ритме этих ударов. Что-то в нем пело. Слова текли помимо его воли. Чоп. Чоп. Показал ему, показал. Если Он хочет. Показал ему, показал.

...В темноте, чоп, чоп. В реке показал ему, показал. Он покажется, если захочет. Или спрячется, если захочет. Покажется, если захочет, спрячется, если захочет... Он может разрушить своей рукой, если захочет. Может держать в своих руках, если захочет. Может держать, может разрушить...

...В темноте, в коридорах — Он. В темноте, в подвалах. В подвалах, что заперты. В подвалах. где уголь.

...Уголь!

Уголь!

Он выпрямился.

— Ребе! — его испуганный крик зазвенел над двором, — ребе! Там внизу уголь! Белый, в подвале!

Он дрожал и дико озибался вокруг. На многоцвет-

ных, окружавших его стенах ему привиделись горящие слова: "Там, внизу, уголь! Белый!" Он ошеломленно бросился к двери.

— Ребе! — дверь гремела, но не открывалась, — ребе!

Он должен войти. Он должен. Он забежал за угол хедера. Окно! Он вцепился в него. Незапертое, оно отворилось с легким скрипом. Он не стеснялся. О стеснении не могло быть и речи. Будто огромная рука толкала его вперед. Он подпрыгнул, повис на подоконнике и, извиваясь, влез.

Этот шкаф! Где все книги! Он бросился к шкафу, но не смог дотянуться. Он подтащил стул ребе, вскарабкался на него и распахнул дверцу. Голубая! Лихорадочно он порывлся среди книг и нашел ее. Он прыгнул на пол, уже переворачивая страницы. Это на странице шестьдесят восемь: сорок, семьдесят, шестьдесят девять, шестьдесят восемь! Наверху! Он скорчился на скамейке и начал читать. Но все значение растворилось в звуке. Непонятные строчки туманной догадкой гремели в его сердце, катились и заливали самые далекие берега его существа. Он видел кого-то, свободного, в безграничном пространстве, идущего по бесплотной дороге, которая поднималась, неся на себе деревья. Были ли это деревья или телеграфные столбы, покрытые ветками и листьями, нельзя было сказать, но они стояли там, поддерживаемые опорами в неумолимом свете. И их стволы светились, потому что свет внутри них был блистающим смехом...

...Постепенно он возвращался туда, где находился. Звук ключа, ищущего замочную скважину, доносился откуда-то сзади, из беспредельного пространства. Замок, открываясь, щелкнул неожиданно близко. Реальность обрушилась на него, как порыв ледяного ветра. Впопыхах он соскочил со скамейки и бросился к окну. Слишком поздно! Ребе в длинном черном пальто и котелке возник в проеме раскрытой двери. Сперва отшатнулся, испуганно вскрикнув, но узнав, кто это, гневно расширил глаза и выступил вперед со склоненной набок головой.

— Как ты сюда попал? — свирепо спросил он, — а?

Открытое окно попало ему на глаза. Он гневно уставился на окно, не веря своим глазам.

— Ты забрался через окно?

— Книга! — пробормотал Давид, — книга! Я хотел...

— Ты забрался в мой хедер! — Казалось, что ребе не слышал ни единого звука. — Ты открыл окно? Ты забрался? Как ты смел?

— Нет! Нет!

— Ага! — он не обращал никакого внимания на возражения Давида. — Я понимаю...

И не успел Давид сдвинуться с места, как тяжелые руки ребе упали на него и потащили к плетке.

— Мерзавец! — ревел ребе, — ты забрался, чтобы стащить мои указки!

— Нет! Я их не трогал!

— Это ты крал их и раньше! — заглушил его ребе. — Хитрец! Я думал, что ты не такой! Сейчас ты получишь! — он протянул руку за плеткой.

— Нет! Я пришел за книгой! Синей книгой, в которой уголь! Человек и уголь!

Не ослабляя своей железной хватки, ребе опустил плетку.

— "Человек"! Уголь"! — Ты хочешь одурачить меня? — но неуверенность уже закралась в его голос. — Перестань орать!

И таща за собой Давида, он выдернул ящик стола, в котором хранились указки. Одного взгляда было достаточно. Он задвинул ящик обратно.

— Какой человек? Какой уголь?

— Здесь в книге! Человек, к которому притронулся ангел. Мендель читал. Исайя! — Имя неожиданно вернулось к нему: "Исайя!"

Ребе посмотрел на книгу, словно хотел испепелить ее взглядом, потом его глаза медленно поднялись к лицу Давида. В тишине его затрудненное, астматическое дыхание было громким, как храп.

— Скажи мне, ты забрался сюда только затем, чтобы читать книгу? — его пальцы на плече Давида ослабли.

— Да! Про Исайю.

— Но что ты от нее хочешь? — Он развернул ладони, как бы подчеркивая весомость вопроса, — ты можешь понять хоть слово хумаша?

— Нет, но я помнил, и я... я хотел прочесть.

— Зачем? — Из-под его котелка, сдвинутого на затылок произвольным жестом, показался черный краешек ермолки. — Ты что, спятил? Не мог подождать, пока я приду? Я бы сам заставил тебя начитаться вдоволь.

— Я не знал, когда вы придете.

— Но почему ты хотел прочесть? И почему такая спешка?

— Потому что я видел уголь, как у Исайи.

— Какой уголь? Где?

— Там, где вагонетки. На Десятой улице.

— Вагонетки? Ты видел уголь? — Ребе закрыл глаза, совершенно сбитый с толку.

— Да. Там сильный свет внутри, за дверцами!

— Что! За дверцами? Ты видел свет за дверцами? Чтоб постиг тебя черный год!

Вдруг он остановился. Его лоб потемнел. Его борода задралась вслед за откинутой назад головой.

— Ха! Ха! Ха! Ха! — Трескучие залпы смеха вдруг вырвались из пещеры рта под усами.

— Ха! Ха! Ха! Ой! Ха! Ха! Ха! Надо же такое сказать! — Быстрым взмахом руки он надвинул на голову соскальзывающий котелок. — Он видел свет! Ой! Ха! Ха! В топке! Ой! Ха! Ха! Я лопну, как селедка! Вчера он слышал кровать в громе! Сегодня ему является видение в мусорной топке! Ой! Ха! Ха! Ха!

Прошло много времени прежде, чем ребе уговорился.

— Дурак! — выдохнул он, наконец, — иди и бейся головой об стену! Божественный свет не горит там, где сжигают мусор...

Пристыженный, и все же успокоенный, стоял Давид перед ребе, глядя в пол. Ребе не знал так, как знал он, что это был за свет, что он значил и что он ему рас-

крыл. Но он больше ни о чем не будет рассказывать. Достаточно и того, что свет спас его от наказания плеткой.

Коротко и мрачно хмыкнув, ребе двинулся с места и повесил пальто и котелок на гвоздь. Вернувшись, он ушипнул Давида за ухо.

— Садись и читай, дурачок, — приказал он снисходительно. — И если ты еще раз заберешься в хедер, когда меня здесь нет, тебя ничто не спасет, даже свет.

Давид устроился на скамейке. Ребе вытащил потрепанную книгу и выбрал себе указку.

— Начинай! — сказал он.

Изо рта Давида полился непрерывный, хаотический поток звуков. Они казались такими смешными! Рябь смеха задрожала в его животе. Он увеличил скорость чтения, чтобы не засмеяться. Но рябь превратилась в волны. Огромная радость билась в его горле. Быстрее!

— Ну-у! — Ребе схватил его за руку. — За тобой что, дьявол гонится? Что ты несешься, как уголовник!

Невероятным усилием Давид сбавил скорость. Короткий смешок пробился сквозь его губы.

— Дурак! Ты над чем смеешься, а? — но странным образом губы ребе, прикрытые бородой, тоже вытянулись в легкой улыбке. — Читай, — проворчал он, — пока не получил по уху.

Давид нагнул голову, укусил себя за губу так, что зубы чуть не лязгнули, и продолжил чтение.

Волны смеха, плескавшиеся в нем, стали такими мощными, что он чуть было не потерял сознание, сдерживая их. У него на лбу выступил холодный пот. Он боялся, что взорвется, если не даст выхода своему разрастающемуся веселью. Почти потеряв сознание от напряжения, он закончил страницу и умоляюще посмотрел на ребе.

— Ну, иди! — тот опять ушипнул его за ухо. — Поиграйся еще с этой топкой, — погрозил он пальцем, — и тебе только смерти не будет хватать ко всем твоим несчастьям. Твоей матери следовало бы...

Но Давид уже бежал, смеясь, к двери. Он выскочил

во двор и едва успел добежать до ворот, как приступ смеха прорвал все преграды. Там, прислонившись к стене, он хохотал, пока глаза и штаны не стали мокрыми, пока он не смог стоять более и, смеясь, упал на землю, катаясь с боку на бок.

— Ги-и! Смешно! Ой! Смешно! Ох! Я писаю! Ой, смешно! Ой!

Медленно, порывами — смешки, кашель, опять смешки — припадок прошел. Он поднялся на колени, встал, покачиваясь. Внезапные беспричинные слезы побежали по щекам. Испуганный, он торопливо вытер их рукавом и спотыкаясь вышел за ворота. Его ребра отзывались болью на каждый шаг.

— Над чем это я смеялся? А теперь плачу. Сумасшедший. Весь мокрый. Ох! Надо все снять и помыться. Она увидит. Описался. Ух и смешно было! Хватит! Забудь! Псих! Не знаю почему. Буду ходить, пока не высохну...

Он повернул на запад, пошел неуверенно к Авеню С. По дороге он внимательно оглядывался, ища успокоения в знакомых картинах. Лавки стали закрываться, даже кондитерские, которые были открыты всегда, закрылись. В булочной не видно было хлеба. Вместо пончиков в окне лежал белый передник, помятый и ненужный. В мясной лавке скребли большие пни для рубки мяса. Парикмахер в белом халате брился, склонясь к зеркалу. Слесарь, стоя в дверях мастерской, оттирал свои черные руки керосином. Проплывали лица, погруженные в улыбчивую сосредоточенность. И женщины выкрикивали, и торговцы ревели, и старые евреи с бородами бормотали, и отовсюду — из окон, с тротуаров, сверху и снизу несло приветствие:

— А гутен йонтев!*

Освобождение было в воздухе — Пасха — освобождение из Египта и от зимы, — от оков и от смерти!

...Еще мокрый! Ги-и! Буду еще ходить...

Он пересек Авеню С и продолжал двигаться на за-

*"А гутен йонтев" (идиш) — доброго праздника!

пад. Всюду дети, уже одетые в свои нарядные одежды, выходили из дверей.

Давид дошел до парка на Авеню Б и сидел там на скамейке, пока его одежда не высохла. Потом он пошел домой. Смех покинул его, и слезы ушли со смехом. Осталась глубокая, спокойная умиротворенность, немая вера. Солнечный свет мягким касанием согревал его щеки. Пела птица.

Неохотно приблизился он к своему подъезду, поднялся на чугунное крыльцо, нехотя вошел в коридор, вздохнул.

...Ги-и! Раньше здесь было темнее. Чудно. Смотри! Смотри! Свет! В углу, где детские коляски. Нет. А кажется, что есть. И на лестнице тоже. Но и там нет. Значит, в моей голове. Могу с собой носить. Чудно! Теперь здесь не так темно. Я даже не боюсь. Помнишь, каким я был? Давно. Боялся. Несся наверх, как сумасшедший. Смешной я был. А теперь я большой. Могу идти один. Могу идти медленно, медленно, как захочу. Могу даже стоять здесь и не бояться. Даже около окон, даже если никого нет в туалете, даже если никого нет во всем доме. Мне все равно. Потому что я теперь большой. Штаны уже сухие. Можно идти. Она даст мне новое белье, как уже всем детям дали. Потому что Пасха...

...Чудно. Везде вижу свет. Даже в углу, где темно. Он у меня в голове, и я теперь никогда не буду бояться. Никогда. Никогда. Никогда...

...Четвертый этаж. Все кончилось! Ги-и, я счастливый!

Он вздохнул.

КНИГА IV

РЕЛЬСЫ

1

Минуло несколько спокойных месяцев. Настало лето, Давид перешел в следующий класс, и перед ним возникла яркая, бесконечная, но неясная перспектива каникул, которая так и осталась незаполненной. Но Давид не испытывал от этого особого огорчения. Пусть другие хвастаются долгими поездками к морю, в горы или в лагерь. Для него само течение времени уже было счастьем. Тело радовалось безмятежному безделью. Ничто не порождало в нем тревоги — ни дома, ни на улице, а большего он и не желал.

Был один из дней, когда солнце замирает в небе с опущенными крыльями, — день зноя и света. Свет был таким насыщенным, что крепкие кирпичные стены едва могли сдержать его. Когда набегало облако, на секунду закрывая солнце, стены темнели, как бы отдыхая и набираясь сил для встречи с новым потоком огня.

Был конец июля.

Давид возвращался домой из бесплатной бани на Шестой улице. Он уже опять согрелся и вспотел. Ему хотелось обратно под прохладный душ. Едва человек выходил оттуда на знойную улицу, ощущение прохлады пропадало. Только волосы оставались влажными. И это было хуже всего. Человек при входе в баню щупал волосы и выгонял из очереди тех, кто уже мылся.

Время от времени Давид дышал через рот, потому что раскаленный воздух обжигал ноздри. Хотя он даже не дошел еще до Авеню С, улица была такой безлюдной, а солнце таким ярким, что он уже видел блестящие медные перила своего дома. Он взглянул на часы в аптеке на углу, они показывали четверть десятого. Повозки отца не было видно. Хорошо! Он уехал. Несмотря на общую умиротворенность тех дней, Давиду все же было легче, если отец отсутствовал. Хорошо! Можно сейчас не думать о нем. Можно подняться домой и съесть второй завтрак. Потом он будет сам себе хозяин до самого вечера. Он пошел быстрее.

Но что они там делают?

У противоположного тротуара на Авеню Д кружком сидели на корточках четверо или пятеро мальчишек. Их резкие голоса будоражили покой улицы. Двух из них он узнал — они жили где-то на Девятой улице. И еще там был Ицци, который ходил в тот же хедер, что и он. Над чем это они так сосредоточенно сгруппировались? Приближаясь к своему дому, он увидел, как из центра их кружка поднялась тонкая спираль дыма, встреченная криками возбуждения. Он поднялся на цыпочки, чтобы заглянуть поверх их голов. Черный ящик? Красный? Нет. Это заслуживало более пристального рассмотрения. Давид пересек Авеню и приблизился.

— Я ж говорил! — кричал один из них. — Смотри, как горит! Теперь клади! Дай сюда.

Заглянув меж голов, Давид увидел ржавую игрушечную печку и выползающие из нее бледные, желтые язычки пламени. Из трещин выползал дым. Дверца печки была открыта. Между ногами мальчика, разжигающего печку, лежал коричневый бумажный пакет, довольно большой, но свернутый в тугую свиток. Лица мальчишек разругались. Они болтали и терли покрасневшие от дыма глаза. Один с силой дул на пламя.

— Что вы делаете? — Давид потянул Ицци за рубашку.

— Мы сейчас будем есть!

— Что? Что есть?

— Кукурузу! Видишь? — Он показал на пакет. — Стоит никель. Это для цыплят. Из машины выпал.

— Ого!

— Ты тоже получишь, если подождешь.

— Да?

— Да! Это вкусно. Куши нашел на перекрестке.

Куши развернул пакет и высыпал желтые зерна в печку.

— Помешай! — посыпались советы, — помешай палочкой. Теперь закрой. Ух! Наедемся!

— Давайте достанем соли, — предложил Куши, — эй, Тойк, ты живешь на первом этаже. Сходи!

— Да ну-у! Мы и так слопаем!

— Видишь? — сказал Ицци, — ты получишь, если подождешь.

Обрадованный такой перспективой, Давид протиснулся между ними и тоже присел на корточки. Печка дымила и раскалялась все больше и больше по мере того как в нее подкладывали топливо. Лица были залиты потом.

— Уже горячо! — решили они, наконец, — наверно, готово. Открывай, Куш! Возьми палку. Уй! Кукуруза!

Концом палки Куши открыл дверцу. Головы сомкнулись. Внутри, на раскаленном дне, лежали бывшие желтые зерна, теперь почерневшие и сморщенные.

— А, черт! — вырвался у них возглас отвращения. — Они не белые!

— Но может быть мы все равно можем их съесть, — успокоил себя кто-то. — Что они — не кукуруза?

— Клянусь, клянусь, это вкусно! Я первый попробую. Положи мне на ладонь. Ух! Горячо!

— Да-ави-ид! Да-ави-ид!

— Я? — он испуганно оглянулся.

— Да-ави-ид!

Это мать, высунувшись из окна, звала его.

— Что-с-о?

— Подними-ись!

— Сейча-ас!

Ее голова исчезла.

Это было странно. Она почти никогда не звала его из окна. Что это она? Он вздрогнул. Перед их домом стояла повозка отца. Это было еще более странно. Что ему делать дома в такой час? Наверное, что-то случилось. Обеспокоенный, Давид перешел улицу, вглядываясь в черную лошадь. Может быть это какой-нибудь другой молочник? Нет, это Билли, мощный черный конь, которого недавно получил отец. Нехотя вошел в подъезд, поднялся по лестнице и, задержавшись на минуту, открыл дверь. Да, знакомая голубая шапка и черный кнут. Отец, уже за столом, взглянул на входящего Давида и обратился к маме:

— У тебя еще осталась сметана?

— Сколько угодно, — ответила она и улыбнулась Давиду, — и лук тоже есть.

— Хорошо... — и к Давиду: — Помой руки и садись.

Ничего не понимая, Давид направился к раковине. Когда он вернулся к столу, мать уже накрыла ему завтрак и обед вместе, его любимые вещи: золотистая копченая белая рыба, огурцы и помидоры, черный хлеб, сливы. Его рот стал влажным. Все тревоги моментально заглушило пробудившееся чувство голода. Он снял кожу с белой рыбы, как золотую обложку с книги. В этот момент отец сказал, решительно кивнув:

— Как кончишь, будешь ждать у повозки.

Давид вопросительно взглянул на мать.

— Ты пойдешь с отцом, — объяснила она.

— Я?

— Да! — ответил отец. — И не подсакивай, точно ангела тьмы увидел.

— Это ненадолго, — успокоила Давида мать, — на час... Не так ли, Альберт?

— Может и дольше, — последовал ответ.

— Не забудь про хедер. Летом они начинают раньше.

— Я сказал тебе, что он будет там вовремя. Если он не увидит, как я зарабатываю ему на хлеб, начнет думать, что я выигрываю у Бога в карты.

— Я не хотела...

— Да! Да! Да! Другой ребенок уже давно бы ездил со мной, просился бы. Ну, хватит об этом. Жди меня у повозки.

На несколько минут воцарилась тишина.

— Хорошо, что я взял лишний кусок льда, — сказал отец, жуя, — а то бы мне не хватило при такой жаре. — Но все равно лето лучше, чем зима.

— По крайней мере дорога не скользкая.

— Да. И видно лестницу даже в четыре утра. И ручки бидонов не жгут, как огонь, кожу сквозь перчатки.

— Все это очень горько, Альберт.

— М-м! — промычал он. — Что ты можешь знать. Я продаю свои дни за горсть серебра и немного бумаги — шестнадцать грязных бумажек в неделю. И мне не выкупить эти дни ни за какое золото. Этого достаточно, чтобы сделать человека зверем.

— Но другие люди тоже работают.

— Можешь мне этого не говорить!

Опять была тишина. Отец ел, мрачно уставившись в стол.

— И ты бы действительно хотел получить назад свои дни? — Она села и сложила руки на коленях.

Он фыркнул: — Что за вопрос!

— А я — так нет.

— Ты говоришь о днях, подобных этим?

— О любых.

— Хм! — хмыкнул он, — тебя не беспокоит, что скоро станешь бабушкой?

— Нет, — она улыбнулась, и обратила взгляд своих больших темных глаз к потолку, — хоть завтра.

— Ну и дура же ты!

— Чтоб я могла сказать, как моя бабушка: "Конечно. Я вошла в солнце, я вздохнула один раз и вдруг стала бабушкой. Выбросьте часы прочь!"

— Она что, умнела к старости? — спросил он со сдержанным сарказмом.

Затем он оттолкнул тарелку, тяжело дыша, и провел своими обветренными сильными пальцами по редющим волосам.

— Что-нибудь еще? — спросила мать.

— Нет, — он встал и потянулся. Сонливость медленно оплетала его безразличное лицо. — Не позднее половины одиннадцатого.

— Я разбужу тебя, Альберт.

Он ушел в спальню и прикрыл за собой дверь. Скрипнула кровать...

— Мам! — прошептал Давид.

— Да, мальчик?

— Чего он хочет?

— О! Один молочник порезал себе бутылкой руку, и они разделили между собой его маршрут.

— А зачем я ему нужен?

— Он будет разносить молоко по домам. И он хочет, чтобы ты сидел в повозке, когда он будет отлучаться.

— А-ай! Я не хочу с ним ехать.

— Я знаю. Я тоже беспокоюсь, — призналась она. — Тот молочник всегда ездил с собакой. На этот раз ты будешь вместо собаки, — она улыбнулась. — Но это всего один раз. Тебе понравится. Увидишь новые улицы. И когда лошадь бежит — прохладнее.

Он обиженно крутнул головой. Ее слова пробудили в нем нехорошие предчувствия.

— Поезжай! — попросила она. — Только один раз.

Он мрачно ковырял в тарелке.

— А где эти дома?

— Совсем недалеко. Двадцатая улица. Кажется, так он сказал.

— Это-таки далеко!

— Шш! — она беспокойно посмотрела на дверь спальни, — доедай!

— Только этот бок рыбы, — мрачно сказал он.

— Она тебе больше не нравится?

— Нет.

— Чего ты так боишься? Мы не навсегда расстаемся! Допивай молоко.

Но аппетит исчез. Только после долгих уговоров она заставила его доесть завтрак.

— Можно я пойду? — спросил он, вставая.

— Ты не хочешь подождать здесь? Дома прохладней, чем на улице.

— Нет, я пойду.

— Хорошо, — вздохнула она, — только жди у повозки. — Она нагнулась и подставила ему лоб для поцелуя. — И приходи домой сразу после хедера.

2

Он спустился по лестнице и, выйдя на улицу, нетерпеливо глянул в сторону Авеню Д. Он хотел вернуться к печке с кукурузой, чтобы отвлечься от своих неприятностей и в то же время быть недалеко от отцовской повозки. Но мальчишек уже не было. Печка лежала у тротуара — смятая куча железа. Очевидно, они отплатили ей за непокорность. Но куда же они делись? Ушли поесть, наверное. Но еще не время ленча. Еще только десять часов.

Опечаленный, уселся он на верхней ступеньке крыльца, там, где тень у подъезда переходила в раскаленный зной улицы. Прямо перед ним под ярким солнцем лошадь с боками, покрытыми пеной, била копытом и отмахивалась хвостом от мух. Осоловевший от жары город тихо гудел в отдалении. Давиду не хотелось ехать с отцом. Он стал искать, что могло бы избавить его от этой поездки.

Вдруг он услышал топот бегущих ног. С криком "Вот!" Куши и еще один мальчик пронеслись мимо подъезда и остановились у повозки.

— Вот хорошее колесо, Макси, — Куши присел, чтобы рассмотреть втулку поближе. Давид заметил у него в руке плоский кусочек железа с привязанной к нему ниткой.

— Да, приличное. — Макси с короткой палкой в руке присел рядом. Движимый больше любопытством, чем недовольством, Давид поднялся.

— Эй, чего вам надо? Это повозка моего отца!

— А ты что шумишь? — отпарировал Куши, торопливо глянув через плечо.

— Мы ничего не берем, — объяснил Макси, — только мазь с оси. — Он с видом знатока ковырял палкой во втулке.

— Глубже! — руководил Куши.

— Что вы хотите делать? — Давид спустился с крыльца.

— Удить, — Макси вытащил большой черный сгусток смазки, — на Десятой улице. Мы первые! Мы первыми ее увидели, вместе!

— Смотри, — прервал его Куши, — не урони!

И с криком "Нашли! Нашли!" они бросились к Аве-ню Д и исчезли за углом.

Озадаченный, борясь с желанием присоединиться к ним, Давид смотрел им вслед. Отец сказал — пол-одиннадцатого. Еще есть много времени. Он успеет посмотреть, что они делают, и вернуться, пока отец спустится. Никто не узнает.

Незаметно для себя он приблизился к углу и обогнул его. Они сказали — на Десятой улице, это следующий квартал. Идти или нет? В последний момент он решил не идти. Слишком рискованно. Он дойдет до новой фотографии и вернется. Витрина фотографии была увешана портретами, большими и маленькими. Свадебные портреты — женихи и невесты, стоящие в застывших позах, с натянутыми улыбками. Сидящие на корточках боксеры. Сидящие на стульчиках маленькие девочки, держащие муфты там, где их пухлые ножки соединялись с торсом. Маленькие мальчики, вечно лежащие на животиках. И ужасные, увеличенные портреты старух и стариков, цветные и резкие, с потемневшими впалыми щеками, с морщинами, похожими на те, что образует ветер на песке. Портреты. Портреты. Как они делают большие из маленьких? И этот стеклянный цилиндр на верху витрины. Откуда в нем берется этот странный зеленый свет, что так изменяет лица прохожих?

Теперь лучше вернуться. Но до Десятой улицы совсем немного. Он только взглянет разочек и уйдет.

Те же ребята, что окружали печку, собрались теперь

на тротуаре перед деревообделочной мастерской. Давид стремительно подбежал к ним. Затаив дыхание, молчаливые, увлеченные, стояли они на коленях на железной решетке над окном подвала. Все лица были обращены вниз, глаза прикованы к чему-то в яме под решеткой. Никто не оглянулся, когда Давид втиснулся между ними. Куши удил. Давид присмотрелся. Яма была глубокой, и требовалось какое-то время, чтоб глаза привыкли к полумраку. Но, прищурившись, он, наконец, различил что-то серебряное, тускло мерцающее внизу. Это была монета. И над ней, раскачиваясь, как маятник, висел кусочек железа, направляемый рукой Куши. Когда глаза привыкли, Давид заметил, что это было грузило, покрытое смазкой.

— Опускай! — прошептал кто-то, — оно точно над ней!

— Заткнись! — огрызнулся Куши.

Грузило опускалось, и его колебания постепенно уменьшались. Потом оно замерло над монеткой и метнулось к своей добыче.

— Легче, Куши! — закипели советы, — легче! Прилипла, ставлю миллион! Тише! Тише!

Выпучив глаза, Куши потянул за нитку с беспредельной осторожностью. Грузило вздрогнуло и поднялось. Монета, измазанная маслом, даже не шевельнулась. Послышались возгласы разочарования.

— Сейчас схватишь по носу, — прорычал покрасневший Куши.

— Ничего, подождите! — язвительно сплюнул Макси, — потом еще просить будете. Давай, Куши ты еще ее достанешь! Давай!

Теперь напряжение спало, и развязались языки.

— Видишь! Говорил тебе, что с этой железкой не выйдет! Надо было взять что-нибудь другое. Я б ее достал, если бы ты не шумел.

— Тебе вовек не достать, — объявил Ищи, — я могу достать.

— Яйца ты достанешь!

— И я тебе не скажу, как, — добавил Ицци с ненавистью.

— Яйца ты достанешь, — повторил Куши.

— Да?

— Да!

Они замолчали, и Куши опять опустил грузило. Но оно снова поднялось без монеты. Он попробовал еще раз. Чем больше смазка касалась монеты, тем темнее она становилась, тем больше сливалась с фоном и тем труднее ее было разглядеть. Минуты шли. Пока Куши удил, остальные давали волю своему воображению. Они мечтали о кино и об орехах.

Монета стала почти невидимой, но Куши продолжал удить, отказываясь от предложений поплевать на нее, чтобы она стала чище. Увлеченный происходящим, Давид забыл о времени.

— Ты ее никогда не достанешь, — сказал Ицци.

— Ты что, калекой хочешь стать? — зловеще отозвался Куши. Было заметно, что долгое напряжение истощило его терпение.

— А ты не спеши меня жалеть, — пробормотал Ицци.

— Хочешь, чтобы я тебе показал? — грузило предупреждающе звякнуло об пол ямы.

— Ох, какой страшный!

— Я сейчас плюну тебе в глаз!

— Ты и кто еще?

— Я и я! — грузило метнулось вверх, и Куши вскочил на ноги.

(Послышался далекий стук подков).

— Хочешь, чтоб я тебе доказал? — хорохорился Куши.

— Да! — Ицци тоже поднялся.

Давид съежился. Он ненавидел драки. Почему они должны драться и все испортить? — Но прежде, чем они кинулись друг на друга, громкий, властный стук испугал их всех. Давид вскрикнул и вскочил. Повозка стояла перед ними, и отец в ослепительно белой на солнце безрукавке стучал по дереву рукоятью кнута.

— Иди сюда! — крикнул он на идиш.

Давид бросился к повозке.

— Я не знал, папа! Я думал, ты... ты еще не готов...

— Забирайся!

Давид услышал шепот за своей спиной. Торопясь, он неловко ухватился за первое попавшееся, на что смог бы опереться, — за спицы колеса. Его ноги, затекшие от стояния на коленях, не слушались и соскальзывали. Жесткая рука отца схватила его под мышки и резко втащила наверх.

— Идиот! — ругался отец. — Твое счастье, что я тебя нашел. А то б я тебе!..

Он дернул поводья: "Ну-у, Билли!" — повозка покадилась.

— Почему я до сих пор не проломил тебе голову, я не знаю!

Всхлипывая, Давид прижался к ящикам, гремящим за его спиной.

— Было бы у меня время!.. Посмей только еще раз послушаться!

И, косо посмотрев на Давида злобным взглядом, он нагнулся вперед и хлестнул лошадь кнутом:

— Шевелись, Билли!

Лошадь пустилась тяжелым галопом. На Авеню С они повернули к северу. Оставив на секунду вожжи, отец повернулся, вытащил пустой ящик и поставил его рядом с Давидом.

— Садись! Только держись за края, а то еще вывалишься!

Они двигались быстро. Девятая улица осталась позади — Давиду казалось, что навсегда. Быстрая езда отвлекала отца. Давид с тоской смотрел на дома, проплывающие мимо. Он чувствовал себя странно — его почти лихорадило. Было ли это оттого, что он слишком долго глядел в темную яму, или страх перед отцом омрачал все, что он видел, — трудно было сказать. Но ему казалось, что его сознание разучилось схватывать реальные вещи. Дома, мостовые, люди на улице утратили свою обычную определенность и четкость. Что-то чужое и злобное примешивалось к знакомым

звукам и картинам мира. Свет, который был раньше таким ослепительным, теперь как-то странно померк, словно затянулся невидимой пленкой. Легкие контуры двигались и внезапно меняли форму, подобно часовым стрелкам, напоминая быстрое мигание глаз. Это было странно. Такое случалось и раньше. Какая-то необъяснимая боль наполнила его грудь. Он вдруг понял, что не осознавал, как был счастлив совсем недавно, необъяснимо свободен и счастлив — май, июнь, июль. Теперь это кончилось.

Он посмотрел на отца. Слишком большой для этой повозки, он сутулился, придерживая ненатянутые вожжи в обветренной руке. В нем ничто никогда не менялось. Пусть мир хоть перевернется, хоть покроется льдом, — он останется таким же: крепкие сжатые губы, гордые тонкие ноздри, тяжелые веки.

Они повернули на восток. Асфальт остался позади. На улицах, мощенных камнем, подковы лошади звучали резко и гулко. Повозка раскачивалась и гремела. Улицы пустели, дома становились меньше и невзрачнее. Не было видно детей. Только кошки грелись на солнце перед растрескавшимися дверями. Они повернули за угол. Между неясными контурами огромных газовых резервуаров берег реки казался краем неба. Дымка над водой сливалась с воздухом. Лошадь остановилась.

— Подвинься! — сказал отец.

Давид подвинулся. Отец достал из задней части повозки два железных ящика и нагрузил их пирамидами молочных бутылок. Потом он выбрался из повозки и вытащил за собой ящики.

— На этот раз не забывайся, — сказал он, оглядывая окрестность, — сиди здесь, слышишь? — Его короткий кивок был полон грозного значения. Потом он повернулся и понес свою ношу по лужайке к покосившимся баракам. Под его ногами поскрипывали камушки. Тропинка повернула, огибая газовый резервуар, и позвякивание бутылок затихло.

Странная тишина... На фоне сонного жужжания города было слышно, как лошадь мягко жует и постукивает копытом. Запах сырости из канавы смешивался с запахом молока. Время медленно тянулось.

Из-за угла появились двое мужчин. После отрешенного молчания улицы и нарастающего внутреннего беспокойства скрип их подошв показался Давиду приятным. Один из них, казалось, собирался перейти улицу, но его попутчик дернул его за руку, что-то сказал, и они, отклонившись от своего пути, лениво направились к повозке. Пальто были наброшены на плечи, и они на ходу вытирали лица полами. У одного штаны были подвязаны бечевкой, а у второго были подтяжки, прикрепленные к брюкам булавками. На обоих были грязные, запятнанные полосатые рубашки с оторванными воротничками. Их лица напоминали персиковые косточки. Было что-то подозрительное в том, как они приближались к Давиду, но он надеялся, что они пройдут, не останавливаясь.

— Говорил тебе, здесь ребенок, — услышал он тихие слова одного, а затем громкое: "Привет, парень!" — человек улыбался радушно и широко, обнажая свои желтые короткие зубы, круглые, как кукурузные зерна.

— Что скажешь?

— Жарко, правда? — улыбнулся второй. Слюна набегала на его выступающие вперед верхние зубы и блестела, а он лениво всасывал ее, когда она, собравшись в капли, падала обратно в рот.

Не отвечая, Давид нерешительно смотрел на них.

— Это телега твоего старика? — спросил первый, и его палец соскользнул с усиков, чтобы потереть прыщик на подбородке. — А он сам пошел с товаром, да? — Его яркие, добродушные глаза ощупали тропинку, по которой ушел отец. — Да?

— Да.

— Давно?

— Да.

— Ты хороший мальчик, да?

Второй моргнул и выставил лопаткой язык, чтобы поймать каплю слюны.

— Может, он хочет посмотреть газовый завод? Пошли, быстро!

— Еще бы! Могу заложить свою рубашку, он хочет! Ты когда-нибудь был на заводе?

— Нет! — ответил Давид с тревогой. Ему хотелось, чтобы они ушли.

— Нет? Ну, мы тебе все покажем!

— Нет!

— Боишься? — Он нагнулся и заглянул в повозку.

— Скажешь тоже, боится, — фыркнул второй. Он встал так, чтобы видеть тропинку.

— Пошли! — уговаривал первый, — мы покажем тебе все огни — самые большие печи в Нью-Йорке. Там твой отец.

Он вдруг выбросил свою грязную руку с черными ногтями и схватил Давида за штаны. Но тот вырвался и отпрянул.

— Нет! — внезапный страх заставил его вцепиться в стенку фургона. — Нет! Я никуда не хочу идти! Оставьте меня!

— Становится жарко, Оги?

Второй закудахтал:

— Нет, Уолли. Давай возьмем и слиняем отсюда.

— Да, — сказал первый, все еще улыбаясь. — Ладно, парень, покажем тебе в следующий раз. Я вижу, у твоего старика осталось немного молока. Приятного и холодного, да? Мы купим пару бутылок. Он нас знает, понимаешь?

— Что ты тянешь!

— Пару, не больше, — он сдвинул лед и спокойно вытащил две бутылки молока, — мы покупаем у него каждый день. Скажешь, Хеннеси взял. Он знает. — Он передал одну бутылку второму. — Мы исправно платим, — добавил он, уходя в ту сторону, откуда появился.

— Пока, парень! Как-нибудь покажем тебе завод.

Дрожа от страха, ошеломленный, Давид наблюдал, как они ускоряли шаги, пряча бутылки в пальто, и исчезли за углом.

Он задыхался. Они стащили бутылки! Он знает! Он знал это в тот момент, когда усатый потянулся за ними. Что скажет отец? — "Ты ушел от повозки?! Когда я тебе велел сидеть здесь!.." — "Папа, нет! Я не уходил! Я думал, ты их знаешь! Они так сказали". — "Ты покинул повозку?" — "Нет!" Ох! Он придет и увидит, что нет двух бутылок. — "Почему ты их не остановил? Почему не закричал?" — "Я кричал... Я думал... Они сказали..." Он возьмет кнут...

Послышался скрип подошв по гравию. Ужас! Давид открыл глаза. Маленький между огромными газовыми резервуарами, отец шел по тропинке, глядя себе под ноги, как всегда, он торопился, позвякивая пустыми бутылками. Громче, громче, ближе... Они, казалось, гремели у Давида в голове. С каждым шагом отца у него перехватывало дыхание. У повозки отец остановился и поднял мрачные глаза, чтобы взглянуть, куда поставить ящики. Их взгляды встретились. Первый ящик задержался в воздухе на мгновение перед тем, как грохнуться о дно повозки.

— Что случилось?

Давид заплакал.

— Что случилось? — резко потребовал отец. — Говори!

— Бу... бутылки, — заикался он, — они взяли...

— Что? — Отец разгреб лед. — Кто взял?

— Два дяди, — рыдал Давид.

— Кто? Перестань вопить!

— Два дяди. Один высокий, а второй короткий. Они сказали — Хеннеси.

— Хеннеси? — отец склонил голову, все больше мрачней. — Они сказали, где работают?

— Нет!

— А ты где был? — Губы отца стали тонкими, голос изменился на полуслове, наливаясь гневом.

— Я был здесь! Папа, я был здесь! — заторопились заранее приготовленные слова. — Они пришли и сказали, что ты их знаешь, и я думал, ты их знаешь. И они взяли...

— И ты позволил? Проклятый идиот! — Он бросил второй ящик на повозку и впрыгнул вслед за ним. — Куда они пошли?

— Туда! За угол!

— Опять я должен платить! — прорычал отец. — Ну-у! Ну-у, Билли! — Он стегнул кнутом. Лошадь кинулась вперед. Загремели колеса. "Ну-у!" Снова кнут. Подковы загремели в мощном галопе. Повозка запрыгала, накренилась на скрипучих осях при повороте. Пустые бутылки звенели в ящиках. Отец, гневно двигая челюстью, с горящими глазами, окинул улицу быстрым взглядом. Она была пуста, залита солнцем и пуста.

— Где они? — бормотал отец дергающимися губами. — Ах, только бы попались они мне!

Но их нигде не было видно, хотя Давид ошупывал глазами каждый подъезд и угол. Они исчезли. Лошадь неслась вперед.

Вдруг на следующем перекрестке они увидели двух мужчин. В их руках блестели пустые молочные бутылки.

— Они?

— Они!

— Ага! — сдавленный крик бурлил в его горле. — Ну-у! Билли, ну! — Он яростно дернул левую вожжу. Лошадь забралась на тротуар. Повозка втащиась за ней, с грохотом раскачивая груз.

— О, Боже, Оги! — закричал высокий, — он гонится за нами!

Они неуклюже побежали, и низкий сразу отстал. Повозка настигала их. С хриплым криком маленький замедлил на миг свой бег и взмахнул рукой. Тяжелая бутылка повисла в солнечном свете и взорвалась, как бомба, перед носом лошади. Билли поднялся на дыбы, трясая головой, с дико выпученными глазами. Через

секунду вторая бутылка взлетела в воздух и разбилась о камни, не попав в лошадь. Снова щелкнул кнут.

— Сейчас я вас! — Отец скрипел зубами. — Сейчас!

И Давид знал, что они обречены.

На углу, когда между ними и лошадей оставалось всего несколько ярдов, они, как по команде, бросились в противоположные стороны. Отец повернул за высоким. Через секунду лошадь настигла его. Отец последний раз дернул вожжи и кинул их Давиду.

— Держи, ты!

С кнутом в руках он прыгнул с повозки на землю. Беглец колотил в какую-то дверь, которая не открывалась.

— Ты что за мной гонишься? — Его желтые зубы оголились, в глазах горели страх и бешенство.

— Ха! — Рычание отца было похоже на смех, но его зубы скрипели. — Ты взял мое молоко!

— Я? Что ты мелешь? Я никогда его не видел.

— А бутылки, что ты бросал?

Это было похоже на игру. Давид знал, что ответы не имели никакого значения. Почти в обморочном состоянии он ждал конца.

— Да! Я бросал! — Он пытался выглядеть грозным. — Чтоб ты в следующий раз знал за кем гнать...

Свиш! Визг кнута срезал его слова. Длинное, жесткое жало обвило его плечи.

— Оо-о! — завопил он от боли и бешенства, — проклятый жид! Ты меня бить!

Он бросился на отца, молотя руками.

— Ха!

Опять этот крик ликования. Длинная, жесткая рука взметнулась и отбросила противника, а вторая взвилась с кнутом. Опять! Опять опустил кнут! Было невыносимо это видеть. Давид закричал. Отец вдруг отбросил кнут. И пока его противник, воющий от ярости, собирался с силами, он поднял кулак и, крикнув от напряжения, ударил его по шее.

— Ух! — тихий, почти детский стон вырвался из от-

крытого рта. Потом мужчина согнулся, соскользнул по ногам отца и упал на землю. Еще раз он пошевелился, и шапка скатилась с его головы. Больше он не двигался.

Еще секунду отец возвышался над ним, и бешенство, казалось, висело вокруг него в воздухе. Потом, бросив свирепый взгляд на пустую улицу, он поднял сломанный кнут, забрался на повозку и хлестнул лошадь концами вожжей. Животное прыгнуло вперед. Быстро покинули они эту улицу, повернули на юг и затерялись в потоке машин.

Минуты проходили в кошмарном молчании. Мало-помалу лицо отца из темного становилось серым, а свирепый огонь его глаз как бы покрывался туманом. Из его трясущихся рук по вожжам побежала рябь. Его хриплое дыхание стало громче, вылетая из горла короткими стремительными рывками, от которых челюсть дрожала, как на пружинах. Последний раз Давид видел его таким в Браунсвилле. Весь прежний ужас вернулся к нему.

— Ты! — произнес, наконец, отец, и его слова были такими жесткими, что губам почти не удавалось выговаривать их. — Неверный сын! Ты виноват!

Его рука рванулась. Точно жала змеи концы вожжей хлестнули дважды Давида по плечу. Но он не чувствовал ударов. Он был скован ужасом.

— Только скажи что-нибудь матери, — продолжал отец сдавленным голосом, — я изобью тебя до смерти! Ты слышишь!

— Да, папа.

Среди скопища трамваев и машин они медленно двигались к Девятой улице.

4

Больше не было сказано ни слова. Повозка, прогремев по трамвайным рельсам, остановилась у тротуара.

— Вылезай, идиот. — Голос отца прочистился и снова

стал резким. Его лицо приобретало обычный цвет. — И помни, что я сказал, — молчи!

Давид спустился на землю.

— И не заблудись! — бросил отец вдогонку. — Иди прямо в хедер!

— Да, папа. — Давид чувствовал, как глупо он выглядел.

— Ух! — выдохнул отец с отвращением, — живо!..

Потом повернулся к лошади, и повозка загремела дальше к северу.

Давид перешел улицу и с дрожью в ногах направился к хедеру.

...Нельзя говорить ей! Нельзя! Ох!

Как мог он носить это в себе! Стоило ему опустить веки хоть на секунду, и ужасные сцены этого часа вспыхивали перед ним, как на экране. Блеск газовых резервуаров, камни, канавы, зловещие улицы, черная арка кнута, еще висящая в воздухе, хотя кнут уже опустился, искаженное лицо и рука, поднятая рука. В бессмысленных звуках улицы он еще слышал шорох их подошв, криканье отца, удар кулака, вопли боли и ярости. Эти страшные образы не уходили, а прикипали к мозгу, как припаянные. Что-то случилось! Что-то случилось! Даже Девятая улица, его собственная Девятая улица, была охвачена чем-то, что чувствовалось, но не поддавалось объяснению. Лица, которые он видел так много раз, что перестал обращать на них внимание, покрылись пятнами теней, стали плоскими, наполнились отчаянием и причудливостью, которых он никогда не замечал прежде. Коридор хедера, рисунок мелом, мерцающий на стене, затоптанный линолеум казались непостоянными, зловещими и бесконечными. Он почувствовал старый страх коридоров и неожиданно для себя ускорил шаги.

Что-то случилось. Он тупо опустился на скамейку, посмотрел на учеников и отвернулся. Их пререкания и болтовня утратили смысл. Не осталось ничего, кроме серого и пустого идиотизма. Околдованный и глухой мир. Будто он воспринимал все звуки сквозь зевок

и смотрел на вещи глазами, наполненными водой. Когда прорвется эта дымка, окутавшая его чувства?

Если б он только мог сначала побежать домой, если б он мог рассказать все маме...

Время тянулось мучительно долго. Хедер наполнялся. К счастью, он пришел рано. Скоро прочтет и сможет уйти. Он услышал свое имя, произнесенное где-то далеко, словно за стеной. Он встал, дотащился до скамейки у стола ребе и сел.

— Ты какой-то бледный, — сказал ребе шутливо, разглаживая книгу. — Тебе нехорошо? А?

— Нет.

— А почему ты не ждал своей очереди на скамейке?

— Я не знал.

— Вот это новость! — Ребе саркастически поднял брови. — Начинай!

Давид начал читать, но скоро запнулся.

— Что тебе мешает? Ты точно слепой сегодня.

Не отвечая, он читал дальше. Буквы толпились, расходились, растягивались. Телеграфные столбы, камни, тропинки, покрытые гравием, фонари на кучах земли. Кнуты в воздухе. Он снова и снова запинаясь, останавливался, поправлялся, двигался дальше. Ребе начал тихо постукивать указкой.

— Ты сегодня что-то натворил, а? — Он склонил к Давиду свое волосатое лицо и с недоверчивой улыбкой уставился ему в глаза. Запах табака. Пот. Заросшие волосами ноздри. Нос в красных пятнах. Влажные десны с вставными зубами. Неприятно. Давид отодвинулся.

— Одно дельце, но славное, да? Да? — Он повысил голос. — Отвечай! Ты что, немой?

— Нет, — угрюмо, — ничего не натворил.

— Почему же ты так мямлишь? А? Посмотри на меня!

Давид вскинул глаза и опять опустил их.

— Порази тебя огонь! — из-под его пальца сердито выстрельнула и перевернулась страница. — Дальше!

Давид подождал, пока страница легла, и весь сосре-

доточился на буквах. Это напряжение лишило его последних сил, и он стал еще чаще запинаться. Голова опускалась все ниже и ниже к книге. В конце концов он получил пощечину от ребе.

— Уходи! — сказал тот едко. — На сегодня хватит! На весь год хватит! Иди домой и долго сиди в тишине, пока не поумнеешь!

Едва слыша, Давид соскользнул со скамейки.

— И запомни! — предупредил ребе, — завтра за это будет порка.

Давида проводили издевками:

— Умница! Осел! Получил, вонючка? Завтра с него снимут штаны! Отец задаст ему кнутом. Я видел...

Он обернулся. Голос Ицци снизился до шепота. Давид выбежал из комнаты.

...Ненавижу его! Вонючий рот! Ненавижу их всех. Боюсь. Мама!...

Уже предчувствуя ее спасительные объятия, он побежал к дому.

...Только бы отца не было дома! Только бы не было!...

Ему оставалось всего несколько ярдов до дверей, как вдруг громкий крик над головой остановил его. Он посмотрел вверх. Положив жирную грудь на подоконник второго этажа, женщина возбужденно кричала: "Беатрис! Беатрис! Скорее!"

Она рискованно высунулась из окна, пытаясь заглянуть в свой собственный подъезд. На улицу выбежала девочка с косичками и лентами, мотающимися за нею в воздухе. Давид смотрел на них с удивлением.

— Где она, мама? — девочка стояла на тротуаре и кричала, подняв голову.

— Вон! Смотри! На красном доме!

— Где? Не вижу!

— Идиотка! Вон, на третьем этаже!

С открытым от удивления ртом девочка уставилась на дом напротив.

— Да! — взвизгнула она, — вижу! Вижу!

— Ну! Поймай ее. Беги! Беги!

Собралась небольшая толпа, дети и взрослые. Среди них металось лицо Куши.

— Эй, что случилось? Зуг, вус из?*

— Вон она! На том доме! — лепетала девочка и показывала пальцем.

— Кто?

— Канарейка! Мамина! — и, подчиняясь настойчивому зову матери, она побежала через улицу.

— Она вылетела из клетки! Я дам награду!

Не успела она вбежать в дом, как из ниши в его стене вылетела яркая желтая птичка. Она неуверенно попорхала и метнулась через улицу на карниз соседнего дома. Немного посидела там и взлетела на крышу.

— Вон! Вижу! — толпа возбудилась. — Не может летать! Поймайте ее! Она даст награду!

— Моя крыша! — один из мальчиков сорвал с себя шапку и бросился к двери.

— Я поймаю ее шапкой!

— О-кей! — Куши рванулся за ним, — награда!

— О-кей! — последовал за ними третий.

— О-кей! — и четвертый исчез в дверях.

Через несколько секунд голова девочки с косичками показалась в окне.

— Улетела! — сообщили ей голоса из толпы. — На крышу через улицу!

— Мама, она улетела! — закричала девочка.

— Видела уже, — ответила мать, — теперь она умрет!

Головы матери и дочери скрылись. Люди в толпе вертелись, осматривая небо. Птицы не было видно.

— Как же, поймают они ее! Как вчерашний день!..

Толпа медленно расходилась.

...Мама!

Давид очнулся.

...Я глупый осел! Быстрее!

Он взбежал на крыльцо, но в дверях замялся. Снова закололо в корнях волос на голове. Он не мог заставить себя войти в темноту. Там опять таились все ста-

*Зуг, вус из? (идиш) — Скажи, что такое?

рые страхи. Почему они вернулись? Разозленный до слез своей собственной трусостью, он стал ходить по крыльцу, то прислушиваясь к звукам в коридоре, то оглядывая улицу в поисках знакомого лица. Наконец, он услышал, как где-то наверху в доме хлопнули дверью. Он прыгнул в коридор и бешено помчался вверх по лестнице. Между первым и вторым этажом ему встретилась толстая женская фигура. Протиснувшись мимо нее, он бросился дальше, вслушиваясь в звук ее шагов. На четвертом этаже он кинулся на дверь. Она была заперта!

— Мама! — закричал он.

— Это ты, Давид? — послышался ее испуганный голос.

Какое облегчение!

— Да, мама, открой! — нога, которую он занес, чтобы от страха и ярости стукнуть в дверь, медленно опустилась на пол.

— Подожди! — сказала она торопливо. — Я открою через секунду.

Что она там делает? И, как бы в ответ, он услышал всплеск воды, за которым последовало торопливое шлепанье капель. Она мылась в раковине, а теперь она вылезает. Скрипнул стул, точно она встала на него, потом звук ее мягких подошв на полу.

— Еще секундочку, — просила она.

— Хорошо, — отозвался он.

Тишина. Шаги удалились, вернулись. Дверь открылась. И свет, который она выпустила, был как бы клином: туманная, мучительная дымка, замутнявшая его чувства, вздрогнула и расступилась, цвет и контур, звук и запах вернулись к вещам.

— Мама!

— Я не хотела держать тебя за дверью, — она была босая. Ее выцветший желтый халат, потемневший от воды, прилип к груди и бедрам. — Но я торопилась как только могла. — С блестящих темных волос вода все еще стекала на полотенце вокруг шеи. Обычная бледность и гладкость ее шеи и лица светилась сквозь

капли воды. — Что ты так смотришь? — она улыбнулась, плотнее запахнула халат и закрыла дверь.

— Это не важно, что я ждал, — он улыбнулся вслед за ней. Он чувствовал, как его смятение постепенно сменяется покоем.

— Но ты набросился на дверь с таким бешенством, — засмеялась она. И прижав мокрые волосы к груди, она нагнулась и поцеловала его. Теплая, слегка пахнущая мылом влажность ее тела, невыразимо сладкая.

— Я так рада, что ты вернулся.

...Где отец? Дверь спальни была открыта. Никто не лежал на кровати. Никого. Какая радость!

— Ты вся мокрая! — захихикал он вдруг, — и пол тоже!

— Да. Надо вытереть, — она подхватила мокрые волосы полотенцем. — Половина воды на полу. Я прямо кубарем выскочила из раковины. Не знаю, почему я так боюсь за тебя? — Она погрузила руку в раковину и вытащила пробку. Вода зашипела и забурлила. На фоне окна вырисовывались туманные контуры ее тела. Сквозь желтый халат на бедре и колене просвечивало розовое.

— Ну что, много ты увидел, катаясь на повозке?

Он резко мотнул головой.

— Нет? — ее улыбка угасла. — Почему такой поникший вид?

— Я ненавижу! Ненавижу! — это было все, что он мог сказать, не расплакавшись.

— Почему? — она посмотрела на него с удивлением. — Что случилось?

— Ничего. — (Нельзя говорить. Нельзя!) — Не понравилось, и все.

— Робкое сердечко! Я знаю. Но завтра ты не поедешь. Даже если этот молочник не поправится, кто-нибудь другой поедет.

— Никогда?

— Что никогда? Не поедешь?

— Да.

— Да, никогда, — она села, завернув полотенце смешным тюрбаном на голове. — Иди сюда.

Он неуверенно улыбнулся и подошел к ней. — Ты смешная.

— Да? — она посадила его на колени. Было так приятно прижиматься к ее груди, что заглохли все обиды. — Тебе не нравится быть молочником?

— Нет.

— И даже помогать молочнику?

— Нет.

— А кем бы ты хотел быть?

— Не знаю.

Она засмеялась. Как приятен этот звук.

— Сегодня утром в мясной лавке одна женщина сказала, что ее сын хочет быть великим врачом. "Благословенна твоя жизнь", — подумала я. "А сколько лет твоему сыну", — спросил мясник. Она сказала: "Семь". И мясник промахнулся, разрубая большую кость. А ты кем хочешь? Тебе уже восемь, а ты еще не сказал мне. Но с повозкой ты больше не поедешь. Хочешь молока? Хочешь сдобные пирожки? — Она потерлась влажной бровью об его губы. — С изюмом?

— Олл райт! — закричал он, — только не сейчас.

Такая близость была слишком редкой, чтобы отпустить ее так скоро.

— О'рат, — повторила она за ним так забавно, что он засмеялся, — ну, дай мне встать.

— Нет!

— Но я должна одеться, — попросила она, — тут сквозняк.

Она поднялась, и он нехотя соскользнул с ее колен.

— Сначала я дам тебе пирожки и молоко.

Он наблюдал, как она достала из хлебницы пирожки медового цвета и налила в стакан молока.

...Повозка! Он! Ох!

Он содрогнулся.

...Забудь!

— Ты ешь, пока я буду одеваться, — сказала она. —

Есть еще, если захочешь. — И, сняв полотенце с головы, она ушла в спальню.

Он медленно жевал пирожок и с нетерпением смотрел на дверь спальни.

— Который час, Давид? — слышался ее голос сквозь шуршание одежд. Он посмотрел на часы на полке.

— Десять... Одиннадцать минут третьего.

— Третьего?

— Да.

— Он и после обеда не сможет поспать.

(Он!)

— Эта работа за двоих задерживает его. Как будто он и так недостаточно работает. Но он скоро будет дома.

(Скоро! Дома!)

Непрожеванный ком застрял у него во рту.

— Помнишь, как ты не мог сказать который час? — опять заговорила она после паузы. — Ты узнавал время по заводским свисткам. И собирал календарные листки. Где они сейчас?

(Он! Увижу его! Нет! Нет! Пойду вниз! Быстро, пока он не пришел!)

Он проглотил то, что было во рту, сунул остаток пирожка в карман и шумными глотками допил молоко.

(Возьму еще. Она будет просить.)

Он сунул в карман второй пирожок.

— Я пойду вниз, мам.

— Что! — в ее голосе звучало удивление.

— Можно?

— Ты уже доел? — Она вышла из спальни. Ее платье, поднятое на растопыренных руках, опустилось, как облако, вокруг головы, соскользнуло по шее, подмышкам, нижней юбке. — Как это ты так быстро управилась? — Ее лицо оживилось, она смотрела на стол.

— Я был голоден.

— А-а, — она подняла с шеи свои длинные волосы. — Ты еще никогда так быстро не ел. Вкусно?

— Да, — он уже пододвигался к двери.
— Ты прибегаешь и убегает, как будто тебя ждет извозчик. Но долго не гуляй.
— Хорошо.
Она расправила платье, нагнулась, поцеловала его.
— Не опаздывай к ужину.
— Да.
— И осторожнее на улице.
Он вышел и дверью закрыл себя в темноте коридора.
(Не боюсь. Чудно, забыл. Скорее...)

5

Спустившись на улицу, он перебежал на теневую сторону и пошел на запад, к Авеню С. Он внимательно приглядывался, чтобы заметить отца прежде, чем тот увидит его. Из хедера выбежал Ицци. Давид не хотел с ним разговаривать. Он еще помнил его насмешки по поводу кнута. Он прижался к какой-то витрине, но их глаза встретились. Ицци увидел его.

— Эй! — в его голосе была новая, дружеская нотка, — что скажешь? А где вся шайка?

— Я никого не видел, — осторожно ответил Давид.

— Пошли, найдем их, — Ицци схватил его за руку. — Где же может быть Куши?

— А ты его не нашел? — Давид разрешил себя увести.

— Как же! Найдешь его! А отец бил тебя кнутом?

— Нет! А он достал монетку?

— Нее! Это была не монетка. Я ему говорил. А он был сумасшедший, твой отец.

— Нет, он не был. (Почему Ицци так хочется переменить тему?) А что там было?

— Что? Монетка? Нет, я уже говорил.

— А-а!

— И ребе на тебя орал.

— Да, — с раздражением.

— Ты лучше верни ему указки, — посоветовал Иц-

щи. — Он мне однажды дал по заднице, гад! И Срулю тоже — бах! Он сумасшедший. Ставлю миллион долларов — они на Авеню Д.

Они повернули за угол. На тротуаре сидели все они.

— Видишь? Говорил тебе, — и он бросился вперед, таща Давида за собой. — Эй, братва!

— Эй, Ицци! — ответили они хором.

— Дайте сесть настоящему парню, ну-ка!

— Пусть сядет! — И они начали толкаться, освобождая место рядом с Куши.

Давид застенчиво приблизился и стал сзади.

— Ну, где ты был? — спросил Куши.

— Мы ходили с матерью, — сообщил Ицци, — и мы купили ботинки, самые лучшие на Ист-Сайд. Вы еще увидите. С кнопками и с плоскими носками для футбола. Он хотел три доллара, но мать велела мне сказать "Фу! Это плохие ботинки!" И он отдал за два. А потом я ходил в хедер.

— А я люблю с острыми носками, — сказал кто-то из ребят, — легче бить по жопе!

— Ха! Ха! Хо! Хо! — понимающе загоготала компания.

— А потом не вытащишь ногу из дырки, — холодно возразил Ицци, — что же в этом хорошего?

— А я больше люблю кеды, — сообщил еще кто-то незначительный, почти в конце ряда, — в них лучше бегать.

— А вы где были? — спросил Ицци, не обращая на того внимания.

— Мы? — Куши важно помолчал. — Мы видели канарейку.

Собравшиеся фыркнули, как будто это была двусмысленная шутка.

— Какую канарейку?

— Расскажи ему, — предложил кто-то.

— Я тоже там был! — вставил другой.

— Подождите! — торопливо осадил их Куши. — Братья мои! — и он нагнулся так, чтобы видеть оба конца ряда. — Эй вы, дети, убирайтесь отсюда. Ну!

- Нее! — запротестовали шестилетние.
- Быстро! — грозно подтвердили ребята постарше.
- Улица не ваша! — упрямылись те.
- Хочешь получить в глаз?
- Я скажу маме, — пригрозил один из малышей.
- Ты у меня сейчас получишь! — Куши припод-

нялся.

Малыши, ворча, отошли на несколько шагов.

— Ну, какую канарейку? — потребовал Ицци.

Головы сдвинулись.

— Тут у одной девицы улетела канарейка. И она орала: "Канарейка, канарейка! Я дам награду!"

— И вы получили? — не поверил Ицци, — сколько?

— Подожди. И мы ее увидели на семьсот сорок шестом. Она взлетела — рраз — и на крыше.

— Мой дом! — вмешался кто-то, — она летела...

— Заткнись! — Куши не выпускал нити рассказа, — и мы схватили шапки — и в коридор. Ее можно поймать шапкой — вот так! Без предупреждения он сорвал шапку с головы соседа и пустил ее винтом в канаву.

— Ха-ха! Хе-хе!

— Ну ты, умник! — Посмеиваясь, владелец шапки поднялся и полез в канаву. Немедленно зады сомкнулись, заполнив его место. Вернувшись, он бросился на узурпаторов, и после долгой ругани и толчков ему удалось втиснуться обратно.

— И это вся шутка? — спросил Ицци презрительно, когда порядок был, наконец, восстановлен.

— Нее! — воскликнул Куши, — это еще не шутка!

— Так что же?

— И мы побежали наверх, на крышу.

— Ну и что?

— Подожди немного, — тянул Куши, смакуя недоумение Ицци. — Мы поднялись тихо! Мы не шумели, чтобы не испугать канарейку. Потом мы ходили по крыше и искали ее. Но она улетела!

— И мы увидели другую канарейку! — Шмуэль кипел от нетерпения.

— Какую?

— Ш-ш! — Куши проверил, не приблизились ли малыши. — Мы заглянули в воздушный колодец, — знаешь, между семьсот пятьдесят первым и семьсот сорок девятым?

— Да.

От напряжения никто не шевелился. Все глаза были направлены на Куши. Давид тоже наклонился ближе.

— Мы посмотрели — и знаешь, что мы увидели? Хи! Хи! Мы видели, как тетя мылась в раковине! Хи! Хи!

...Раковина! (Давид насторожился).

— Какая тетя? — спросил Ицци.

— Не знаю. Ее лица не было видно.

— А что вы видели?

— Все! Большие титьки спереди! — Он показал руками. — Она сидела в воде!

...Она! Моя! Аа-а, моя!..

Волна стыда зажгла щеки и уши Давида, и кровь прилиwała к голове, словно ее качали насосом. Его ноги приросли к земле, колени дрожали.

— Ну, дальше! — подталкивал Ицци.

— Потом она вскочила, и мы увидели все!

— Волосы под животом! — остальные подкрепляли рассказ жестами, — толстую жопу мы видели! Большую, ух! Вот это канарейка! Хи! И кныш! Весь в волосах!

— Да? Врешь!

— Точно!

— Ты видел?

— Да. Потом она посмотрела прямо на нас.

— Нет, она не смотрела, говорю тебе!

— Смотрела!

— Не смотрела!

— Смотрела! Чего же она тогда вскочила!

— Ну и что?

— И мы убежали оттуда. Хи! Вот это канарейка!

...Аа-а! Проклятый сукин сын! Убить их! Бить ногами! Убить! Надо уйти — я сейчас заплачу!..

— Вот это да. Жалко, что меня там не было. Где это! Скажи... Пойдем...

Их резкие крики, точно град по голому телу, ошарашили его. Ослепший от ненависти, он отошел от них, шатаясь, незамеченный.

...О! О! Не дай им видеть! Не дай им знать. О!.. Горячие слезы наполнили глаза. Чем больше он их удерживал, тем сильнее они жгли. Он повернулся, наклонил голову и побежал к углу.

...Аа-а! Мама! Это была моя мама! Нужно было их ударить, ударить и бежать. Нужно вернуться и ударить в живот. Ну, трус! Трус! Ненавижу их! Всех! Никогда не буду с ними разговаривать! Ненавижу! А она — почему она позволила им смотреть? Почему не опустила шторы? О! Они не увидят, как я плачу! Плакса! Плакса!..

Спотыкаясь, как слепой, он дошел до подъезда. Темные лестницы. Он поднялся на свой этаж.

...Страшно. Ну и пусть. Раньше боялся. Всегда боюсь... Хватит плакать. Она спросит — почему? Что я скажу? Они видели тебя с крыши? С крыши... Крыша? Никогда там не был... Что там?..

Он нерешительно посмотрел на путь, ведущий к двери на крышу. Чистый, нехоженный пролет лестницы, поднимающийся вверх, манил его. Призывный свет лился сквозь стекло, тихий, пустой. Он будил воспоминания о снеге, в котором он однажды кувыркался, и о светлой дороге, по которой он поднимался однажды. Здесь было бы лучшее убежище, надежная чистота. Почему он никогда не думал об этом раньше? Нужно было только преодолеть трусость, и это одиночество, этот свет принадлежали бы ему. Но быстрее, нужно быстрее подняться, пока никого нет на лестнице. Он пошел по ступеням, которые даже сквозь подошвы ощущались как-то по-новому. Он остановился перед дверью. Только крючок держал ее. Он потянул его согнутым пальцем, и тот разом отскочил. Охваченный паникой, Давид смотрел, как тяжелая дверь, лениво скрипнув петлями, поплыла в небо.

...Вниз! Беги!.. (Он испуганно оглянулся.)... Нет! Трус! Вперед! Это — свет! Чего ты боишься?..

Он занес дрожащую ногу над высоким порогом. Цинковый лист ответил на прикосновение подошвы ужасным скрипом.

...Назад! Беги! Нет! Вперед! Кому дело до этого шума? Вперед, трус!..

Затаив дыхание, он закрыл за собой дверь.

Он вздохнул, борясь с дрожью, и, раскачиваясь на нетвердых ногах, поднял голову и посмотрел вокруг себя.

Огромное небо июля, пылающая, слепящая бездна над бездной. Слишком чисто было небо, слишком чисто для слабого глаза. И глаз населил его темными плывущими нитями.

...Даже здесь, наверху, темнота преследует, но она здесь слабая. А на западе — слепящий раструб солнца, труба, трубящая свет...

Он моргнул, опустил глаза и осмотрелся. Тихо. Запах пепла. Холодное подземное дыхание печных труб.

...Даже здесь, наверху, преследует его подвал, но как-то слабо. И вокруг — крыши, красные и залитые солнцем, — до самого горизонта. Стаи голубей кружатся. У земли они висят, как облака дыма, а поднимаясь вверх, загораются, как рябь на воде под солнцем. На востоке мосты, хрупкие в солнечном свете...

...Вот это — да! Один... И не страшно...

6

Когда утром следующего дня Давид вспомнил о крыше, его охватило такое ощущение счастья, что он побоялся думать об этом. Крыша, этот кусочек тверди в небе, этот тихий балкон, взнесенный над человеческой суетой, требовала всех мыслей, всех без остатка. Он тасовал их, отбирая те, которые заслуживали бы вернуться к нему, когда он снова поднимется туда. Он даст им расцвести там, наверху.

И вскоре он опять был на крыше. Звуки улицы, голоса, всплывающие из вентиляционного колодца, дела-

ли его одиночество еще более реальным, мечты — еще более сладостными.

Он нашел старый, потрепанный ветром и дождями ящик и сел на него, задумавшись. Скрип двери где-то внизу испугал его. Сначала он подумал, что это Ицци или Куши поднимаются, чтобы увидеть то, что они видели раньше. И прислушиваясь к шагам по жести, он сидел, сжавшись и скрипя зубами от злости. Какое право они имели прийти сюда и мучить его после того, что он отыскал это местечко? Так они и будут гнать его из каждого места, которое он найдет, из каждого убежища? Он не позволит! Он не даст им заглянуть еще раз в вентиляционный колодец. Он будет драться, царапаться, бить ногами! Спрятавшись за будкой чердачного окна, он прислушивался. За шагами следовал еще один звук, как если бы что-то волокли. Опять шаги, но теперь не по жести. Что это? Шелест бумаги, парящей в воздухе. Легкие постукивания. Дребезжание натянутой бечевки. Нет, это не они. Но кто это? Он осторожно высунулся из-за будки.

На соседней крыше стоял мальчик. В руках он держал край бечевки, а в воздухе, на небольшом расстоянии от него, нырял и трепыхался малиновый бумажный змей с тряпичным хвостом. Белокурые волосы, чуть более темные, чем брови, лежали у него на лбу золотыми завитками. Он был курнос, голубоглаз и с румянцем на щеках. Закусив губу и подняв лицо к небу, он внимательно следил за змеем, то умелыми рывками поднимая его все выше и выше, то ослабляя бечевку. Змей медленно раскачивался, поднимаясь все выше по ее блестящей дуге.

Наблюдая за ним, Давид чувствовал, как между ними растет родственная связь. Они оба были одиноки на крыше, оба были обитателями одного и того же царства. И в этом была их общность. Но Давид чувствовал, что того привела на крышу уверенность в себе — это была просто следующая фаза его жизни. Сам Давид пришел сюда колеблясь, робко, потому что больше было некуда идти. Ему вдруг захотелось узнать этого

беззаботного, самоуверенного незнакомца. Но он никогда раньше не видел его — эти светлые волосы и голубые глаза не были принадлежностью Девятой улицы. Но с чего начать? Он мысленно перебирал разные способы завязать знакомство. Если бы у него было что-нибудь предложить — пирожки, которые он вчера выбросил, или кусок бечевки. Давид наблюдал за белокурым.

Вытянув руку со змеем, тот опустился на покатуую поверхность крыши и сел. Мирно откинувшись, он насвистывал короткую, приятную мелодию. Давид никак не мог решить, выйти ли ему из-за укрытия или довольствоваться наблюдением издалека. Он следил также и за змеем. И вдруг он вздрогнул...

Было трудно сказать, с какой улицы они появились, — с Одиннадцатой или с Двенадцатой, но он ясно их видел. Два или три мальчика, пригибаясь, крались по крышам, то появляясь, то исчезая за трубами. Еще несколько секунд, и они будут под бечевкой змея. Давид напряженно посмотрел на владельца. Не подозревая об опасности, тот лежал на спине, все еще насвистывая. Когда взгляд Давида вернулся к мальчикам, они уже были под бечевкой и энергично вертели что-то в воздухе.

— Пс-с-ст! — Давид выпрыгнул из-за укрытия, — пс-с-ст!

Не смея говорить, он пытался объяснить положение торопливыми жестами.

— Что? — голубоглазый вскочил на ноги, — что такое?

И тогда Давид указал ему на хулиганов.

— Иезус! Они с рогатками! — закричал тот. — Иезус! — и начал сматывать бечевку с предельно доступной скоростью. Рогатки выстрелили. Но — мимо.

Мальчики стали метиться еще раз. Однако змей поднимался все выше и выше. Наконец он стал недостижим для рогаток. Владелец перестал тянуть бечевку и возбужденно заговорил.

— Иезус! Видишь их? Вон они! Прячутся! Не вышло

у них! Проклятые ирландцы! Э-эй! — завопил он, — вы, ирландские болваны! Я еще доберусь до вас!

Какие ругательства они кричали в ответ, было трудно расслышать, но Давид видел, как они размахивали руками у себя под подбородками.

— Ха! Ха! Посмотри на них! — крикнул ему голубоглазый, — видишь, что они делают? Они думают, я — еврей! Посмотри на них! Ирландские болваны! — завопил он опять. И потом, посмотрев себе под ноги. — Ух! Посмотри на бечевку — вся перепуталась! Эй, иди сюда, помоги.

Давид замотал головой.

— Ты что, не можешь говорить?

Энергично кивая, Давид показал на скат крыши у себя под ногами.

Тот улыбнулся и зашептал:

— Иди, это легко!

— Лучше не надо...

Было немного опасно перелезть через стену на крыше, особенно рядом с глубоким колодцем. От одной мысли об этом кружилась голова.

— Лезь здесь, — посоветовал белокурый.

...Не боюсь. И не буду бояться!..

На цыпочках, не дыша, он прошел по громыхающей жести и перелез через низкую стенку на соседнюю крышу. Еще одна стенка, и голубые глаза уже в упор любопытно смотрели на него.

— Чего ты боишься?

— Ничего. Я живу на верхнем этаже. Не хочу, чтобы мать услышала.

— А-а. Она прогонит тебя отсюда?

— Да. Заставит спуститься.

— Лезь сюда. Здесь тебя никто не увидит.

— А как лезть?

— Вот по этим большим болтам. Видишь?

Давид потрогал болты. Паренек, не спуская глаз со своего змея, протянул ему руку.

— Садись на газету, — пригласил он, когда Давид пе-

ребрался. — Держи змея, пока мы намотаем бечевку на катушку.

— Да.

— Только смотри, не отпусти! — Он передал нитку Давиду. — Она немного тянет.

— Ух ты! — нитка тянула, как живая, — летает!

Блондин засмеялся:

— Конечно, летает. — Он присел и начал распутывать бечевку. — Проклятые! Смотри, что они наделали! Садись!

— А твоя мать не будет ругаться, что ты лазаешь на крышу?

— Она? Не-е! Она работает!

— А-а-а! А где твой отец?

— Нету. Мой старик работал на железной дороге. Но его зажало между двумя поездами, когда я был маленький и мы жили в Паттерсоне. Тебя как зовут?

— Дэви. Дэви Шерл.

— А меня Лео Дуговка. Мы из Польши. А ты еврей, да?

— Д-да.

— Скажи, ты был с теми, что вчера бегали по крыше?

— Нет, не был, — пылко заверил Давид.

— Я им дам, если поймаю в следующий раз. Чуть штукатурка не посыпалась.

— Да, — сердце Давида прониклось теплым чувством к Лео, — дай, дай им как следует!

— Подожди, я еще до них доберусь, — Лео быстро вертел катушку, — я им еще задам!

— Я никогда тебя не видел в нашем квартале. Ты давно здесь живешь?

— Не-е, мы здесь не жили, но моя старуха получила работу в большом банке на Шестой и Авеню С, знаешь, с большими белыми плитами и золотыми лестницами — Первый Национальный.

— Аа-а, — сказал Давид восхищенно, — с железными решетками и большими часами? И она имеет дело со всеми этими деньгами?

— Да, она убирает столы и офисы.

— Ого! А кто дает тебе есть?

— Я сам беру.

— Ух ты! — у Давида от мысли о такой невероятной свободе перехватило дыхание. — Ты всегда будешь сюда приходить?

— Не-е! Я хожу на Западную Одиннадцатую. Мы там раньше жили. Это ирландский квартал, только несколько ребят с Хоган Аллеи в Лагере Всех Святых.

— О-о-о! — разочарованно, — это далеко — Западная Одиннадцатая.

— Да, но у меня есть ролики.

...Ролики, да ну! Нет конца его преимуществам: без отца, почти без матери и ролики!..

— За минуту туда доезжаю. А у тебя есть?

— Нет.

— Достань, будем вместе ездить.

— Я не могу.

— Что, твой отец тоже умер?

— Нет, но он не купит.

— Попроси мать.

— Она не может.

— Иезус! Евреи никогда ничего не покупают для своих детей.

Давид стал искать, чем бы заполнить неловкое молчание.

— Их уже там нет, этих... этих ирландцев, — отважился сказать он.

— Как бы не так! Они залегли и ждут! — Сощурившись, он оглядел далекие крыши. — Но я больше не хочу запускать.

— А-а-а, — Давид обрадовался перемене темы, — сколько стоит змей?

— Этот только два цента. Но нужно иметь много такой бечевки, а то нельзя запускать.

— А с простой ниткой нельзя?

— Не-е, рвется. У меня был большой змей, в два... в три раза больше, чем этот. Ух и тянул он! Даже красная

нитка порвалась. Над Святым Джеймсом на Двенадцатой Авеню — отсюда виден крест. Видишь?

— Да.

— Я потерял почти всю нитку. Зацепилась за крышу.

— Зачем он, — Давид смотрел на далекий шпиль, вырисовывавшийся на фоне дымчатой закатной голубизны, — этот чудной крест повсюду?

— Чудной? — спросил Лео удивленно. — Что в нем чудного?

— Нет, не чудной, я не хотел! — поспешил заверить его Давид. — Я просто спросил — зачем он?

— Кресты святы, — сказал Лео серьезно, — все они. Христос, наш Спаситель, умер на одном из них.

— О! (Спаситель! Что? Я не знал...) .

— Даже если носить их, они приносят счастье. Когда моей старухе вырезали аппендицит, каждую ночь она клала крест под подушку, и поэтому ей стало лучше.

— Да ну!

— И всякий раз, когда я иду купаться в Гудзоне, я крещусь три раза — вот так. Тогда можно делать прыжки и все, что хочешь, и никогда не ударишься о дно. Об этом ты тоже не знал? — Давид виновато посмотрел на него. — А это ты видел? — И в качестве окончательного довода Лео, расстегнув рубашку, показал кожаный квадратик, висящий на нитке у него на шее. — Знаешь что это?

Давид присмотрелся и покачал головой. Там что-то было выдавлено и нарисовано золотом, наверное, картинка, но она поблекла, и нельзя было ничего разобрать.

— Может, женщина с маленьким человечком, — рискнул он. — Плохо видно.

— Женщина с человечком! — возмутился Лео. — Господи! Евреи ничего не знают! Это Божья Матерь с Младенцем. Ты что, не можешь узнать Деву Марию?

— Нет, — виновато ответил Давид.

— Иезус! — не поверил Лео. Потом он поднял квадратик кожи повыше, чтобы получше его рассмотреть, —

стирается. Это потому, что я никогда не снимаю его, когда плаваю в реке.

— И ты ничего не боишься, когда он на тебе?

— Не-е! Говорю тебе!

— О, Боже! — Давид вздохнул и посмотрел на грудь Лео с благоговением и завистью.

...Не боится! Лео ничего не боится!..

— Эй, приглядывай за змеем! — Лео поспешно забрал у него бечевку, — нельзя, чтобы он так мотался. Стукнется о крышу!

...Не боится!

7

Промелькнувший час был одним из самых счастливых в жизни Давида. До этого ему ни разу не хотелось быть чьим-либо другом, а теперь он отдал бы все, чтобы подружиться с Лео. Чем больше он его слушал, чем больше смотрел на него, тем больше убеждался в принадлежности Лео к особому, смелому и беззаботному миру. В нем было обаяние. Он делал все, что хотел и когда хотел. Он был не только свободен от родителей, но и носил что-то на шее, что делало его почти подобным Богу. Сидя рядом с Лео, Давид думал только о том, как увлечь его, как сделать так, чтобы он забыл о времени. Когда Лео смеялся, грудь Давида распирало от счастья. Даже когда Лео насмехался над ним, Давид испытывал благодарность к нему. Это было справедливо, что Лео подшучивает над ним. Лео — высшее существо, и его смех оправдан. Лео смеялся, когда Давид рассказал ему что такое "тфиллин"*.

И даже когда Лео сказал про мезузу** : "А! Вот как вы их называете — мисс Уза! Моя старуха сорвала од-

* Тфиллин (иврит) — филактерии; надеваемые на лоб и на руку евреями во время молитвы коробочки с заключенными в них молитвами, написанными на пергаменте.

** Мезуза (иврит) — буквально — косяк. Завернутый в пергамент молитвенный текст, прибиваемый к косяку двери по религиозному обычаю евреев.

ну с двери, когда мы въехали, и я разбил ее. В ней на маленькой бумажке было написано по-китайски”, — Давид не обиделся. Он чувствовал вину, да, вину, потому что он предавал всех евреев в их доме, у которых были мезузы у дверей. Но если Лео полагал, что это было смешно, значит, это смешно на самом деле, а все остальное не имело значения.

Но, наконец, время взяло свое. Солнце стояло в зените, и Лео начал сматывать бечевку. Давид неприязненно смотрел на приближающегося змея.

— Ты больше не будешь его запускать? — спросил он с ускользающей надеждой.

— Нет, я иду вниз.

Давид ждал, что его пригласят. Но этого не случилось.

— Почему бы тебе не прийти завтра опять? — спросил он.

— Я хожу на Одиннадцатую, говорил же тебе.

От этого ответа сжалось сердце. Он ускользал. Давид мог никогда больше его не увидеть!

— Если бы у меня были ролики! — сказал Давид. Он вдруг ухватился за новую мысль; — Ты когда идешь домой? Ты ходишь домой в двенадцать часов поесть?

— Не-е, я покупаю себе что-нибудь на лотке.

Последний обрывок надежды. Свобода Лео была недостижима. Давид совсем сник.

— Так я больше тебя не увижу? — спросил он униженно.

— Откуда я могу знать, — Лео полез в слуховое окно.

— Я принесу тебе пирога... — Давид последовал за ним. — Большие куски, если ты придешь завтра.

— Не-е!

— А можно мне с тобой? Я могу идти пешком.

От этих приставаний тон Лео стал вдруг недружелюбным.

— Хватит! Что ты ко мне привязался. Ты еще маленький.

— Нет, я уже большой!

— Бьюсь об заклад, тебе еще нет десяти.

— Есть! — поторопился соврать Давид, — мне скоро одиннадцать.

— А мне скоро двенадцать. И у тебя все равно нет роликов, — Лео нетерпеливо открыл дверь на лестницу. — Ты лучше иди теперь на свою крышу. Я ухожу. — Он пошел к лестнице: — Пока! — За ним резко закрылась дверь.

— Пока! — сказал Давид обитой железом двери. — Пока, Лео! — Он с трудом сдерживал слезы. Постояв немного перед закрытой дверью, он вернулся на свое старое место и сел на ящик. Без Лео крыша вдруг стала пустой и потеряла свою привлекательность. И сидеть на ящике стало неудобно — острые края теперь врезались в кожу. Ролики. Он потерял Лео потому, что у него их не было. Он видел, как Лео уносился вдаль на роликах, и пропасть между ними расширялась. И Лео так нравился ему, пусть он и гой, нравился больше всех в целом квартале. Если бы только у него была пара роликов! Но на это было очень мало шансов. Ежедневные пенни, что мать давала ему. Это получалось: два — во вторник, три — в среду... Нужна целая вечность, чтобы собрать доллары. Если бы у него были ролики, он мог бы покинуть ненавистных парней своего квартала, он мог бы поехать с Лео в Сентрал Парк. Тот парк с деревьями, куда он ходил с теткой Бертой в музей.

...Тетка Берта! Ее кондитерская! Может даже быть, что у нее есть старые ролики, и она отдаст ему задаром! Почему он раньше об этом не подумал? Он пойдет сейчас. Нет, сейчас нельзя. Скоро ленч, а потом хедер. Он пойдет завтра. О, подождите! Лео еще увидит его на роликах!

Обрадованный, он поторопился вниз по лестнице.

Не сказав матери, куда он идет, Давид отправился рано утром к кондитерской тетки Берты. Дорога была длинная, но надежда толкала его вперед. Его сердце бешено билось.

А что, если у нее нет роликов! Нет! Наверно, есть! Он повернул за угол, к востоку. Еще несколько домов. Сначала он посмотрит в окно. Он прижался носом к стеклу, всматриваясь. Дикая, кричащая мешанина индийских чепчиков, записных книжечек, пеналов, американских флагов, игрушечных кораблей. Но не было видно роликов, которые бы порадовали его взгляд. Надежда пошатнулась. Нет, они должны быть внутри. Тетка не такая дура, чтобы держать напоказ такую ценную вещь.

Он взгляделся в этот хаос. Тетка сидела с булочкой над чашкой кофе. Ее голова была повернута в сторону задних комнат. Она на кого-то кричала. Давид слышал ее голос. Он оторвался от окна и вошел.

— Вши! Вонючие клопы! — вопила тетка, не замечая его. — Эстер! Полли! Вы будете вставать! Или вы будете ждать, пока я выхаркну на вас свои легкие! Быстро, слышите!

Тетка изменилась с тех пор как Давид видел ее в последний раз. Она была без корсета, и выглядела толще и неряшливее. Последние следы опрятности в ее внешности исчезли. Ее тяжелые груди распирали блузку, залитую фруктовым соком и измазанную шоколадом, и мотались из стороны в сторону.

— Подождите! — продолжала она, — подождите, пока придет ваш отец! Он поднимет вас своими зубами! Вонючие суки, уже почти девять! — Она повернулась: — О, Давид! — Злой огонь в глазах ее растаял и сменился выражением удовольствия. — Давид! Мой маленький бон-бон! Ты?

— Да!

— Иди ко мне! — она раскинула, как ветки, жирные руки. — Дай я тебя поцелую, мой сладкий! Сколько я

тебя не видела! А почему мама не приходит? А как отец? — Ее глаза свирепо расширились. — Все еще бесится? — Она заключила его в жирные объятия, пахнувшие потом с привкусом кофе.

— Мама хорошо. — Он вырвался. — Папа тоже.

— Что ты здесь делаешь? Ты пришел один? Так далеко?

— Да, я...

— Хочешь конфетку? Ха! Ха! Я знаю тебя, хитрец! — Она потянулась к коробке. — Вот, дам тебе яблочных. Я лучше говорю по-английски?

— Да. — Он положил конфеты в карман.

— И немного соды, хочешь?

— Не, не хочу. — Он ответил на идиш. Ему почему-то больше нравилось, когда тетка говорила на родном языке.

— И так рано! — ласково тараторила она, — не как эти две девицы, ленивые твари! И ты меньше их. Если бы ты был мой вместо... Коровы! — взорвалась она. — Сейчас я их выброшу из постели, Боже мне помоги!

Но едва она направилась к двери, как в магазин вошел мужчина.

— Хэлло! Хэлло! — громко позвал он. — Что это вы бежите? Потому что я вошел?

— Нет! Видит Бог! — воскликнула она с наигранным неистовством. — Как поживает еврей?

— Как и все евреи. Едва живем. Можете уступить мне тыщонку гульденов?

— Ха! Ха! Какой шутник! Единственные зеленые полоски, что мне приходится видеть — это огуречная кожа.

И повернувшись к Давиду:

— Войди туда, мой сладкий! Скажи им, что я принесу их в жертву небесам, если они не встанут! Это мой племянник, — объяснила она.

— Симпатичный, — признал мужчина.

Давид колебался:

— Вы хотите, чтобы я к ним вошел?

— Да! Да! Может ты пристыдишь этих свиней, и они подымутся.

— Ваши птенцы еще в гнезде?

— А как же? — И брезгливо: — Ленивые, как кошки. Иди, иди, моя умница.

Несмотря Давид протиснулся мимо тетки и, бросив последний безнадежный взгляд на переполненные полки, толкнул дверь и вошел. За узким коридором, заставленным картонными ящиками, открылась кухня с застоявшимся запахом немытой посуды. На деревянном столе в центре не было ничего, если не считать полупустой бутылки с кетчупом. Плита была завалена кастрюлями. С нее на пол капала кофейная гуща. Обрывки газет, мятая одежда, ботинки, чулки валялись на полу и свисали со стульев. Было три двери, все закрытые.

...Ну и ну! Как грязно... Какая дверь?..

Смешок слева. Он осторожно приблизился.

— Это она? — послышался внутри настороженный голос.

— Ш-ш-ш!

— Эй, — крикнул он, — ваша мама велела, чтоб вы встали!

— А ты кто? — с вызовом спросили его.

— Это я, Дэви.

— Какой Дэви?

— Дэви Шерл, племянник тети Берты.

— А-а! Открой дверь.

Он толкнул дверь. Кислый запах мочи. Комната, освещенная окошечком, сквозь которое виднелись кирпичные стены шахты двора, была мрачной. Только освоившись в темноте, он различил две головы, торчавшие из-под серого одеяла.

— Это он! — голос с подушки.

— Что тебе надо? — Он, наконец, узнал по голосу, что то была Эстер.

— Я сказал: "Ваша мама приказала, чтоб вы встали. Она велела мне передать это вам". — Сообщив это, он начал отступать.

— Иди сюда! — повелительно. — Дурачок! Я спросила, что тебе нужно в лавке?

— Н-ничего?

— Зачем же ты пришел? — подозрительно спросила Полли. — Конфеты?

— Нет, просто навестить тетю Берту.

— Вставай, Полли! — Эстер лежала ближе к стене. — Вылезай! — Она села.

Полли вцепилась в одеяло.

— Ты первая вылезай.

— Лучше ты! Ты слышала, что мама сказала.

— Ну и пусть говорит, — ворчливо.

— Я не буду сама убирать кухню. — Эстер встала на постели.

— Не перешагивай через меня. Это к несчастью.

— И перешагну, если не встанешь!

— Только попробуй...

Но Эстер уже перепрыгнула через нее.

— Проклятая бестия! — завопила Полли. Она дернула сестру за подол ночной рубашки, и та гулко ударилась об стену.

— Ой! Вонючка! — завопила Эстер и в свою очередь сдернула с сестры одеяло.

Та на секунду замерла от неожиданности, с рубашкой, задранной выше пупка.

— И-и-и! — кричала Эстер, — бесплатное представление!

— Сама ты представление! — взбесилась Полли и задрала рубашку Эстер. Немедленно четыре голые ноги сцепились, и сестры покатались по кровати, нанося друг другу удары и крича. Наконец растрепанная Эстер вырвалась, прыгнула с постели и пронеслась мимо Давида на кухню.

— Я убью тебя, проклятая вонючка! — кричала Полли ей вслед. — Я проломлю тебе голову! — Она тоже скатилась с кровати.

— Да! Только попробуй! — Дрожа от ненависти, Эстер приготовилась царапаться.

— Я скажу маме! Я скажу, что ты наделала!

— А я за это не пойду с тобой вниз. — Полли сплюнула. — Иди сама!

— Ну и не надо. Я ему тоже кое-что скажу!

— Убью!

— Да! Знаешь, что делает Полли? — Эстер приблизилась к Давиду. — Она пишет в постель каждую ночь! Вот, что она делает! Отец должен подавать ей горшок каждую ночь в двенадцать часов.

— Я не писаю!

— Писаешь!

— Я теперь никогда не буду сходить с тобой вниз. Никогда!

— Ну и не надо!

— И я дожусь, что огромный бандит оторвет тебе задницу.

— Писюха! — упрямо дразнилась Эстер. — Писюха!

— Он придет в маске! — Полли вылипла глаза в притворном страхе, — у-ух!

— А-а! Заткнись! — огрызнулась Эстер. — Мама пойдет со мной.

— Да? — злорадствовала Полли, — а кто останется в лавке?

— Ты!

— Чтоб ты так жила!

— Тогда я буду писать в раковину, — пригрозила Эстер.

— А там посуда! Давай! Знаешь, что мама тебе сделает, когда я ей скажу!

— А я вовсе и не хочу идти! А-а-а! Он пойдет со мной! — вдруг воскликнула Эстер с торжеством. — Вот! — она высунула язык. — Вот! Давид пойдет со мной!

— Да? Подожди! Я расскажу Софи Сегель и Идди Кац, что ты водила с собой мальчишку в туалет и разрешала ему смотреть. Подожди, скажу!

— Палки и камни могут перебить мне кости, а слова меня не тронут! — заносчиво пропела Эстер, — Я не дам ему смотреть. Пошли, Дэви! Сейчас, только надену тапки.

— Не ходи! — Полли свирепо повернулась к нему. — А то я тебе задам!

— А я задам тебе! — Эстер сунула ноги в тапки. — Так задам, что взлетишь! Пошли, Дэви!

— Чего тебе надо? — Он смотрел то на одну, то на другую озадаченным, недоверчивым взглядом.

— Я дам тебе конфету, — уговаривала Эстер.

— Нет, не дашь! — настаивала Полли.

— Кто тебя спрашивает, зассыха! — Эстер схватила Давида за руку. — Пошли, я покажу куда идти.

— Куда это? — не давался Давид.

— Вниз, в туалет, дурачок! Только номер один. Быстрее, я дам тебе все, что захочешь из лавки.

— Не делай этого! — Полли шла за ними. — Она ничего тебе не даст! Я дам тебе!

— Нет, дам! — Эстер тащила его за собой.

— Пусти! — он сопротивлялся. — Я не хочу...

Но она сказала — "все из лавки". Ему представились ролики...

— Хорошо! — он последовал за ней.

— Стыд и срам! Стыд и срам! — бросала Полли им вслед, — он идет с ней в туалет!

Смущаясь, Давид поспешил переступить порог.

— Заткнись! Зассыха! Не лезь в чужие дела! — Эстер захлопнула дверь перед носом сестры. — Сюда!

Короткий пролет деревянных ступенек вел вниз в грязный двор. Дальше были каменные ступеньки, ведущие в подвал. При виде подземного мрака его сердце забилось глухими, напряженными ударами.

— Ты что, не знал, что у нас туалет в подвале? — Она спускалась первой.

— Да, только я забыл. — Перед дверью подвала он задрожал.

— Стой рядом! — предупредила она.

Сырость недоступной солнцу земли. Ее тапки шаркали перед ним в темноте. По обе стороны мерцали темно-серые, когда-то побеленные стены. Пахло мокрым углем и гниющим деревом. Только ее шаги вели

его теперь, ее тело исчезло. Волна страха обожгла его щеки, шею и плечи...

...Все в порядке! Ты не один. Но где она? Ой!..

Он нащупал руками ее тело.

— Тише, тише ты, — прошептала она раздраженно. Проскрипела дверная ручка. Открылась дверь. Маленькое серое окно, затянутое паутиной, бросало слабый свет на грязный сливной бачок. В темноте наверху — урчание труб.

— Стой здесь, в дверях! — сказала она. — И не уходи, а то я убью тебя! — Ее резкое дыхание посвистывало. Она нащупала сломанное сидение.

— Можно мне стоять снаружи?

— Нет! — В ее возгласе было отчаяние. Она усе-лась. — Стой в дверях. Можешь посмотреть... — шипение и всплеск. — У-ух! — с облегчением: — У тебя нет сестры?

— Нет, — он топтался на пороге.

— Тебе страшно в подвале?

— Да.

— Повернись!

— Не хочу!

— Ты сумасшедший. Мальчики не должны бояться.

— Ты сказала, что дашь мне все, что захочу?

— А что ты хочешь? — В унитазе загремела вода.

— У вас есть ролики?

— Ролики? — Она поспешно пробежала мимо него к свету. — Ты что! У нас нет!

— Нету? Хоть старых!

— Нету никаких. — Они поднялись во двор. — И даже если б были, я бы тебе не дала. Ролики стоят денег.

— Тогда вы гадкие, даже хуже!

— Ну-у-у! — насмешливо.

— Эй, Полли! — закричала Эстер, ворвавшись в кухню. — Эй, Полли!

— Убирайся прочь, вонючка! — прощелкал голос.

— Знаешь, чего он хочет? — Эстер насмешливо показала пальцем на входящего Давида.

— Что?

— Ролики! И-и-и! Хи-и! И-и-и! Ролики он хочет!

— Ролики? — Полли заразилась весельем, — вот дурачок. Откуда у нас ролики?

— И теперь я ничего ему не должна! — обрадовалась Эстер. — Ведь он попросил то, чего в лавке нет...

— Ага! — теткина голова просунулась в дверь. — Слава Богу! Благословенно имя Его! — Она возвела глаза с преувеличенным рвением. — Обе встали! Одновременно? Ай! Ай! Ай! Не может быть!

Они скорчили мрачные гримасы.

— А теперь кухня, эта грязь, которую вы оставили вчера. Что, я все должна делать? Мне еще в магазин идти!

— А-а-а! Чего ты скандалишь! — ответила Эстер.

— Холера вам в живот! — не растерялась тетка. — Быстрее, я говорю! Кофе на плите. — Она оглянулась. — Иди сюда, Давид, золотко! Уйди из этого болота. — Ее голова исчезла.

— А-а-а, поцелуй меня в зад, — пылала Полли, — ты мне не мать! — И резко Давиду: — Ты, осел! Убирайся отсюда!

Огорченный и разбитый, он спешил по коридору, находя утешение в бегстве из кухни.

— Ролики! — преследовали его их насмешки, — дурачок!

Он вышел в лавку. Тетка Берта, загородив своим толстым задом проход и распластав груди на прилавке, нагнулась, вручая мальчику по другую сторону конфету.

— Ой! — простонала она, получив пенни и выпрямляясь. — Ой! — И Давиду: — Иди сюда, мой свет. Ты не представляешь, как ты мне помог, подняв их с постели. Ты когда-нибудь видел таких грязных, бесстыдных копуш? Они слишком ленивы, чтобы опустить руку в холодную воду. А я должна потеть и улыбаться. Она обняла его. — Хочешь конфету?

— Нет, — высвободился он, — у вас есть ролики, тетя Берта?

— Ролики? Что мне делать с роликами, дитя. Я не

могу продать даже пистолеты за пять центов. Какие тут ролики? Хочешь мороженое?

— Нет.

— Немного халвы? Крекеры? Иди, посиди немного.

— Нет, я пойду домой.

— Но ты только пришел.

— Мне надо идти.

— Ах! — воскликнула она обиженно. — Дай хоть посмотреть на себя. Нет? Тогда возьми пенни, — она полезла в кармашек передника, — купи, чего у меня нет.

— Спасибо, тетя Берта.

— Приходи еще и получишь больше. Сладкое дитя! — Она поцеловала его. — Передай привет маме!

— Да.

— Будь здоров!

9

Плюнул кто-то?

Он поднял голову. К северу и к югу небо было каменно-серым.

...Дурачок! Никто не плюнул. Торопись!..

Появились зонтики. Черные сумки заторопившихся домохозяек влажно блестели. В киосках продавцы натягивали тенты над газетами. Дождь припускал все сильнее, и мрачные фасады домов стали еще темнее, а содержимое витрин за туманными стеклами — еще неразличимее. Густая, туманная мгла поглотила все вещи, лишила их цвета и граней. Только трамвайные рельсы еще блестели в темноте. Он почувствовал отвращение к себе.

...Рубашка и волосы намокли, вот-так так! Еще два квартала. Скорее!..

Дождь покрыл тротуар скользкой пленкой. Он трусил осторожно к дому, ныряя под навесы, где было можно, и огибая выступы порогов. Не слишком промокнув, он добежал до своего угла.

— Беги, беги, сахарная детка! Беги, беги, сахарная

детка! — насмешливо провожали дети, укрывшиеся от ливня в парадных, тех, кто тоже торопился спрятаться.

В его собственных дверях тоже стояло несколько таких шутников. Один или двое из них были из тех, что сидели на тротуаре, когда Куши рассказывал про канарейку. Хмуро опустив глаза, Давид взбежал по железным ступеням крыльца. Он совсем не хотел разговаривать с ними. Но когда он собирался войти в дверь, один из них загородил ему дорогу.

— Эй, ты — Дэви, да?

— Да, — он глядел утрумо. — Чего тебе надо?

— Тебя тут один парень искал.

— Да, — подтвердил кто-то, — у него ролики.

— Меня? Парень с роликами? — Его сердце подпрыгнуло от невыразимой радости, внезапное тепло растеклось по жилам. — Меня?

— Да.

— Лео? Он сказал, что он Лео?

— Лео, да. Четвертый этаж, номер семьсот сорок пять. Он — гой.

— А что он хотел?

— Он сказал, чтоб ты поднялся сразу.

— Я?

— Да, он только был здесь...

Но Давид уже спрыгнул со ступенек и несясь сквозь дождь к дому Лео. Он гордо поднялся на крыльцо, как будто призыв Лео наполнил его дух мерцающим мощным сиянием, как будто его существо перенеслось в мир уверенности. В этом подъезде тоже толпились дети, но он прошел мимо них без слова и ни секунды не колеблясь. Он был другом Лео! И он поднялся по темной лестнице без тени страха. На верхнем этаже он остановился и оглянулся — все двери были закрыты.

— Эй, Лео! — пропел он, и смелость его голоса удивила его. — Эй, Лео, ты где живешь?

Он услышал голос в ответ, и почти тут же дверь выпустила клинышек света.

— Входи, — Лео вышел к нему.

— Лео! — Давид обнял бы его, если бы посмел, — ты звал меня?

— Да, начался дождь, и я пошел домой. Не хотел, чтобы ролики заржавели.

— Как хорошо, что я пришел домой! — Давид последовал за ним в кухню.

— Я как раз вытирал их, — Лео сел на стул, поднял с пола замасленную тряпку и начал энергично полировать различные части.

— Ты один? — Давид нашел себе место у стены.

— Конечно.

— А как ты открыл квартиру?

— Ключом, а ты как думаешь?

— Ух ты! — восхищенно, — у тебя есть собственный ключ?

— Конечно. Смотри, как блестит! — Он поднял блестящий ролик.

— О-о-о, вот это да!

— Если это делать каждый день, они никогда не заржавеют.

— Ага. Смотри, что я принес тебе, Лео! — И с прыгающим от радости сердцем он протянул две конфеты.

— Ого! Обе для меня?

— Да! — Он злился на себя, что не взял еще конфет, которые ему тетка предлагала.

— Ты хороший парень! — Лео положил конфеты на стол. — Где ты добыл их?

— Почему не кушаешь?

— Я их сберегу на потом. Хочу сначала чего-нибудь поесть.

— Мне их тетка дала. Забыл тебе сказать, — у нее кондитерская.

— Иди ты! Где она живет?

— На Кейн стрит. Но тебе легко добраться. У тебя ролики.

— Давай пойдем туда как-нибудь. Может, достанем целую пачку жвачки. — Лео положил коньки, подошел к хлебнице на полке рядом с раковинной и вытащил батон, — хочешь?

— Я не очень голоден. — Давид вдруг застеснялся. — Еще рано.

— Ну и что? — Лео развернул бумагу, — я ем, когда хочу.

— Эх, хорошо! — Независимость Лео заражала.

— Есть кое-что еще, — пообещал Лео и двинулся к ящику со льдом, — такое, что не каждый день едят.

Пока Лео лазил по кастрюлям, Давид бросал украдкой блаженные взгляды вокруг себя. Быть одному в пустом доме с таким человеком, как Лео, было чем-то необычным. Не было вмешивающихся во все родителей и не было приказов слушаться — ничего. Только они двое, живущие в отдельном, собственном мире. И кухни гоев не очень отличались от еврейских. Как и его собственная, эта была квадратной комнатой с плитой и раковиной. И были зеленые стены, и белые занавески на окнах, и линолеум, выцветший, как у них. Все было так же вымыто и опрятно. Но в кухне Давида у чистоты был какой-то теплый привкус, а здесь был холодный и невкусный запах мыла. В этом была вся разница, да еще, пожалуй, в том, что в темном дальнем углу висела картинка, содержание которой Давид, как ни вглядывался, никак не мог различить.

— У нее настоящая, большая кондитерская? — стоя на коленях перед ящиком со льдом, Лео мазал хлеб маслом. Потом он переложил несколько предметов с большой тарелки на маленькую. — И мороженое там тоже есть? — Он поднялся.

— У тетки? Нее. У нее просто... — Он осекся, таращась на то, что Лео поставил на стол; на одной тарелке был намазанный маслом хлеб, а на другой — кучка странных розовых существ, в основном, ноги и клешни. — Что это?

— Это? — Лео ухмыльнулся в ответ на его удивление. — Ты что, не знаешь? Это — крабы.

— Кра?.. О, крабы! Они были зеленые, когда я видел их на лотке на Второй Авеню...

— Да, но они всегда краснеют, если их сварить. Они здорово вкусные. Хочешь?

— Не-е! — Его желудок сжался.

— Вы никогда их не едите?

— Нее! Евреям нельзя.

— Вот дела! Евреям ничего нельзя есть! — Он взял одно из чудовищ. — Хорошо, что я не еврей.

— Да, — неопределенно согласился Давид, — как ты их ешь?

— Просто! — Лео отломил красную клешню. — Откусить, и все тут, видишь? — Он откусил.

— Ого! — удивился Давид.

— Вот хлеб с маслом, — Лео предложил ему помочь, — это ты можешь есть? Это только американский хлеб.

— Да, — Давид с любопытством посмотрел на хлеб. Он был не серым, не коричневым, а бледным и мягким, словно паста, и у него была мягкая корочка, а не жесткая как картон, как у того, что покупала мама. И масло было соленым. Он никогда раньше не ел соленого масла.

— Мы можем есть все, что хотим, — сообщил Лео, посасывая клешню, — все, что вкусно.

— Да? — Жуя хлеб, Давид снова и снова обращал глаза к картине.

(...Человек, что ли? Не может быть!..)

— И я ем все хлеба, какие есть. И итальянский, и датский, и еврейский — как он называется? "Маца?" — Он ухмыльнулся. — Это просто большие крекеры. Ты когда-нибудь ел настоящие спагетти?

— Нет, а что это?

— Итальяшки едят их, как картошку. Ух и вкусно! — Он погладил свой живот. — Мог бы съесть целую кастрюлю. Мы жили рядом с Аглорини. Они итальянцы.

...Как та картина, у нас дома — с васильками. Но во всем этом есть что-то еще, если понимать. Нужно знать, а то не увидишь...

— Лили Аглорини приносила большую миску для меня и моей старухи. Это если старуха давала им пироги, когда она работала в ресторане. А каким они сыром посыпают — Свенты Иезус!

...Точно, человек. Должен быть. Только у него вываливаются кишки. Горят. Ну и ну, что за странная картина. Даже моя не такая. Но он озверееет, если я спрошу...

— Вот если б моя старуха могла делать настоящие итальянские спагетти... Эй! — он прервался вдруг, — ты куда смотришь?

— Н-никуда! — Давид виновато опустил глаза, — что...

...Не надо, не спрашивай его!.. Дурак! В следующий раз думай!..

— Что — что? — спросил Лео, глядя на него с широкой, неподвижной улыбкой.

— Ах, да! — Опять, как тогда, на крыше, он нашел, на что переключить разговор, — но я не знаю, как сказать. Моя мать, она говорит, только это на идиш...

— Хорошо, скажи! — нетерпеливо.

— Что такое ор-органист? Так она говорит.

— Органист? У нас есть один в церкви. Он играет на органе.

— Да?

— Это такая штука с трубками, которые свистят. Ты что, не знал?

— Я не был уверен. Думал, что только на идиш...

— Да, вот это что. Но кто говорил про церковь?

— Никто! — смешался Давид. — Ты сказал — спагетти.

— Да! — обиженно.

— А зимой ты тоже катаешься на роликах?

— Нет, ты что! — Лео клюнул приманку. — Как я могу кататься зимой, когда на земле снег? Зимой катаются по ледяным дорожкам. У нас один раз была, длиной в целый квартал.

— Да ну! — Давид расслабился.

— И Лили Аглорини попробовала прокатиться, и бух! — скорлупа краба описала красную дугу. — Прямо на задницу! Ух! Целый квартал проехала, и ее ноги торчали вверх.

...Кишки, как у цыпленка, наружу. И он их держит. Есть у него усы или нет?..

— А потом на этой дорожке падали лошади, и полицейский посыпал золой. Она была в красных трусах.

...Больше не буду смотреть, и все!..

Но Лео заметил его взгляд.

— О! — воскликнул он, неприятно удивленный, — и это все, на что ты пытаешься посмотреть?

— Нет, я не пытался! Честно!

— Да, ты хотел, не говори мне. Уже второй раз ты меня не слушал!

— Я не хотел... — Давид опустил голову.

— Ну, давай! — Корочка хрустнула под негодующими зубами. — Посмотри как следует!

— Можно?

— Конечно, можно! Для чего же она!

Давид с виноватым видом соскользнул со стула и подошел к картине.

— О, теперь я вижу. Это не то, что я думал.

У человека была борода, но руками он держал не кишки, а указывал себе на грудь, где горело красное сердце.

— А что ты думал?

— Было плохо видно, — уклончиво ответил Давид.

— Ты никогда этого раньше не видел?

— Нет.

— Это Иезус и священное сердце.

— О! А почему это?

— Что почему?

— Он весь светится изнутри?

— Это потому, что он такой святой.

— О, — Давид вдруг понял, — как Он! — Очарованный он смотрел на картину. — Человек, о котором тебе говорил мне!

— Какой человек? — Лео приблизился, чтобы лучше видеть.

— У него был такой же свет!

— Не может быть, — заверил Лео поучительно, — это христианский свет. — Он больше. Больше, чем еврейский.

Давид хотел повернуться к Лео, но замер и уставился на противоположную стену. Прямо над стулом, на котором он только что сидел, висела та же бородатая фигура. Только сейчас Давид узнал его. Он был сделан

из фарфора, на его бедрах было что-то похожее на детскую пеленку, и он висел на черном кресте.

— Это он?

— Конечно! Ты что, никогда раньше его не видел?

— Видел где-то, — с ужасом он смотрел на распятие. — Когда-то я его видел в итальянском похоронном магазине. Он всегда с гвоздями, правда?

— Да, — Лео взял еще кусок хлеба.

— Но я не знал, что это был... Ты не будешь злиться, если я тебя спрошу?

— Не! Спрашивай!

— Зачем эта тарелка у него над головой? — Он показал на распятие. — А на картине нет.

— Ха! Ха! — У Лео был полон рот хлеба, — это не тарелка, это — ореол! Ты никогда не видел ореол? Он сделан из света! И это тоже не тарелка. Это его корона из колючек, которую евреи на него надели.

— Евреи? — повторил Давид, ужасаясь и не веря.

— Конечно. Евреи — убийцы Христа. Они его распяли.

— Нет?!

— Точно!

— Да ну? Когда?

— Давно. Тысячи лет назад.

— О! — В такой отдаленности было некоторое утешение. — Я не знал.

Сотни вопросов роились у него в голове, но, боясь дальнейших откровений, он сдержал их.

— Ух ты! У него свет и внутри и снаружи, правда? — Это было все, что он посмел сказать.

Не утруждая себя ответом, Лео облизал пальцы и потянулся за конфетой.

— Ум-м-м! Лимонная! Клянусь, я мог бы положить в рот сразу десять таких. Ты всегда их получаешь, когда ходишь туда?

— Я туда не хожу.

— Не ходишь? Бог мой! Да я бы ходил каждый день, если б у моей тетки была кондитерская.

— Это слишком далеко.

— Ну и что? — Лео обсасывал пальцы. — Можно попроситься на какую-нибудь повозку.

В Давиде росло ужасное желание. Он должен спросить! Он должен спросить!

— А зачем же ты ходил на этот раз?

— Ролики. Я думал, может... — его голос угас.

— И у нее не было?

— Нет. — Он страдал от резкого голоса Лео, который пытался пробудить его от спячки.

— Заставь ее купить тебе тогда. Вот что. Я бы заставил. Она может купить дешевле, чем ты...

— Лео!

— Что?

— Можешь ты дать мне... — он медленно поднял палец и показал, — дать мне... это... это... — он не мог кончить.

— Это? — Лео схватился за грудь в невероятном удивлении.

— Да. — Давиду стало нехорошо.

— Христос это! Мой талисман? Ты что, с ума сошел? Зачем тебе?

— Просто хочу.

— Ты шуточки шутишь, или что? — подозрительно спросил Лео.

— Нет! — Давид неистово затряс головой. — Нет!

— Но ты ведь — еврей!

— Да, но я...

— Тебе нельзя это носить, ты что, не знаешь? Это для католиков.

— Ох!

— У меня все равно больше нет ничего, кроме четок, которые мать нашла в ресторане.

— Что это — четки? Можно мне взять?

— Иди ты! Ты что, спятил?

— Я достану тебе много пирожных и конфет... даже пенни, видишь? Он показал пенни.

— Не-е! Четки не мои, и все равно дороже стоят. Иезус! Если бы я знал, что ты такой псих, я бы тебя в дом не пустил.

— Я не знал... — его губы дрожали.

— А, ты не знал! — Повисла напряженная тишина.

— Ты хочешь, чтобы я ушел? — спросил Давид несчастным голосом.

— Можешь остаться, — проворчал Лео, — только перестань приставать со всякими глупостями.

— Хорошо. Я больше не буду спрашивать.

— А твоя тетка тоже такая, как ты? — Раздраженный Лео не обратил внимания на извинения Давида.

— Нет, — он оттолкнул от себя желания и разочарование и сосредоточил все свое внимание на Лео. — Она все мне дает.

— Почему же ты тогда не сделаешь, как я говорю; попроси ее купить ролики, а потом она продаст их тебе в рассрочку или как-нибудь еще.

— Может, попрошу в следующий раз.

— Конечно. Ходи туда каждый день, пока она не даст их тебе, в этом вся шутка.

— Мне не нравится.

— Что, просить ее?

— Нет. Ее девчонки. Они даже не ее.

— А-а, падчерицы.

— Да.

— Ну и что? Дай им раз в глаз.

— Они больше меня. И они орут.

— Ты что, боишься их? Не давай им задирать себя!

— Я не боюсь, но они грязные и хотят, чтобы я ходил с ними в подвал.

— В подвал? — Лео заинтересовался. — Ты сказал, что они еще девочки.

— Да, я их не люблю.

— И ты ходил? — Лео склонился к нему, алчно улыбаясь.

— Да.

— Ну-у? И что ты сделал? Только не ври!

— Сделал? — Давид начал беспокоиться. — Ничего!

— Ничего? — удивился Лео.

— Ничего. Она попросила меня постоять в туалете, пока она писала.

— Они попросили тебя пойти с ними в подвал, и ты ничего не сделал?

— Только одна меня попросила. — Смущенно боролся он с настойчивостью Лео.

— О-о-о! — простонал тот. — Вот дурачок!

— Потому что она сказала, что даст мне все, что я захочу.

— И ты не попросил ее?

— Я хотел ролики, хотя бы старые. Думал — может, у них есть.

— Ох, ну и гусь! И ты говоришь, что тебе десять лет. Она показала тебе?

— Что? — Он даже боялся подумать, что догадался.

— Ах! не притворяйся, что ты не знаешь. — Лео расставил ноги. — Дырку!

— Они дрались в кровати, — признался он нехотя и замолчал, жалея, что начал этот разговор.

— Ну и что?

— Ничего. Они дрались ногами, и я видел.

— Боже! — вздохнул Лео, — без трусов?

— Без.

— Они большие?

— Больше меня.

— Больше меня?

— Нет.

— Моего роста! Чего же ты испугался, дурачок! Они не настоящие твои сестры. Если бы мы с Патси были там! Жалко, что он в лагере. Один раз мы привели Лили Аглорини ко мне домой и стали учить ее делать упражнения. Когда она перегнулась через стул, мы стащили с нее трусы! Пойдем туда вместе, а? Мне нравятся еврейские девочки!

— Ты хочешь сделать... ты хочешь играть... — сжался Давид.

— Конечно, пойдем сейчас!

— Не-е! — испуганно закричал Давид, — я не могу!

— Почему? Их нет сейчас дома?

— Да нет! Мне сейчас надо домой, — он соскользнул со стула, — пора обедать.

— Хорошо, потом, когда поешь!

— А потом я пойду в хедер.

— Что это?

— Мы там учим иврит, с ребе.

— А ты не можешь прогулять?

— Он пойдет ко мне домой.

— Давай пойдем раньше, до этого твоего хедера.

Опять ощущение нереальности окутало его чувства. Опять мир покачнулся, и с ним Лео — чужой. Почему он так доверяет всем и каждому?

— Я не хочу, — пробормотал он, наконец.

— Что! Я думал, ты мой друг! — презрительно усмехнулся Лео. — Вот ты какой!

Давид мрачно смотрел в пол.

— Вот что я скажу, — голос Лео снова стал настойчивым, — ты хочешь научиться кататься на роликах?

— Д-да.

— Я научу тебя, прямо сейчас. Поедем туда, и я буду тебя учить. Наденем по одному.

— Нет! Я не хочу.

— Вот черт. Слушай, ты не должен ничего делать, если ты не хочешь. Мы пойдем вместе, но ты можешь подождать на улице. Я ничего не сделаю, если они не захотят.

— Я не хочу, — Давид был уже у дверей.

— Ты вонючий жид! Себе все хочешь, да? Ладно же, чтоб я тебя больше не видел, а то получишь! Эй! — Давид уже открыл дверь. — Подожди! — Он схватил его за руку. — Иди сюда! Смотри, что я тебе дам!

— Я ничего не хочу!

— Подожди! Подожди! — Лео подтащил стул к посудной полке, взобрался наверх и вытащил пыльную деревянную коробочку. По форме она напоминала ящички для мела в школе и даже имела такую же крышку. Но она не могла быть для мела, потому что Давид заметил на крышке слово "Бог". Странно, что под словом была нарисована большая черная рыба. Но прежде, чем он успел нагнуться и разобрать буквы над рыбой, Лео сказал:

— Вот то, что ты хотел, — и сдвинул крышку в сторону.

Внутри лежали безделушки, кольца, украшения. Лео порылся в них.

— Вот, видишь? — Он вытащил нитку с черными бусами, на одном конце которой висел маленький крест с фигуркой, как на стене. — Вот четки, которые мать нашла. Я дам их тебе. Они святые.

Давид смотрел зачарованный:

— Можно мне потрогать?

— Конечно, трогай.

— Они делают то же самое, что и то, что у тебя на шее?

— Конечно! И они намного, намного святее.

— И ты мне их дашь?

— Конечно! Если пойдем завтра с тобой, они твои. Что скажешь, идет?

Сквозь расплывающиеся перед глазами круги смотрел Давид на твердые бусы.

— И-идет. — Он покачнулся.

— Вот это парень! — Лео покрутил бусы с энтузиазмом. — Слушай! Ты ничего не должен делать — просто постоишь, как я тебе говорил. Они тебе не сестры, чего тебе? Куда, говоришь, водил ты ее?

— Это она меня водила. — Теперь, когда он согласился, отвращение охватило его по-настоящему.

— Это все равно. Куда?

— В подвал под лестницей. Там туалет.

— Теперь мы ее туда поведем.

— Но нужно пройти через лавку.

— А нельзя прокрасться снаружи?

— В лавку?

— Нет, в подвал.

— Не знаю.

— Наверняка можно! Дверь, наверно, открыта. Когда мы пойдем?

— Когда ты хочешь?

— Утром, рано, в десять. Я буду ждать тебя на улице с роликами. Идет?

— Хорошо, — мрачно согласился Давид, — а сейчас мне надо идти.

— Куда ты торопишься?

— Нужно. Я должен идти домой.

— Ну, ладно, пока! И не забудь — в десять.

Он вышел, отсекая дверью последние звуки голоса Лео. Нашупав в полумраке ступеньки, он начал спускаться. Надежда, страх и смущение лишили его мысли. Его сознание занемело и остановилось, как будто он был болен. Он чувствовал, как прошлое сходится с будущим в завтрашнем дне. Или он найдет спасение от своих страхов, или все пропало. И мерзкий дождь, в который он вышел, был дурным предзнаменованием.

10

Позднее утро.

Его беспокойный взгляд бродил от замутненного стекла к часам и возвращался к окну.

"Вертись, вертись, мельничка"... Голос матери, почти сливающийся с городским шумом, звучал как бы издалека: "Работа — не игра, часы уплывают, мельничка моя"...

На кухне были только ее ноги — стоптанные подошвы тапочек и голые пятки. Она сидела на подоконнике и вытирала наружную сторону стекла. Под энергичными движениями тряпки снежные берега намазанной на стекло пасты быстро раздвигались. В расчищенном пятне показалась ее шея, потом подбородок, лицо и волосы в тонкой золотой дымке солнечного света.

"Вертись, вертись, мельничка"...

...Не хочу, чтобы она так высывалась! Боюсь, когда она сидит на подоконнике. Четвертый этаж — высоко, высоко! Если она!.. О! Не надо! Это то же самое окно. Отсюда видно крышу. Да, они были там — сукины дети! — когда смотрели...

Раздраженно он перевел взгляд к другому окну, открытому, и выглянул на улицу. Небо над крышами,

безоблачное и омытое дождем, смеялось над ним в своей безмятежности. Воздух был прохладен. За раздвинувшимися занавесками открытого окна на противоположной стороне улицы женщина причесывала маленькую девочку квадратной черной расческой.

— Вот! — Мать облегченно вздохнула, возвращаясь в комнату. — Теперь недостает еще одного дождя, чтобы снова его запачкать.

— Теперь чисто, — подтвердил он, — и тебе не нужно больше высовываться.

— Да, — она мыла руки под краном, — теперь я повешу занавески. Ты что, сегодня не пойдешь гулять? — улыбнулась она, недоумевая.

— Я пойду! — возразил он. — Только попозже, может быть.

— Ты знаешь, — она развернула занавеску, — последнее время ты ведешь себя так же, как в Браунсвилле, цепляешься за мою юбку. Как ты боялся там лестницы! Теперь это не должно тебя пугать!

— Нет! — Он вдруг почувствовал, как злится на нее за то, что она загнала его в угол. — Мне нечего делать на улице. Я сказал тебе.

— А что случилось со всеми твоими друзьями? — Ее ловкая рука накручивала бечевку занавески на гвоздь. — Они все уехали?

— Не знаю, я все равно их не люблю.

— А в чем дело? Что случилось?

— Ничего! — надулся он. — Ничего не случилось. — Его мозг уже работал над подходящим объяснением.

— Но я чувствую: тут что-то есть, — настаивала она. — Сегодня ты проснулся вместе со мной — в семь, и вчера тоже. Но вчера ты выбросил бы свой завтрак, если бы я тебе позволила, так ты торопился вниз. А сегодня... Скажи, что с тобой? — В тоне ее сквозило легкое нетерпение.

— Ничего, — противился он.

— Не скажешь своей маме?

— Просто один мальчик... — теперь он должен был

ответить. — Он... он хочет ударить меня. Он сказал, что побьет меня, если поймает. Вот и все.

— Мальчик? Какой?

— Большой мальчик, его зовут Куши. Вчера они увидели монетку в яме на Десятой улице. Все побежали туда и хотели достать. И Куши сказал, что он не достал потому, что я толкнул его.

— Ну и что?

— Теперь он и еще один хотят побить меня.

— И это все? Ну, это легко поправить.

— Что? — Минутное удовлетворение собой сменилось беспокойством. — Что ты хочешь сделать?

— Я пойду с тобой вниз, на улицу.

— Нет!

— Почему нет? Конечно, пойду. Я не позволю им приставать к тебе. Ты мне просто покажешь — кто, и я...

— Нет, ты не можешь этого сделать, — прервал он ее с отчаянием, — если ты пойдешь, они будут звать меня трусом!

— Но ты ведь и есть немножко трус, — засмеялась она.

— Я бы не боялся, если бы они не были такие большие. — Он старался отвлечь ее. — Если б ты знала, какие они большие. И их двое.

— Тем более мне надо пойти с тобой.

— Но я не хочу идти. Я хочу остаться здесь.

— Ты просто притворяешься.

— Нет, я хочу есть.

— Я предлагала тебе булочку и яблоко, — напомнила она, — совсем недавно, когда начала мыть окно.

— Я тогда не хотел.

— Ах! — проворчала она и посмотрела на часы. — Ты, как те большие мухи в Австрии, что летают взад и вперед или висят в воздухе, как привязанные. А что ты будешь делать, когда поешь? Сидеть здесь до прихода мессии?

— Нет. Я побегу в хедер и буду играть во дворе, пока не придет ребе.

— Хотела бы я, чтоб это было правдой.

— Я тоже. — Его обиженный взгляд застыл.

— Хорошо, — вздохнула она, — что ты хочешь, омлет?

— Ага! Ага!

— Прекрасно. — Она ласково улыбнулась. — Пока я могу дать тебе поесть, я чувствую себя в безопасности.

Ее грудь вдруг поднялась и ноздри округлились.

— Но почему я вздыхаю? — Она взяла с полки тарелки. — Я думаю, что это из-за мытья окон. Это всегда напоминает мне Браунсвилл и ту витрину с каракулями и рожицами. Интересно, смыли их теперь?

Она подошла к ящику со льдом.

— Прошло всего полтора года, как мы уехали отсюда. Но сейчас это кажется дальше, чем поездка за пять центов. — И она замолчала, разбивая яйца о край сковородки.

...Вот здорово. Всегда можно ее обмануть. Она не знает. А я не получу ту штуку из коробки. Ну и что!

Плита мягко фыркнула от спички. Но мать вдруг отодвинула сковородку, как будто передумала, и подошла к окну.

...Только бы не он! Только бы не он!..

— Хорошо! — воскликнула она ликующе и отошла от окна. — Как это я заметила его. Иногда я верю в предчувствия.

...А-а-а! Чтоб его лошадь упала!..

— Теперь я могу накормить всех моих мужчин, — засмеялась она, — редкое удовольствие!

Он напрягся, прислушиваясь, хоть шипение яиц мешало ему. И вскоре он услышал. Повернулась ручка. Жесткое обветренное лицо.

— А я уже готова! — весело сказала мать. — Еще секунда.

Отец бросил свою шапку на раковину и прислонил к ней новый кнут.

— Устал? — спросила мать.

— Нет.

— Я думаю, ты не откажешься от омлета.

Отец кивнул.

— Что это наследник дома? — Его тонкие губы изогнулись и смяли гладкую щеку.

...Не надо! Не говори ему!..

— О! — выпалила она, — кто-то пристает к нему. Какие-то большие мальчишки на улице.

...Ааа! Ненавижу ее!..

Лишенный любопытства взгляд отца повернулся от ее лица к лицу Давида, как медленная колесная спица.

— Почему?

— Какие-то деньги в яме. Они пытались их достать, что ли. И один — как его зовут?

— Куши, — мрачно подсказал Давид.

— Да, этот Куши сказал, что он толкнул его как раз тогда, когда он поднимал монетку. Обычная история. Детская ссора. — Она нагнулась над плитой. — Только если это из-за денег, это не совсем по-детски.

— Яма? — Голос отца едва заметно, но стал тверже. — Когда?

...О! Он думает: я рассказал!..

— Вчера, ты сказал, да, Давид? — Она стояла к ним спиной. — Ты не возражаешь, если я дам тебе кофе, который заварила утром?

— Нет. — Испуганные глаза Давида поднялись к мрачным глазам отца. — Я-я сказал — вчера.

Нижняя челюсть отца напряглась. Опущенные ресницы скрывали его тлеющую злобу:

— Что еще?

И хотя Давид знал, что этот вопрос относится к нему, он молчал.

— Это все! — засмеялась мать, как будто удивленная интересом мужа. — Я предложила пойти на улицу вместе с ним, потому что они пригрозили побить его, — она поставила омлет и кофе на стол, — но он отказывается, боится, что его назовут трусом.

...Он знает, что этого не было! Знает, что это было не вчера! Знает, что я вру!.. Но сошло!..

— Уф! — фыркнул отец с облегчением, — он уже до-

статочно большой, чтобы о себе позаботиться. — В его взгляде было странное удовлетворение.

— Но они большие, Альберт. — Она поставила на стол запотевший кувшин.

— Тогда, если они слишком большие для тебя, скажи им, что я возьму кнут, пусть только до тебя дотронутся. Просто, чтобы их попугать, — добавил он.

...Он за меня. Ха! — Давид механически поднял свою вилку... Она рассказала ему, и он знает, что я наврал, и все-таки он за меня. Может, я и его одурачил? Нее! Как он посмотрел на меня...

— У тебя есть время поспать сегодня?

Лицо отца потемнело. Он прочистил горло:

— У меня еще есть час.

Давид слез со стула:

— Можно я пойду, мама?

— Подожди, я дам тебе грушу.

— Я ее съем по дороге.

— Ты не боишься теперь? — Она направилась к ящику со льдом.

— Нет. — Он торопливо взглянул на отца.

— И ты уверен, что не хочешь, чтоб я смотрела в окно? — Она положила ему в руку холодную, скользкую грушу. — Пока ты не выяснишь, там ли Куши?

— Нет. Я побегу прямо в хедер.

Мать наклонилась поцеловать его.

— И не лезь во всякие драки, — сказал отец, — слышишь?

— Да, папа, — опять их взгляды встретились. Давид потянулся к дверной ручке.

— И не забудь съесть свою грушу, — напомнила ему мать. — Она сладкая, как...

Ее голос был приглушен закрывшейся дверью.

Он сбежал по лестнице и, выйдя на улицу, торопливо оглянулся. Лео нигде не видно. Хорошо! Теперь можно идти в хедер и ждать, пока не придет ребе. Он обошел повозку отца, прокрался через канаву и повернул к западу. Вдруг он услышал за спиной шум роликов.

— Эй, ты!

Не нужно было даже оглядываться.

Лео, держа кепку в руке, с открытым от злости ртом на раскрасневшемся лице возник на его пути. Стоя на роликах, он казался совсем большим, и его голова возвышалась над Давидом.

— Убегаешь, да? — Его курносый нос сморщился в сердитой усмешке. — Не мог сказать мне, что не хочешь идти, вместо того, чтобы заставлять меня болтаться здесь целый день!

— С чего ты взял, что я не хочу идти, — Давид поднял голову, умоляюще улыбаясь.

— Почему же ты не выходил? Чего ждал? Мы же договорились на десять часов.

— Я должен был ждать, пока не придет отец. Видишь, это его телега. — Он показал на повозку, надеясь, что у него появится какое-нибудь объяснение.

— Ну и что? — спросил Лео, посмотрев.

— Ничего. Мама заболела, и я должен был ждать.

— Врешь!

— Нет, не вру!

— Ладно! Пошли, если идешь. Пока тебе не нужно идти в это место, как оно там называется.

— Я не могу. Я должен сейчас туда идти. Хочешь грушу?

— Что! — Лео не обратил на нее внимания. — И это после того как ты сказал, что пойдешь! Не пытайся водить меня за нос, а то я сниму ролики, и ты у меня получишь. Слушай! Я ничего не буду делать, говорю тебе. Чего ты боишься?

— Там моя тетка, — слабо запротестовал Давид, — в магазине. Она узнает.

— Откуда она узнает, дурачок? Мы проберемся незаметно, ты что, не понимаешь? Уведем ее в подвал, когда никто не будет смотреть. Мы не станем вести, если тетка будет видеть! Пошли! Я дам тебе один ролик. Это мне? — Он потянулся за грушей.

— Да.

— Выглядит неплохо. — Он облизнул губы.

— А ты принес?

— Что? — с полным ртом. — А, четки? Конечно, что же я их дома оставлю? — Он наклонился вправо и показал несколько бусин в кармане: — Видишь? Они твои, не думай!

Засунув их назад, занялся своим левым роликом, сбросил его с ноги.

— На, надень. Я научу тебя, как ездить, не бойся. Дай сюда подкову. Вот так, видишь? — ремешок затянулся вокруг лодыжки Давида. — Отталкивайся другой ногой. Вот так! Вперед! — Он бросил огрызок груши в канаву и направился к Авеню Д. — Мигом дойдем туда, увидишь!

— У-ух! — Непривычная свобода движения возбуждала. — Ги-и! Здорово!

11

Запыхавшись от смеха и болтовни, они приближались к Кейн стрит. Чем ближе была теткина лавка, тем больше Давид трезвел. Он начал отставать.

— Может, просто поедем назад?

— Ну, нет! — взорвался Лео, — ты забыл, зачем мы здесь? Следующий квартал, да?

— Нет, — безвольно ответил Давид, — еще один, но я...

— Вперед! — не унимался Лео.

Ничего не оставалось делать, кроме как следовать за ним. Кровь Давида, которая минуту назад еще пела в восторге, теперь текла медленно, в тяжелом, гудящем ритме. Они достигли последнего угла.

— Эй, Лео, — Давид дернул его за рукав, — когда ты дашь мне?

— Что? — спросил Лео нетерпеливо.

— Ну, эти четки, которые у тебя в кармане.

— Когда будем там, — Лео энергично подтолкнул его, — чего ты волнуешься? Сначала покажи мне место.

— На этой стороне, — Давид осторожно продвигался вперед.

— Так, — Лео осмотрел поле действий, — это просто маленькая лавочка, так? Куда ты... Ага! — Он с трудом сдержал крик восторга. — Говорил тебе! Там ступеньки вниз, точно, как я думал! — и потянул Давида: — За мной!

С сердцем, колотившимся от страха, Давид пересек улицу вслед за Лео. Ему казалось странным, что люди, идущие по улице, не замечали его растущего ужаса.

— Сними ролик. — Лео опустил на колени и занялся своим.

— Что ты хочешь делать? — Давид опустил рядом с ним, пытаясь расстегнуть пряжку непослушными пальцами.

— Ничего! Не бойся! — Его шепот странно звучал на фоне уличного шума. Он поднялся, держа оба ролика в руках. — Ты кого-нибудь видишь внутри?

— Отсюда плохо видно.

— Ничего, подберись поближе. О, Боже! Ну что ты застыл! Шевелись!

Подкравшись, Давид всмотрелся в полумрак лавки.

— Там тетка! — прошептал он. — И, мне кажется, Полли.

— Но там две девчонки! — резко запротестовал Лео. — Я видел.

— Да, но вторую я не знаю.

— А той нет, ну, как ее зовут? Той, что ходила с тобой. Нет? Давай еще раз посмотрим. — Они опять прошли мимо лавки.

— Нет. Не видно. Может, пойдем домой?

— Будем ждать, пока она появится. — Лео прислонился к поручню. — У тебя есть время. Чего ты беспокоишься. Эй, прячься! — Он затолкал испуганного Давида себе за спину. — Они выходят! Прячься, а то увидят тебя!

— Ух, как близко прошли. Но они ушли в другую сторону.

Он отодвинулся, давая Давиду посмотреть.

— Какая из них сестра?

— Тошая. — Давид смотрел украдкой на девочек. — Это Полли, в желтом платье с черной хозяйственной сумкой.

— Как насчет этих двух? — Голубые глаза Лео расширились со значением. — Когда они вернутся?

— Не-е! — Давид откачнулся, — я их не знаю — ту, вторую.

— А, черт! Тебя ничто не волнует, вот что! Давай еще посмотрим. Может, теперь эта Эстер там.

Он опять протащил Давида мимо лавки. Но Эстер не было видно. Только тетка сидела за прилавком с газетой в руках.

— Ах, Иезус, нет удачи!

— Видишь, Эстер там нет. — Давид чувствовал, что теперь он мог спорить посмелее. — И если мы будем здесь болтаться, нас все увидят.

— А ну их к черту! Улица для всех. Кто запретит мне ходить здесь? — Тем не менее нижняя губа Лео разочарованно опустилась. — Она живет там, сзади, да?

— Да, — поспешил подтвердить Давид, — позади лавки. И нужно пройти мимо тетки, а этого нельзя сделать.

Но этот совет, вместо того, чтобы убедить Лео в бесполезности дальнейших усилий, просто смел его с места.

— Я не могу, да? — сказал он вызывающе, — хорошо, смотри! Пошли! — Он сошел с тротуара.

— Что ты хочешь делать? — Давид оцепенел.

— Главное, чтобы эта жирная тетка нас не увидела. — Лео взял Давида за руку. — Делай, что я говорю, понял?

Они остановились перед крыльцом соседнего дома, западнее лавки.

— Когда никто не будет смотреть, подберись к той лестнице и ныряй вниз. Я тебя прикрою, понял?

— Не-е-е!

— Ну, будь человеком, — попросил Лео доверитель-

но, — ты ведь хочешь четки? Ты ныряй первый, а я за тобой. Там я дам их тебе.

— А что ты там будешь делать?

— Мы проберемся во двор. — Давида корежило от его откровенности. — И если она там — прекрасно, а если нет, — ну и пусть; я все равно отдам тебе четки и мы пойдем домой.

— И это все?

— Честно, видит Бог! Ну, вперед, крадись!

Бросая вокруг испуганные взгляды, Давид проскользнул под окном лавки к лестнице в подвал.

— Ныряй! — приказал Лео. Губы его кривились.

Давид нырнул вниз по ступенькам. Затем Лео присоединился к нему.

— Надеюсь, она открыта. — Лео нажал на дверь, которой кончались ступеньки. Дверь поддалась.

Внезапно из подвала потянуло знакомой сыростью. На противоположном конце коридора светилась тонкая полоска слабого света — приоткрытая дверь.

— Пошли, — прошептал Лео, — тихо!

— А ты дашь мне? — Давид топтался на пороге.

— Конечно! Как только пройдем во двор. — Он прикрыл дверь, и Давид ступил в густую темноту. — Не шуми. Где туалет?

— Вон там, — тьма поглотила протянутую руку, — там дверь. Что ты...

— Шш! Иди за мной. Может, она там.

— Она никогда одна сюда не ходит.

— Все равно. Давай посмотрим.

Шаря в темноте руками, он пошел за Лео.

— Здесь?

— Да.

Пауза.

— Никого нет.

— Ага.

— Пошли.

Они двинулись дальше. Около световой полоски Лео остановился и выглянул во двор:

— Она живет наверху, куда ведет лестница?

— Да.

— Возьми! — Ролики тихо звякнули.

— Ч-что ты хочешь, чтобы я делал? — Давид держал их подальше от своего тела, как будто они таили в себе опасность.

— Ничего. Не делай ничего, — успокоил Лео, — просто мы выйдем, и ты сделай вид, что их снимаешь, чтобы был шум, понял? Если она там, скажи, что я — твой друг и разрешил тебе покататься на моих роликах. А потом я буду с ней говорить.

— А потом ты мне дашь?

— Я же сказал! Пошли. — Лео смело осмотрел толпящиеся вокруг окна. — Никто не смотрит.

Они поднялись на ярко освещенный двор.

— Теперь, — прошептал Лео, падая на одно колено и увлекая Давида вниз за собой, — как будто мы только что вошли. И больше шума.

Он загремел роликом по земле.

— Йа-а! Ги-и! — его голос поднялся до громкого, притворного крика, — я могу обогнать тебя. Когда хочешь! Два квартала? Да что два, будем гнаться десять! Ну, скажи же что-нибудь, ради Бога!

— Да! Да! — поддержал дрожащий Давид. — Десять кварталов ты не сможешь. Да! Да!

Щелкнул дверной крючок, и в пещере за дверью блеснули два глаза. Эстер, испуганная и недовольная, с журналом в руке, выглянула во двор.

— Ты! — крикнула она Давиду, — ты что делаешь в моем дворе?

— Ничего, я...

— Здравствуйте! — сказал Лео приятным голосом.

— Заткнись! — негодуя. — Я маме скажу... Ма!..

— Эй! — быстрый вскрик Лео остановил ее. — Подожди. Этот парень — твой брат, да?

— Ну и что?

— Почему же он не может быть на твоём дворе?

— Да, не может! — Она сердито мотнула головой. — Почему он не прошел через лавку? Мама!

- Я объясню тебе, — Лео отчаянно старался завязать разговор, — дай только сказать.
- Что? — с презрительным недоверием.
- Это было так. — Лео приблизился к лестнице и доверительно понизил голос. — Он слишком застенчивый.
- С чего это он застенчивый?
- Понимаешь, — он улыбнулся и подмигнул ей, — ему нужно было кое-что сделать, вот и все. Ты знаешь что!
- Я не знаю что. — Она немного успокоилась, но все еще была недовольна. — Это правда, Дэви? Тебе нужно было в туалет?
- Да, нужно, — подхватил Давид, — нужно было.
- А почему же он теперь не уходит? — подозрение еще таилось в ее лице.
- Ах! — Лео послал ей обожающую улыбку. — Он сказал, что у него такая симпатичная сестра. А я не поверил. А он сказал, что тебя покажет. — И всем своим видом Лео дал понять, что это так и есть. — А я сказал, что если она такая симпатичная, я дам ей покататься на роликах.
- Кому нужны твои ролики!
- Не хочешь? — он бросил оскорбленный взгляд на Давида. — Что ж ты говорил?
- Я..
- Он говорил, — прервал его Лео упавшим голосом, — он говорил, что ты хочешь научиться, и я сказал, что если она красивая, я научу ее. Ну и тип! Я думал, ты мне друг!
- Лео сделал вид, что хочет уйти.
- Ты просто хотел мои ролики, чтобы скорей сюда добраться! Я уйду!
- А чьи это ролики? — она спустилась на одну ступеньку. — Твои?
- Конечно, мои. Они, как молния. Хочешь научиться?
- А как тебя зовут?
- Лео. Лео Гинсбойм.
- Ты не еврей.

— Кто не еврей? — Он торжествующе посмотрел на Давида. — Ты что, не можешь узнать это по моему имени?

— Не ври!

— Ну что, хочешь научиться?

— Не-е, я не могу.

— Не хочешь?

— Не-е, — она посмотрела на окна, — здесь все увидят.

— Тогда выходи на улицу. Мы тебя там подождем. Там никто не увидит. — И заметив, что она колеблется, добавил повелительно, указывая на себя и на Давида: — Мы будем ждать на улице. Идет?

— Мм-м!

— Мы пойдем в другой квартал, где никто нас не знает. Чего боишься! Пошли, Дэви! — Он взял Давида под руку. — Мы будем ждать на улице.

Застенчивый смешок был ответом.

12

— Иезус! — возбужденно прошептал Лео, когда они погрузились в темноту, — сдвинули ее с места. Почему ты не сказал, что у нее есть титьки?

— Ты четки мне дашь сейчас? — Единственная устойчивая мысль в его мозгу.

— Чего торопишься? — упрекнул его Лео. — Получишь, не беспокойся. Я не хочу, чтоб ты смылся. А ты псих, знаешь? Ты что, даже не хочешь ее попробовать?

— Нет! — Темнота могла скрыть выражение отвращения на лице Давида, но не в его голосе.

Они поднялись на улицу и перешли на другую сторону.

— Подождем здесь.

Эстер появилась в дверях. Слегка кивнув головой, Лео направился к западному углу, потом вдруг резко повернул и перебежал через улицу. Давид плелся за ним.

Она приблизилась с безразличным, ленивым видом.

— Ну, — приветствовал ее Лео, — давай оденем ролики.

— Да мне что-то не очень хочется, — морщила она нос.

— Хочется, хочется! — Лео пытался зажечь ее своим энтузиазмом. — Ты почувствуешь ветер, когда быстро понесешься. Продует до самых трусов.

— Хи, хи, хи! — захихикала она, хоть и не разделяла его восторгов. — Заткнись, ты!

— Садись на крыльцо, — деловито заговорил он, подталкивая ее к ступенькам за ее спиной, — чтобы я мог тебе надеть.

— Я не хочу! — отпихивалась она, — ты хочешь, чтобы я упала, знаю!

— Иди ты! Кто хочет, чтоб ты упала? — Он поймал ее ногу и положил ее себе на колено. — Сиди спокойно! — Ключ от застежек упал рядом с ним на асфальт.

— Подожди, — он пригнул голову почти до земли, поднял ключ, снова уронил его.

— Оо-о-о! — завопила она, — перестань!

Обеими руками она натянула подол своего платья вокруг колен. — Грязный мальчишка!

— Кто, я? — Лео выпрямился с невинным выражением лица. — Я просто искал ключ.

— Нет, не ключ, ты...

— А, брось! Ты что, не веришь человеку? Давай другую ногу. Ты что-то выдумываешь. — И, затягивая ремешки второго конька. — Пустишь мой ключ в твой замок?

— Что ты сказал? — она наклонилась вперед.

— Я сказал, что хочу вставить мой ключ в твой замок.

Она выкатила глаза.

— Ну! — вскрикнула она и откачнулась. — Что ты говоришь! — и захихикала, закрывшись ладонями, и опять натянула платье. — Заткнись!

— А что я сказал? — спросил он, как бы не понимая.

— Ты знаешь! — ее косички разлетелись на энергично мотающейся голове. — Стыдись!

— Эй, Давид, — он значительно ухмыльнулся, — что я сказал?

— Не знаю, — Давид вяло повел глазами.

— Вот, видишь! Я говорил про ключ от роликов. — Он поднялся. — Ну, давай мне руки.

— Хи-и!

Он поднял ее на ноги. Ролики разъезжались. Он схватил ее за зад и за грудь.

— Держись!

— Ой, пусти! — Она оттолкнула его, потеряла равновесие и снова уцепилась за него. — Увидят!

Лео потащил Эстер к углу, и ее крики становились все возбужденнее, а Лео кричал все восторженнее, и его рука опускалась все ниже.

13

Давид наблюдал, как они исчезли за углом. Потом, полный нехороших предчувствий, он уселся на краю тротуара и задумался.

— Хэлло, Дэви! — он вздрогнул и поднял голову. Они вернулись. Лео держал ролики в руках. Эстер стояла рядом, виновато опустив глаза.

Лео отвел Давида в сторону и прошептал ему на ухо:

— Я хочу писать.

Они направились к лавке и остановились у входа в подвал. Эстер шла за ними в некотором отдалении.

— Не смотри на нее! — прошипел Лео.

Напуганный до мозга костей, уверенный в приближающейся катастрофе, Давид заковылял по ступенькам вниз. ...Спросить его сейчас?..

— Ты-ты дашь...

— Подожди, подожди, — остановил его Лео. — Она сейчас придет.

Лео нащупал в темноте какую-то дверь рядом с туалетом и затолкал за нее Давида.

— Если кто-нибудь появится, ты сделай — пс-ст! — и прячься, понял? Я дам тебе, когда она придет.

Снаружи послышалось шарканье подошв, и в тонкой полоске света над лестницей возникло короткое платье. Эстер.

— Не-е, я не хочу! — остановилась она на ступеньках.

— Пойдем, я кое-что тебе покажу, — сказал Лео. Она прошла за ним, и их лица в полумраке казались бледными и испуганными. Послышались шуршание и шепот. Потом он услышал, как Лео сказал:

— Подожди, я возьму ролики.

Силуэт Лео появился перед Давидом в полумраке. Он взял коньки у Давида и вложил ему в руку кучку постукивающих бус.

...Они!.. — Давида охватила дрожь. — Теперь ничего не боюсь!..

Лео исчез, и опять послышались шорохи и шепоты у туалета.

...Мои. Теперь они мои! Из коробки с Богом. Да, те самые. Не обманул. Теперь не боюсь!..

Во дворе послышался звук приближающихся к двери шагов. Потом осторожные шаги по ступенькам, и в полоске света над лестницей мелькнуло и исчезло лицо Полли. Она прошла вглубь подвала и прислушалась. Шорох и смешки.

— Нет! Хватит! — вдруг закричала Эстер. — Пусти!

Хлопнула невидимая дверь. Послышались звуки борьбы и снова полный ужаса крик Эстер:

— Полли!

После паузы, когда казалось, что они внезапно лишились языка, Эстер спросила:

— Чего ты на меня так смотришь?

— Ты знаешь, чего! — ответила ее сестра многозначительно. — Ты знаешь, чего.

— Что?

— Ты играла в плохую игру с ним! Вот что ты делала! С этим бродягой! Думаешь, я не знаю?

— Нет! — закричала Эстер.

— Да!

— Кто здесь бродяга? — спросил Лео нахальным голосом.

— Кто еще? Ты!

— А ты не называй меня бродягой! А то сейчас получишь!

— А вот и буду. — Бродяга!

— Сейчас как дам!

— А, он еще и гой! Ты, грязный гой, убирайся из моего подвала! Я сейчас мать позову!

— Убирайся! — присоединилась к ней Эстер.

— Ну и черт с тобой! Держись за свои трусы! — он пошел к двери. — Говно!

Дверь стукнула.

— Оо-о! Уу-у! — подвал наполнился рыданиями Эстер.

— И ты еще плачешь! — кричала Полли. — Ты пришла сюда с этим гоем! Я скажу маме!

Она пошла к двери, и Эстер повисла на ней.

— Не говори! Не говори! Я больше никогда не буду смеяться, что ты писаешь в постель!

— Пусти! Я скажу!

— Смотри! Смотри! — завопила Эстер.

— Что?

— Вот он! Дэви! Это он его привел! — она бросилась к нему, выставив вперед руки, и вцепилась ногтями в его щеки. Как будто в ночном кошмаре, молчаливо он боролся с ней в темноте.

— Мама! — послышался крик Полли во дворе. — Мама!

— Полли! — хватка Эстер ослабла. — Полли! Подожди, Полли!

Она бросилась за сестрой:

— Не говори, Полли! Не говори!

Он бросился к двери на улицу, и ее крик звучал у него в ушах.

Он бежал и бежал, и его собственное дыхание стало резать легкие, как нож, и ноги стали такими тяжелыми, будто они поднимали за собой асфальт. Покачиваясь от изнеможения, он перешел на неровную ходьбу и дышал с таким хрипом, что люди оборачивались. Только одна мысль роилась в хаосе его сознания: добраться до хедера и затеряться среди остальных.

Вот, наконец, и двор хедера. Убежище! Несколько учеников уже здесь. Они сидели на корточках или лежали на слепящем солнце, прислонив головы к блеклой стене хедера. Его сердце рвалось к ним, и слезы облегчения так наполнили его глаза, что, казалось, самый легкий вздох прольет их. Он всегда был одним из них, всегда был здесь, никогда не уходил отсюда. Беззвучно, медленно покидаемый страхами, он спустился по деревянным ступенькам и приблизился к ним. Они подняли головы.

— Ты за мной! — сказал Ицци лениво и приветливо.

— За мной! За мной! — послышались голоса.

— Хорошо! — Он был рад быть даже последним среди них. Это был знак, что они принимают его, позволяют ему разделить их драгоценные безделье, невинность и смех.

— Да, я последний. — И найдя место у стены, он опустился на землю.

Дверь хедера распахнулась.

Из нее выбежали Шломо и Мойша с выражением загнанных животных. Через секунду появился ребе. Его красные губы выступали из лоснящейся черной бороды, углы рта были угрожающе и мрачно опущены. Его угрюмый взгляд скользнул по лицам, остановился на Давиде и посветлел:

— Ты! Войди!

— Я? — он вздрогнул.

— На ком остановил я мои глаза? Вставай! — И остальным: — А вы сидите здесь в судорогах! Но сидите! — Он погрозил пальцем, а затем поманил Давида.

Давид вскочил на ноги и поспешил к ребе. Впервые с того дня, как он начал ходить в хедер, трудное дело — читать раздраженному ребе — вдруг показалось ему приятным.

Когда они вошли, ребе обратился к кому-то, сидящему в комнате:

— Еще только один! Наберитесь терпения, реб Шолем! Не бросите же вы меня опозоренным, не прослушав хоть одно беглое чтение? А? Конечно, нет!

После залитого солнцем двора Давид всматривался в полутьму и не мог ничего различить. Но постепенно из темного угла рядом со столом ребе выплыли неясные очертания человека. Он сидел, опершись подбородком на трость. Слабое мерцание его сивой бороды было, как переход от света к тени. Ребе виновато хмыкнул и пододвинул свой стул:

— Когда мне удастся проткнуть железо волосом с моей головы, тогда я смогу вбить учение в их черепа. Но этот, реб Шолем, этот — поистине еврейский ребенок.

Реб Шолем ответил на это покашливанием.

Пока ребе переворачивал страницы, Давид сел на скамейку и застенчиво разглядывал незнакомца. Он был стар, реб Шолем. Хотя его безгубый рот в серой бороде казался напряженным и мрачным, его темные глаза были влажны, полны печалью и вниманием.

— Это странный ребенок, — голос реб Шолема был хриплым и медленным, — у него алчущие и беспокойные глаза.

— Вы попали в точку, реб Шолем! — Ребе распылил волосатые пальцы по странице. — Иногда он читает, как молния, иногда дьявол залетает к нему в голову, и он не видит ни слова. Но я чувствую, что сегодня он будет молиться. Что-то есть в нем такое, что побуждает его. — Он приподнял ладонь над страницей так, чтобы только реб Шолем мог видеть, что там написано. — Помните, я однажды говорил вам?..

Реб Шолем выпятил губы, прочистил горло, но не ответил.

— Я бы начал с ним хумаш, но я так редко вижу его мать. Никогда ее не спрашивал... Слушайте! — Он убрал руку со страницы. — Начинай, мой Давид!

Буквы были маленькие. Давид всмотрелся в их мельтешение. Потом он произнес несколько слов, среди которых было слово Исая, глаза его расширились и он умолк. Номер страницы был шестьдесят восемь, и край обложки был синий.

— Что случилось? — редкая терпимость смягчила голос ребе. — Чего ты ждешь?

— Это, это о нем! — Воспоминания разгорелись яркими лучами. — Это о нем!

— О ком? Кого ты имеешь в виду?

— Тот человек! Вы сказали — Исая! Он сказал, он сказал, что видел Бога — и это был свет! — Возбуждение сковало его язык.

— Видите, реб Шолем! — Смуглый лоб ребе просветлел. — Одного взгляда ему достаточно, хотя это было месяцы и месяцы назад! — Твердый палец постучал по лбу Давида. — У него железный ум!

Черная борода ребе, казалось, излучала удовлетворение. Реб Шолем постучал тростью по скамейке:

— Действительно! Росток надежды.

— Теперь читай подряд! — призвал ребе к делу. — Начни сначала.

Давид читал, и это было не обычное скучное жужжание, а песня и молитва.

— Как будто он понимает, — хрипло сказал реб Шолем, — этот молодой голос поет моему сердцу!

— Если бы я не был уверен, если бы я не знал, я бы тоже думал, что он понимает!

— Будь благословенна твоя мать, мой сын! — реб Шолем нагнулся и погладил щеку Давида холодными пальцами.

— Мама! — Слова замутились, крик ужаса разрушил все величие. — Мама! — Он остановился. — Мама!

— Что с тобой? — пальцы ребе оторвались от живота и вытянулись, точно хотели что-то схватить.

— Мама! — Он вдруг разразился слезами.

— Подожди! Что с тобой? — Торопливая рука ребе подняла подбородок Давида. — Почему ты плачешь?

Большие, сочувствующие глаза реб Шолема смотрели на него:

— Реб Идл, говорю вам, он все понимает.

Несчастный Давид рыдал.

— Ну, отвечай! — требовал озадаченный ребе. — Скажи хоть словечко!

— М-моя мама! — выдавил Давид.

— Твоя мама — что? — В голосе ребе прозвучала тревога. — Что с ней? Говори! Что случилось?

— Она... она...

— Ну! Что?

Давид не знал, что заставило его произнести это, но то было сильнее его воли.

— Она умерла! — он разразился громким воем.

— Умерла? Умерла? Когда? Что ты говоришь!

— Да! Уу-у!

— Ша! Подожди! Я видел ее здесь! Только... Когда она умерла, я тебя спрашиваю?

— Давно! Очень давно!

— Но как это может быть? Я видел ее. Она привела тебя. Она мне платила. Что значит давно?

— Это... это моя тетя!

— Твоя!.. — Дыхание громко клокотало в горле у ребе. — Но ты называл ее мамой! Я слышал! И она сказала, что она твоя мать.

— Она просто так говорит! Уу-у-у! Просто говорит! Всем! И хочет, чтобы я ее звал... — Порыв отчаяния затопил его.

— Ага! — с подозрением и сарказмом, — что за истории ты рассказываешь? Откуда ты знаешь? Кто сказал тебе?

— Моя тетка... моя тетка сказала!

— Какая тетка? Сколько их у тебя?

— Вчера! — рыдал он, — нет. Не вчера. Когда вы хотели меня ударить. Тогда. Я тогда не мог читать. У нее кондитерская лавка. Она мне сказала.

— Это тогда — в понедельник?

— Д-да!
— И она сказала тебе? Вторая тетка?
— Да! У-у-у-у! У нее кондитерская лавка.
— А, черт!
— Глупая женщина! — грустно сказал реб Шолем, —
открыть такое ребенку!

Он вздохнул и мягко взял Давида за плечо:

— Ну, дитя. Не надо плакать. Если это было давно, то и плакать давно уже не надо. Ну! Так было угодно Богу. Где твой платок? — Ребе раздраженно шарил по карманам Давида. — Виселицы ей мало, вонючий язык! — Он нашел платок. — Ну же! Так ты ее не помнишь? Когда она умерла?

— Я не знаю. Тетка не сказала.

Брови ребе опять озадаченно сошлись:

— А почему ты не живешь со своим отцом? Где он?

— Я-я не знаю!

— Хм! Хоть что-нибудь она о нем сказала?

— Она сказала, он был...

— Кто?

— Я забыл! Я забыл, как это сказать, — плакал Давид.

— Думай! Кто он был, портной, мясник, торговец, кто?

— Нет. Он был... Он играл...

— Играл? Музыкант? На чем играл?

— Это — это вроде пианино. Ор-орган! — выкрикнул Давид.

— Орган? Орган! Реб Шолем, вы видите землю?

— Я, кажется, вижу то, что видно раньше всего, реб Идл. Колокольню.

— Хм-м! А почему ты не с ним? — настороженно спросил ребе.

— Потому что он в Европе.

— И?

— И он играет в... в... она сказала — он играет в церкви.

— Горе мне! — Ребе упал на спинку стула. — Я почувствовал это! Когда он сказал орган, я понял! Ох!

Его лицо вдруг просветлело:

— Реб Шолем, когда вы сказали "колокольню", вы имели в виду именно это?

— Именно это.

— Ах, реб Шолем, если бы Бог дал мне вашу мудрость!

Реб Шолем кашлянул и сплюнул под стол. Секунду или две единственным звуком в комнате было трение его подошвы о мокрый пол.

— Будем надеяться, они позаботились, чтобы он был евреем.

— Ой! — сказал ребу сдавленным голосом, — хватит! Слава Богу, что вы здесь, реб Шолем! А то кто бы мне поверил! Ай, ай, ай! Могли вы себе представить такую мерзкую и низкую женщину! Сказать такое ребенку!

— Мерзкий, несдержанный язык!

Ребе вдруг повернулся к Давиду:

— Теперь иди! И не плачь! И никому ничего не говори! Понимаешь? Ни слова!

— Да. — Давид повесил свою несчастную голову. Он соскользнул со скамейки, повернулся и пошел к двери, чувствуя на себе их взгляды.

Двор. Они все еще валялись у стены хедера.

— Ура! Моисей, учитель наш! — раздался огорченный голос Ицци, — он уже кончил! Ура!

Давид торопился к деревянным ступенькам.

— Смотри, Иц, он плачет!

— Да, а мне сейчас идти!

— За что он тебя ударил? Эй!

— Эй, что случилось?

Коридор наполнился их криками. Давид выбежал на улицу. Дико взглянув на дорогу к дому, он бросился в противоположную сторону.

Спустя некоторое время ребу Идл, проклиная этот несчастный день, стоял перед дверью квартиры Шерлов в ярком пятне света, падающем из окна в крыше. Он постучал.

— О! Давид! Давид! Это ты? — отозвался голос, наполненный бесконечной тревогой, — разве закрыто? Я ждала...

— Это я — реб Идл Панковер, — сказал ребе, открывая дверь.

15

— Мороженого на пенни, миссис! Мороженого на пенни, миссис!

Мрачный малыш шести лет стучал по мраморному прилавку своим медяком.

— На пенни мороженого, миссис!

Но ни длинноносый, кусающий свои усы хозяин лавки, ни его рыжая жена с выпученными глазами, ни их прыщавая, испуганная дочка не двигались с места.

В лавку вошел еще один ребенок.

— Дай лизнуть, Мотке?

— Они даже мне не дают! — Мотке повернулся к товарищу с обиженным видом.

— Тогда пошли к Салли. А?

— Ну-у! — заворчал хозяин на идиш: — Ты ему дашь, или он будет орать здесь целый вечер.

— Яйца с перцем, вот что я ему дам! — Она вызывающе скрестила руки на груди (малыш еще больше обиделся). — А ты что, не можешь? Или ты сдох?

— Нет! — Его маленькая, брюзгливая челюсть выдвинулась вперед, насколько позволяли зубы, — пусть вся лавка сгорит до основания! Нет!

— Чтобы ты сгорел вместе с лавкой! — Она плюнула на него. — Нужен ты мне с твоим грошовым бизнесом! Оседлал меня этой лавкой, ничего себе муженек! Полли, иди, отпусти ему.

Мрачно выпятив губы, Полли подняла ржавую крышку банки, плавающей в полурастаявшем льду, наложила бледно-желтую, дымящуюся, заledenелую массу в бумажный стаканчик и вручила мальчику. Дети ушли. Мать злобно посмотрела на девочку.

— Нужно тебе было говорить ему, а? Вонючая писюха! Предупреждала тебя!

— Ты мне не мать, — проворчала Полли по-английски.

— Сейчас ты у меня получишь! — Мачеха сняла руки с груди. — Думаешь, тебе все сойдет, если твой отец здесь?

— Оставь ее! — негодуя вмешался муж, — может, ты думаешь, что она врет? Если бы это была твоя плоть и кровь, ты бы следила за ними. Ты бы не сидела здесь на своей жирной заднице, когда этот подонок мучил мою бедную дочь.

— Чтоб ты был козлом отпущения для собак! — Ее голос поднялся до бьющего по ушам, злого крика. — И для крыс! И для змей! Могу я следить за всем? Лавка! Покупатели! Поставщики! Кухня! Да еще твои вонючие дочери! Тебе не достаточно убивать меня этой лавкой, ты еще наградил мой живот своим семенем — вот! — Она подняла измазанный шоколадом передник, будто хотела бросить его в мужа. — И плюс ко всему ты просишь меня следить за этими грязными лентяйками! Если они не хотят меня даже слушаться, как я могу за ними следить? Что они, недостаточно взрослые? Или они мало знают? И та, что притворяется, что плачет на кухне, — двенадцатилетняя девка! Чтоб она там удавилась! А ты — ты даже не заслуживаешь, чтобы земля покрыла тебя! И еще говорит мне — следить за ними! И если хочешь очень знать, так ты сейчас перестанешь верещать и пойдешь на кухню есть свой ужин. — Она замолкла, задыхаясь.

— Да? — он заикался не столько от бешенства, сколько от непреодолимого упрямства. — Ужин — ты — мне — есть? Ужин! После того, что случилось! Горе тебе! Но на этот раз — я — ты не оседлаешь меня как... как смирную лошадь! Нет! Теперь — ты — теперь ты не будешь на мне верхом ездить...

— Поцелуй меня в зад! — опять набросилась она на него. — Ездить на тебе! А на мне не ездят? Ну и дурак же ты — так беситься из-за этого! Как будто никог-

да раньше два щенка не игрались, как собаки. Что она, калекой стала! Он отнял ее честь? До свадьбы заживет!

— Откуда ты знаешь? Сколько ему лет? Что он натворил? Ты хоть посмотрела?

— Посмотрела? Да! — засмеялась вдруг она, — я посмотрела! Ее тусы такие же грязные, как всегда! Иди сам посмотри!

— Чтоб тебе лопнуть! — проворчал он.

— Щенки играют, а он волнуется! Будущее, женихи, женитьба! Они и так ее попробуют до свадьбы. Идиот! Ты хочешь ей жениха? Нос твой будет ей женихом!

Его маленькое тело напряглось. Его болезненно-желтое лицо налилось кровью.

— Так твоя мать говорила твоему отцу про Геню? И то же самое — гой! Это уже семейная черта! А тебе хоть бы что! — Его раздражение вдруг угасло, и он замолчал.

— Чтоб ты сгорел, как свеча! — Она в бешенстве наступала на него. — Чтоб тебе тошно стало от стыда! Я рассказала тебе секрет, а ты надо мной издеваешься? Я сейчас тебе дам так, что весь мир для тебя перевернется!

Он поднял руки защищаясь:

— Уйди! Оставь меня! Если ты мечтаешь обожраться лакомствами на моих поминках, так скорей я нажрусь на твоих!

— Чтоб тебя зарезал китаец! — Она презрительно повернулась к нему задом. — Пугало! Я тебя больше не слышу! Говори с моей задницей!

— Ладно, ладно! — Он бессильно качался. — Пусть будет, как ты говоришь. Моя единственная! Моя праведница! Но он, этот маленький, лупоглазый жулик, ему хоть бы что! Это справедливо, а? Племянник тебе дороже, чем дочери, которых я тебе вырастил. Но помни, есть Бог в небесах, Он тебя за это осудит!

— Я разве говорю, что он должен остаться безнаказанным? — Берта опять вскипела. — Говорю тебе, я скажу Гене завтра утром. Чего еще ты хочешь? Чтобы Альберт узнал? Сколько раз я тебе говорила, какой он

маньяк! Ты что, сам не видел? Он оторвет у этого ребенка все конечности. Ты этого хочешь? Так ты этого не получишь! А теперь иди на кухню и ешь!

Совершенно запуганный, но слишком упрямый, чтобы сразу повиноваться, он стоял, бормоча что-то под ее горящим взглядом...

— Геня... Да! Да! Она с ее легкой рукой и мягким голосом. Да! Да! — Он горестно кивнул. — Она и не подумает поднять на него руку! Она будет с ним говорить, вот что она будет делать, — ласкать его. Единственное, что его ждет — разговоры. Разговоры после того, что он сделал моей Эстер. Да! Да! Но мне этого недостаточно, знай! Я не удовлетворен.

— Ты пойдешь есть?

Он повернулся, чтобы идти. Но в это время в лавку вошла женщина.

— Здравствуйте, миссис Стернович!

— Здравствуйте.

— И мистер Стернович! Не заметила вас. Как жизнь?

— Ничего.

— Всего лишь ничего? Дайте мне булавок на два цента.

— Сейчас.

Пока миссис Стернович копалась среди коробок, ее муж наблюдал за ней, сжимая и разжимая свои нервные руки. И вдруг он сжал кулаки, скользнул к выходу из лавки и исчез. Покупательница засмеялась.

— Что случилось с вашим мужем? — спросила она.

— Ах, — бросила миссис Стернович через плечо, — один Бог знает, что волнует его. Его нос опустился до земли, и он не может его поднять.

— С мужчинами всегда так, — усмехнулась покупательница.

— Вот. Новая коробка. — Она повернулась, и ее глаза вылезли из орбит. — Где он? Натан!

— Я поэтому и спросила вас, — женщина еще улыбалась, — это выглядело как если бы он убежал.

— Убежал? — Ее словно громом оглушило. — Куда?

— Туда. К Олден Авеню, я думаю. А что случилось?

Миссис Стернович выскочила на улицу, пробежала несколько шагов, но потом вернулась.

— Не вижу его! Не вижу! — бессвязно бормотала она, брызжа слюной. — Он провел меня! Он побежал к Гене. Почему ты не сказала мне, маленькая змея?

Она подняла руку, чтобы ударить Полли, но передумала.

— Позови Эстер! Скорее! О, если он попадется мне в руки! Быстрее! Следите за лавкой. Если я скоро не вернусь, позовите миссис Циммерман. Следите за кассой! Я догоню его! Я устрою скандал посреди улицы. Я притащу его назад за волосы! — Она выбежала на улицу.

Полли открыла дверь на кухню и крикнула:

— Выходи, Эстер! Они ушли! Мы остались в лавке!

16

На втором пролете неосвещенной лестницы резкий запах дезинфекции ударил ему в ноздри. На площадке узкое, затянутое проволочной сеткой окно было открыто. Он остановился и выглянул во двор. В темном дворе внизу тощая серая кошка прыгнула на забор, не долетела до верха и молча царапалась по доскам.

...Это мама виновата. Не я. Она сказала о нем. Она сказала тетке Берте. Она виновата. Ей понравился гой и мне понравился. Вот! Это из-за нее. Так я и скажу: "Твоя вина, твоя!.."

На площадке третьего этажа было такое же окно, но сквозь него уже было видно небо.

...Они не знают. Кто мог им сказать? Полли не сказала, ей Эстер не дала. А вдруг она ее не догнала! Ну и что? Тетка никому не скажет. Она меня любит. А отца она ненавидит. Она даже хочет меня вместо них. Чего я боюсь? Никто не знает. О, Господи, сделай, чтобы никто не узнал! А ребе? А-а-а, он всегда все забывает. А я скажу, что заблудился. О, Боже! Лучше бы я сломал ногу...

Он подкрался к своей двери, и его коленки выбивали дробь в тишине. За дверью кто-то засмеялся.

...Кто? Она? Мама? Да! Она! Она ничего не знает! Если бы знала, не смеялась бы...

И все же он весь дрожал, открывая дверь.

— Давид! Давид, детка! Где ты был?

— Мама! Мама! — Но бросаясь к ней на грудь, он заметил краем глаза бородатую фигуру за столом. И только убежище в углублении между ее грудями заглушило крик ужаса.

— Тише. Успокойся, милый. Не бойся. — Она раскачивала его, прижав к себе.

За его спиной прозвучал суровый, полный издевки голос отца:

— Да, успокаивай его! Ласкай его!

— Бедняжка! — Ее слова доходили до него через ее грудь. — Его сердце бьется, как у воришки. Где ты был, моя жизнь? Я чуть не умерла от волнения. Почему ты не пришел домой?

— Заблудился! — простонал он. — Я заблудился на Авеню А.

— Ах! — Она еще сильнее прижала его. — Из-за того, что ты рассказал эту странную историю?

— Я все это выдумал! Я выдумал!

— Выдумал? — мрачно спросил отец за спиной. — Ах да, выдумал!

Он почувствовал, как мать вздрогнула.

— Ой! Ой! Ой! — вырвалось у ребе, — я вижу, что плохо сделал, придя сюда. Да?

Никто не ответил на его вопрос.

— Хватит скулить, ты! — прошипел отец.

— Но что мне было делать? — опять начал ребе; несмотря на все свои горести, Давид удивился умоляющим ноткам в его голосе. — Нужно было выгнать его со всей этой болтовней. И задать ему такого, чтоб дети его детей громко плакали. Но как я мог не поверить ему? Такая невероятная история не может не быть правдой. Его отец — гой, органист в церкви. Его мать умерла...

— Что! — Два голоса, но какие разные интонации!

— Вы, миссис Шерп — его тетя! Такую историю вряд ли услышишь до прихода мессии.

Опять молчание, и потом, словно тишина ломалась от напряжения, отец заскрежетал зубами.

— Но теперь я вижу, что это шутка! Без сомнения! Это ваш ребенок! Всегда был! О чем тут беспокоиться? Ха, ха! Шутка! Про охотника и медведя. Понимаете? Чего эти дьяволята не изобретут! Ха, ха! Шутка!

— Да! Да! — тревожный голос матери.

— Хм-м! — дикий храп отца. — Слишком ты легко соглашаешься! Откуда у него эта история? Пусть говорит! Где он слышал? Это Берта, эта рыжая корова? Кто?

Давид застонал и сильнее прижался к матери.

— Оставь его, Альберт!

— Вот как ты говоришь? Ничего, мы выясним!

— Но я думал, вот я — ребе, и мой долг сказать вам. По крайней мере, чтобы вы знали, что он знает.

— Ничего страшного, — мать остановила его жестом руки, — прошу вас, не беспокойтесь!

— Ну, хорошо! Хорошо! Мне нужно идти! Синагога! Уже поздно. — Скрип его стула и шарканье ног заполнили паузу. — Так вы не сердитесь на меня?

— Нет! Нет! Ну что вы!

— Спокойной ночи, спокойной ночи, — торопливо, — дай вам Бог хорошего аппетита к ужину. Не буду вас больше беспокоить. Если хотите, я начну с ним хумаш. Это редкий случай для ребенка, который так недавно ходит в хедер. Спокойной ночи.

— Спокойной ночи!

— Ох, ох, ох! Жизнь — слепой жребий. Слепые прыжки во тьме. Спокойной ночи, ой, ой! Чертов день! — бормотал про себя ребе...

Скрипнула задвижка. Открылась и закрылась дверь. И презрительный голос отца:

— Старый дурак! Слепая старая кляча! Но на этот раз он сделал доброе дело!

Давид опять почувствовал как напряглось тело матери.

— Что ты хочешь этим сказать? — спросила она.

— Сейчас скажу, — ответил он зловеще, — нет, я даже и говорить тебе не стану. Оно скажет само за себя. Ответь мне, где был мой отец, когда я женился на тебе?

— Зачем ты спрашиваешь, если сам знаешь? Он был мертв.

— Да, я знаю, — ответил он, нажимая на слова. — Ты видела мою мать?

— Конечно! Что на тебя нашло, Альберт?

— Конечно! — медленно повторил он с презрением. — Видела ли ты ее до того, как я сам ее привел?

— Чего ты хочешь, Альберт?

— Ответа без обмана, — прошипел он. — Ты знаешь, о чем я говорю! Прекрасно знаешь. Она приходила к тебе одна? Тайком? Ну? Я жду!

Она раскачивалась в нерешительности. И, наконец, спокойно ответила:

— Ты же знаешь, что приходила.

— Ха! — Он даже сдвинул стол с места. — Я знаю! О, я знал ее натуру! И она сказала тебе, да? Она предупреждала тебя! Против меня! Она сказала, что я сделал?

— Об этом ничего не было сказано!..

— Ничего? О чем "об этом"? Не притворяйся наивной!

— Ничего! — отчаянно повторила она, — Перестань мучить меня, Альберт!

— Ты ничего не говорила, — неумолимо настаивал он, — ты ни о чем не спросила меня, не спросила, что я натворил? Она рассказала тебе!

Мать молчала.

— Она рассказала тебе! Что у тебя язык отнялся? Говори!

— Ах!.. — и остановилась. Только Давид слышал дикое биение ее сердца. — Не сейчас! Не при нем!

— Сейчас! — рявкнул он.

— Она мне рассказала, — ее голос дрожал, — и она говорила, что я не должна выходить за тебя. Но какое это имеет...

— Значит, говорила! А другие? Кто еще?

— Почему ты так хочешь это услышать?

— Кто еще?

— Отец и мать. И Берта, — она говорила с трудом, — они знали. Я никогда не говорила тебе, потому что...

— Они знали, — прервал он ее с горьким торжеством, — они всегда знали! Так почему они позволили тебе выйти за меня замуж? Почему ты за меня вышла?

— Почему? Потому, что никто из нас ей не поверил.

— О, — саркастически, — вот что? Как легко вам было не поверить! Но она клялась, что так и было! Она должна была клясться, так она меня ненавидела. Она сказала тебе, что мы с отцом поругались в то утро, что он ударил меня и что я поклялся отплатить ему? И крестьянин видел нас издалека. Она сказала тебе? Этот крестьянин говорил потом, что я мог бы это предотвратить. Что я мог остановить быка. Но я и пальцем не шевельнул! И бык проткнул его рогом. Это она тебе сказала?

— Да! Но Альберт, Альберт! Твоя мать выглядела безумной! Я не верила этому тогда и сейчас не верю! Прекрати, пожалуйста! Давай потом об этом поговорим!

— Теперь, когда мне все стало ясно, ты хочешь, чтоб я прекратил этот разговор, да?

— Почему вдруг стало ясно? — В ее тоне была резкая настойчивость. — Что тебе ясно? Что ты пытаешься доказать?

— Ты еще спрашиваешь, — зловеще, — ты смеешь меня спрашивать?

— Да! Что ты задумал?

— О, твоя злоба! Сколько ты думаешь таить ее! Сколько можно успокаивать и дурачить меня! Хочешь, чтоб я сказал? На мой грех есть еще один грех! Тебе этого достаточно?

— Альберт!

— Не обращай ко мне, — рычал он, — я добавлю: они должны были избавиться от тебя!

— Альберт!

— Альберт! — огрызнулся он. — Кто он? Тот, кого ты держишь в руках! А? Как его назвать?

— Ты сошел с ума! О Боже! Что с тобой случилось?

— С ума, да? Пусть сумасшедший, но не обманщик! Ну! Чего ты ждешь! Сбрось маску! Все эти годы я не притворялся перед тобой. Все эти годы ты не обмолвилась ни словечком. Ты притворялась, будто ни о чем не слыхала. Почему? Ты знаешь, почему! Я бы выяснил то, что выясняю сейчас! Я бы спросил, почему они позволили тебе выйти за меня? С тобой что-то было не в порядке? Я бы понял. Но теперь — говори! Чего бояться? Ты знаешь, кто я есть. Все эти годы моя кровь подсказывала мне. Шептала мне, когда бы я на него ни взглянул, что он не мой! В тот момент, что вы сошли с парохода, я догадался.

— И ты поверил детской фантазии? — Она говорила напряженным, ровным голосом человека, пораженного чем-то, ни с чем не сообразным. — Лепету?

— Нет! Нет! — вскричал он со свирепым сарказмом. — Ни слову. Как я мог? Это — бессмыслица, конечно. Но пусть он теперь говорит. Может, это лучше прояснит!

— Я всегда считала тебя странным, Альберт, даже сумасшедшим, но я думала, что это из-за твоей гордости, и я тебя жалела. Но теперь я вижу, что ты в самом деле сумасшедший! Альберт! — вдруг закричала она, точно пытаясь разбудить его. — Альберт! Ты понимаешь, что ты говоришь!

— Комедия окончена! — Он помолчал и вздохнул в раздумье. — Хм-м! Как ты держишься! Не вздрогнешь! Не сдаешься! Но ответь мне! Вот тебе шанс показать мне, что я сошел с ума. Где свидетельство о рождении? А? Где оно? Почему они его не прислали?

— Всего-то? Из-за таких пустяков твоя кровь так кипит? Боже, отец же писал тебе. Они искали его везде

и не могли найти. Оно потерялось в суматохе отъезда. А отчего бы еще?

— Да! Да! Что еще могло быть? Но мы знаем, почему оно осталось найденным. Так лучше! Я ведь не видел, как он родился. Я не видел даже, как ты его носила. Я был в Америке. На их деньги, заметь! Билет они мне купили. Почему они так торопились избавиться от меня? Почему такая спешка — через месяц после свадьбы?

— Почему? Ты сам не понимаешь? В нашей семье девять человек. Слугам и посторонним все стало известно. Родители надеялись, что я скоро последую за тобой. В доме не было денег. Лавка разорвалась. Сыновья еще не выросли...

— О, стоп! Стоп! Я все это знаю. Про кого это они прослышали — про тебя или про меня?

— Ты настаиваешь?. Про тебя, конечно! Твоя мать рассказывала всем.

— И им было стыдно, да? Понимаю! Но теперь я тебе расскажу мою версию. Я здесь в Америке потею, собирая гроши на твой паспорт, и голодаю. За тысячи миль. Один. Не пишу никому, кроме тебя. Теперь! Он родился слишком рано, чтобы быть моим. Ты ждешь это время. Всего месяц или два. И потом ты пишешь, что у меня сын! Радость! Удача! У меня сын. Но когда вы приплыли, ты испугалась. Семнадцать месяцев слишком мало для такого парнишки. Я так и думал, что ему не семнадцать, а двадцать один. Думаешь, я забыл? Я все помню! Органист, да? Гой, помоги тебе Бог! Теперь мне ясно! Но моя кровь! Моя кровь говорила мне!

— Ты сумасшедший! Нет другого слова!

— Ну и что? Для тебя подхожу. Так они и рассудили — старый набожный обжора со своей женой. Ты знала органиста? Ну, почему не отвечаешь?

— О, Альберт, оставь меня! — Она судорожно встряхнула Давида. — Оставь меня, ради Бога! Зачем так позоришь — ни за что. Это больше, чем я могу вы-

нести. Давай больше не будем об этом говорить! Позже! Завтра! Я уже дважды страдала за это.

— Дважды! Ха! — засмеялся он. — Вот ты и проговорила! Так ты знала органиста?

— Ты считаешь, что знала? — Ее голос вдруг стал каменным.

— Знала? Скажи.

— Да, знала. Но это было...

— Знала! Знала! Все сходится! Посмотри! Посмотри сюда! Зеленая пшеница — выше человеческого роста. Это поразило твое воображение, да? Летние восторги! Но я женился в ноябре! Молчи! Ни слова! Что бы ты ни сказала, будет ложью!

— И ты веришь? И ты веришь? Тому, что ты говоришь! Ты можешь этому верить?

— Верю ли я солнцу? Я чувствовал это годами, говорю тебе! Мои ноги натыкались на это при каждом шаге и повороте. Это стояло у меня на пути, опутывало меня! Ты знаешь, что это так! Ты никогда этого не замечала? Тогда почему недели и недели проходят, а я совсем не мужчина? Не мужчина, как другие мужчины? Ты понимаешь, о чем я говорю! Ты должна понимать, раз ты знавала других мужчин. Я был отравлен догадкой! Порча нашла на меня! Я чувствовал это! Ты понимаешь? И оказалось, что так оно и есть!

Она поднялась. И Давид, все еще у нее на руках, все еще держась за ее шею, не смел ни дышать, ни плакать, не смел поднять глаза из укрытия на ее груди. Голос отца приблизился и, как розга, сплетенная из жестких, металлических слов, хлестал по спине.

— Держи его крепко! Он твой!

Она ответила, и в ее голосе была какая-то холодная снисходительность.

— И теперь, когда ты предполагаешь, что знаешь все, порча отпустит тебя. Почему же ты мне раньше не сказал? Я бы давно освободила тебя.

— И теперь, как каждый, каждый обманщик, который раскрыт, ты издеваешься надо мной?

— Я не издеваюсь, Альберт. Я только прошу тебя сказать точно, чего ты хочешь.

— Я хочу, — он медленно выдавливал слова, — никогда больше не видеть это отродье.

Она глубоко вздохнула, как будто набирая силы для последней попытки.

— Ты сводишь меня с ума, Альберт! Он твой сын! Твой! Я знала другого мужчину задолго до того, как встретила тебя. Это было давно. Клянусь тебе! Как он может быть его? Он твой!

— Я никогда не поверю тебе! Никогда! Никогда!

— Тогда я уйду!

— Уходи! Я буду плясать на крышах от радости! Я избавлюсь от всего этого! Целые ночи возня с этим молоком! Мысли! Муки! Конюшни! Какие-то люди! Муки!

Как бы отвечая на его крик, шум в коридоре забился волнами о дверь. Отец остановился, словно пораженный ударом. Руки матери вокруг тела Давида напряглись. Вновь крики, злобные и грозные, топот и шарканье ног. Потом толчок в дверь. Она распахнулась, ударившись о стул.

— Пусти меня! Я здесь! Я хочу говорить!

Давид узнал этот голос! Он бросил настороженный взгляд через плечо. Борющиеся тетка Берта и ее муж показались ему менее странными, чем то, что свет на кухне вдруг стал таким серым. С криком отчаяния он прижал лицо к груди матери.

— Натан! Ты? Берта! Что это? — спросила мать в смятении.

— Я — я — зол! — Дядя Натан мучительно задыхался. — Я имею много...

— Это ничего! — Тетка Берта заглушила его слова. — Мой муж дурак! Посмотрите на него! Он совсем спятил!

— Дай мне говорить! Ты дашь мне сказать?!

— Удаvisь сначала! — налетела она на него. — Он хочет... Вы знаете, что он хочет? Никогда не догадаетесь! Что хочет еврей? Деньги. Он пришел занять денег! И за-

чем ему деньги? Купить большой магазин. Только и всего! Он выжил из ума! Я скажу вам, что с ним случилось. Вчера ночью ему приснилось, что пришли полицейские и сняли с него ботинки, как они сделали с его дедом-банкротом в Вильне. Это стукнуло ему в голову. Он испугался. У него пенятся мозги. Спросите его, где он сейчас находится? Вряд ли он сможет вам ответить. А как вы поживаете, Альберт? Давненько мы не виделись! Ты должен захаживать к нам иногда, поглядеть на нашу лавчонку, на наши "бон-боны". Ух, сколько их у нас! Хе! Хе! И попить содовой!

Отец ничего не отвечал.

Тетка продолжала, будто и не ждала ответа:

— Почему ты держишь его на руках, Геня?

— Просто, просто чтоб почувствовать, сколько он весит, — ответила мать неровным голосом, — а он тяжелый!

Она наклонилась, чтобы опустить Давида на пол.

— Нет, мама! — зашептал он, цепляясь за нее. — Не надо, мама!

— Хоть на минуту, любимый! Я не могу так долго держать тебя на руках. Ты слишком тяжелый! — Она поставила его на ноги. — Вот! Стоит только его взять на руки, ни за что не хочет на пол. — И все еще держа дрожащую руку на плече Давида, она повернулась к Натану: — Деньги? Но... — она смущенно засмеялась, — кажется, мир сошел с ума! Что заставило вас выбрать именно нас? С тобой все в порядке, Натан?

Уставив свои горящие, загнанные глаза на Давида, Натан открыл было рот.

— Конечно, — не дала ему говорить тетка, — конечно, у вас нет денег. — Она толкнула мужа локтем под ребра. — Так я ему и сказала. Теми же словами!

Почти в обмороке от сознания своей виновности и страха, Давид спрятался за спину матери. Рядом был отец: руки скрещены на груди, ноздри раздуваются в приливах и отливах возбуждения. В сером свете окон его лицо выглядело каменным, и только ноздри да вздувшаяся на лбу вена казались живыми.

— Вы не присядете? — спросила мать с надеждой. — Вы устали оба. Приготовить ужин еще на двоих много времени не займет. Пожалуйста, останьтесь!

— Нет! Нет! Спасибо, сестра! — решительно ответила тетка.

— Жаль, что мы не можем помочь тебе, Натан. Ты знаешь, мы бы помогли, если бы у нас было!

Кусая губы, Натан смотрел в пол и качался, как будто сейчас упадет.

— Мне нечего сказать, — промычал он тупо, — она все сказала.

— Видите? — теткин голос звучал победно: — Теперь ему стыдно. Но теперь он мне нравится! — Она начала подталкивать мужа к двери. — Пошли, мое сердце! Миссис Циммерман ждет. Покупатели подумают, что я хороню тебя.

— Ну и хитра! — ответил он мрачно, отталкивая ее. — Но подожди! Когда-нибудь ты еще будешь смеяться в конвульсиях!

Не обращая внимания на его слова, тетка открыла дверь:

— Спокойной ночи, сестра! Прости его! Он всегда был хорошим мужем, но сегодня... Пошли, ты!

Прячась за матерью, Давид наблюдал, как тетка тащила упрямого супруга к двери. Она выручила. Но отец!

— Подожди!

Впервые с момента их прихода отец заговорил. Он вдруг разнял руки, скрещенные на груди, и подошел к двери.

— Подожди! — Он схватил Натана за плечо, возвышаясь над ним. — Вернись!

— Что ты хочешь от моего мужа! — закричала тетка. — Оставь его. Ему и без тебя хватает неприятностей. Пошли, Натан!

Она удвоила свои усилия, цепляясь за другое плечо Натана.

— Это ты отвяжись от него! — грозно прорычал отец. — Ты с твоим проклятым враньем! Входи, Натан!

В смятении Натан переводил взгляд с одного лица на другое.

— Я сказала, пусти его! — бешено завопила тетка. — Дикий зверь, убери свои когти!

— Не ты меня заставишь!

— Альберт! Альберт! — испуганный голос матери. — Что ты делаешь! Пусти его!

— Нет! Нет! Пока он не скажет!

После недолгой борьбы на пороге отцу удалось втащить их в комнату и захлопнуть дверь. Шляпа Натана валялась на полу.

— Слушай меня, Натан! — Отец стучал своей жесткой рукой по его груди. — Ты пришел сюда, чтобы что-то сказать. Говори!

— Н-ничего! Ничего! Видит Бог! Берта все вам сказала! Чтоб меня дьявол забрал, если это не так! Магазин! Я хотел! Я видел! Это все! Да, Берта?

— Ты дурак! — плюнула она на мужа. — Не говорила я тебе — не ходить сюда? Что ты хочешь от него?

Пылая бешенством, она наступала на отца.

— Оставь его, дикий зверь! Слышишь? Он пришел за деньгами и ничего больше! Сколько раз тебе надо говорить? Я не собираюсь дальше терпеть твое безумие!

— Придержи свой язык! — отец начал дрожать. — Ты, вероломная корова! Я давно тебя знаю. Я знаю, что ты уже что-то натворила. Говори, Натан!

Он стукнул кулаком по умывальнику:

— Не дай ей провести себя! Что бы это ни было! Не бойся меня! Только правду! У меня есть на то причины! Я выясню все!

— Что он говорит? — теткинны глаза вылезли из орбит, — какой новый псих нашел на него?

— Альберт, прошу тебя! — мать схватила его за руку. — Если ты скандалишь — скандаль со мной. Оставь человека в покое. Он все тебе сказал.

— Сказал? Ты так думаешь? Или притворяешься? Но я знаю лучше! У меня есть глаза! Я-то видел! Ты будешь говорить? — гневно оскалив зубы, он навис над сжавшимся Натаном.

— Я — я — уже сказал в-все, — с дрожащими губами Натан нащупывал рукою дверь за своей спиной, — мне надо идти! Берта! Пошли!

Но отец прижал дверь ладонью:

— Подождешь! Ты не уйдешь, пока не ответишь мне на один вопрос! И ты ответишь мне!

— Чего ты хочешь?

— Почему, когда ты открыл свой рот и хотел говорить, и эта ослица затолкнула твои слова обратно, почему ты смотрел на него? — отец махнул рукой в направлении Давида. — Почему ты смотрел? Что ты хотел сказать о нем?

— Я — мне нечего сказать. Я не смотрел на него. Оставьте меня, ради Бога. Геня! Берта! Не давайте орать на меня!

— Альберт! Альберт! Перестань мучить человека!

— Будь ты проклят! Дьявол! — тетка пыталась протиснуться между ними. — Ты, псих! Пусти его!

Отец отшвырнул ее в сторону:

— Скажешь? Скажешь, что он сделал? Или ты хочешь, чтобы моя злоба вышла из берегов?

— Ох! Ох! Горе мне! — Берта наполнила комнату громкими причитаниями. — Горе мне! Вы видели, что он сделал? Он толкнул меня! Меня, с ребенком в животе. Чудовище! Ты убил ребенка! Чтоб тебя повесили! Чтоб...

— А хоть и двойня, меня это не волнует. Я хочу знать, что сделал этот щенок! Я жду!

Его голос сжался:

— Говорю вам, моему терпению пришел конец!

Натан начал оседать, будто падая в обморок.

— Он — ох-ох-ой! Ой! Он...

— Ни слова! — закричала Берта. — Открой дверь, или я позову на помощь! Выпусти нас!

Они смотрели друг на друга в тишине такой ужасной, что, казалось, комната от этого взорвется.

Слепой от ужаса, никем не замеченный, Давид прижался к печке. "Здесь, здесь", — бормотал голос внут-

ри него. Его дрожащая рука проникла в темную нишу между печкой и стеной.

— Говори! — ударил голос отца, как раскат грома.

— Берта, — вопил Натан, — спаси меня! Спаси меня, Берта! Он сейчас ударит!

— Помогите, — орала Берта, — пусти дверь! Помогите! Геня, открой окно! Помогите!

— Альберт! Альберт! Сжался!

— Говори! — сквозь их крики был слышен ужасный скрип его зубов. Рука взлетела в воздух.

— Папа!

Занесенная рука застыла. Искривленное лицо повернулось к нему.

— Папа! — он приблизился. Остальные стояли, не смея пошевелиться.

— Я. Это я, папа...

— Давид! Дитя! — мать подскочила к нему. — Что у тебя в руке?

Но раньше, чем она смогла ему помешать, он протянул отцу сломанный кнут.

— Давид! — она схватила его, пытаясь увести от опасности. — Кнут! Ему! Что ты делаешь!

— Зачем ты мне это даешь? Чего ты хочешь?

— Я... я... пожалуйста, папа!

— Ты не тронешь его! Слышишь, Альберт! Я не вынесу этого! — вся ее робкость и мягкость исчезли, она нависла над Давидом, как край скалы. — Что бы он ни натворил, ты не тронешь его!

— Я хочу выслушать его! — сказал отец глухим, полным злобы голосом.

— Ничего не говори! — предупреждающий крик тетки.

Но он уже говорил.

— Я был... я был... на крыше. Папа! Я был на крыше! И там был мальчик. Большой, и-и у него был змей. Змей летает выше крыш... он летает...

— О чем ты говоришь, — проскрипел отец. — Хватит тянуть! Скорее!

— Я... я... — он ловил воздух губами.

— Божий дурень, — прошептала тетка, — это ты! Это ты! Чтоб тебя проглотила земля! Видишь, что ты натворил!

— Я? — простонал Натан. — Я виноват? Как я...

— Кто-то хотел его по-поймать. Змея. И я сказал: "Смотри! Смотри!" Так я стал его д-другом. Лео. У него были ролики, и... Папа! Мы поехали к тете Берте. И мы встретили Эстер во дворе. Он дал ей покататься. А потом повел ее в подвал. И он... он...

— Что он! — подтолкнул неумолимый голос.

— Я не знаю! Он играл с ней п-плохо!

— Ух!

— Не подходи к нему! — закричала мать. — Не смей! Хватит, мальчик! Ша! Хватит!

— Э-это он! Не я, папа! Папа, не я! — он бешено цеплялся за одежду матери.

— Это ее! Ее отродье! — Казалось, отец задохнется от дикой, сумасшедшей радости. — Не мой! Ни капельки моей! Берта, корова! Не мой! Ты, Натан! Напряги свои овечьи мозги! Твоя баба выдала мою жену! Ты знаешь об этом? Выболтала ее секрет. Сказала ему, чей он сын. Какого-то органиста. Как я приютил гойское семя! Распутники! Мошенники! Он — их! Не мой! Я все время это знал! Теперь я выгоняю ее и этого щенка! Я свободен!

— Он сошел с ума! — хрипло шептали тетка и Натан.

— Слышите! — брызгал слюнями отец. — Я кормил его!

И он ринулся к нему.

— Ой! Папа! Папа! Не надо!

Стальные пальцы сомкнулись, как капкан, на плече Давида и вырвали его из рук матери. И кнут! Кнут в воздухе! И...

— Ой! Ой! Папа! Ой!

Обжигающие удары по спине. Еще! И еще! Со стоном он упал на пол.

Мать закричала. Он чувствовал, как она схватила его, подняла и оттащила в сторону. Тетка и Натан кри-

чали. Тела их в полумраке раскачивались. Слышалась возня. И вдруг голос отца:

— Что это? Вон! Посмотрите на пол! Вон! Кто не поверит мне теперь! Посмотрите, что там лежит! Там, где он упал! Знак! Знак!

— Ох! — взвизгнул Натан, как от внезапной боли.

— О, горе, — Берта задохнулась от ужаса. — Это! Что! Нет!

Давид повернулся в руках матери и посмотрел вниз...

На квадратах линолеума лежали черные бусы. Фигура на кресте тускло поблескивала. Он закричал.

— Папа! Папа! Лео... он дал мне! Тот мальчик! Они выпали! Папа! — Но его слова утонули в реве.

— Это божья рука! Знаменье! Свидетельство, — ревел отец, размахивая кнутом, — доказательство моих слов! Истина! Чужой! Гой! Крест! Знак грязи! Дайте мне удавить его! Дайте мне избавить мир от греха!

— Убери его! Геня! Убери его! Скорее! Пусть бежит! — Берта и Натан боролись с отцом. — Скорее!

— Нет! — дикий крик матери.

— Скорее! Помогите! Мы не можем держать его! — Натан был отброшен в угол. Подогнув колени, Берта висела мертвым грузом на руках отца. — Он убьет его, — визжала она, — он затопчет его, как он позволил затоптать своего отца. Скорее, Геня!

С криком мать прыгнула к двери и распахнула ее:

— Беги! Скорее! Беги!

Она вытолкала его и захлопнула дверь. Он слышал, как ее тело навалилось на дверь изнутри. Со страшным криком он бросился вниз по лестнице.

На их этаже и даже на этаже внизу двери были открыты. Стрелы от газовых ламп пересекались в полутемном коридоре. Лица с выпученными глазами высовывались, прислушивались, восклицали, сообщали о происходящем кому-то за спиной.

— Эй, бойчик! Вус из? Драка! Эй, что случилось? Кто скандалит? Позовите полисмена!

Он неся вниз, никому не отвечая. Никто не остановил его. Только чудо спасло его от падения на темных ступенях.

Улица. Он осмелился вздохнуть.

17

Сумерки. На тротуарах мужчины и женщины, идущие уверенной походкой. Дети, бегущие и кричащие, не поддающиеся наступающей темноте.

Люди. На ногах, на костылях, на телегах и машинах. Мороженщица. Тележка с вафлями. Человеческие голоса, движение, пульсация, крики, гудки и свистки. Оживающие пучки фонарей на далеких улицах.

Тела прохожих, словно ветер колеблющие свет витрин. Он вздрогнул, оглядываясь вокруг. Из окна фотоателье на него смотрели увеличенные изображения времени, мумифицированные и жуткие.

С ненавистью и вызовом он посмотрел на окна своей квартиры.

Он нашел себе убежище около молочной лавки, за баррикадой молочных бидонов. Украдкой приблизился он к ближайшему и взялся за ручку на крышке. Металл под его ладонью был холодным. Тяжелый, громоздкий цилиндр. Он потянул за ручку, сильнее. Она шевельнулась, и бидон отозвался гулким звуком. Опять он потянул, дернул...

Кланк!

Длинный, серый черпак выпал из бидона и звякнул о землю. Он встал и поднял черпак.

Берег был пуст теперь. На другой стороне улицы громко кричали дети. Давид выбрался из укрытия и, держа черпак под мышкой, скользнул к Десятой улице.

...Иду! Я иду!..

Наверх, по крутому подъему, слишком крутому для его ослабевших ног, бежал он, уклоняясь от безразличных взглядов редких встречных. Десятая улица.

Трамвай, идущий на запад, пересек трассы. Сильный и соленый речной ветер дул в ущелье между домами. Последний уличный фонарь, жужжащий пузырь света. Мрачный, массивный склад, и за ним — мусорные кучи, уходящие к реке.

Он остановился.

...Ты вызвал меня... Ты заставил... Теперь я должен...

Перед ним лежали рельсы. Их блеск постепенно сменялся ржавчиной, и затем ржавчина сменялась камнями, исчезающими в темноте реки.

Слева от него выщербленная кирпичная стена склада закрывала запад, где были люди, справа и сзади поднимался край мусорной кучи. Впереди был конец земли и блеск рельсов.

...Ты заставил меня... Ты сделал меня смелым... Теперь я должен. Я должен это выпустить...

Эти бессвязные слова, вертящиеся в его сознании, казались не его собственными, не стиснутыми в его черепной коробке, а отделенными от него, приходящими из сердцевины мира.

...Ты вызвал меня! Теперь я должен! Теперь я должен это выпустить!..

18

Внутри Королевского склада на углу Десятой улицы и Ист Ривер старый человек с массивным телом и кривыми ревматическими ногами — Билл Уитни с трудом поднимался по лестнице. В левой руке он держал фонарь, который он рассеянно встряхивал время от времени, чтобы услышать бульканье горячего. В его правой руке, цепляющийся за перила при каждом шаге, был ключ — ключ, которым он подводил часы на каждом этаже, — доказательство его бдительности и добросовестности. Продвигаясь по темной лестнице, освещенной мятущимися бликами фонарного света, он бормотал. Он делал это не столько для того, чтоб

населить тишину призраками своего голоса, сколько затем, чтоб не упустить свою медлительную мысль, которую он всегда терял, когда не мог себя слышать:

— И что? Как! Посмотрел вниз — и — пс-с! Ей Богу, чуть в штаны не наделал. И. Ха! Нет колес. И педали были — и вдруг нет! Ясно видел — и вдруг нет нигде. Ей Богу, думаю, вот чудеса. Старый Руф Гильман стоял и пялил глаза. Просто стоял и пялил глаза, как простой... И усы, которые он вырастил к зиме... Около источника с белой будкой... Ухм-м-м! Прямо вошел в снег зимой...

*Прозвучало, поднялось и прозвучало,
как огромная волна:*

— Сделал смелым! Толкнул меня!

Туда, где свет в щели,

ты толкнул меня. Теперь я должен...

В синем, дымном свете пивной Калагана, сам Калаган, толстый бармен, зажал в кулак носик пивного крана, откуда капало пиво, наклонился над баром и захихикал. Хриплый О'Туул — широкоплечий, с небесно-голубыми глазами — возвышался над всеми, кто был у стойки (среди них — горбун на костылях с угрюмо сморщенными губами и иссохший угольщик с закоптелым лицом и яркими белками глаз). Когда он говорил, они слушали, понимая улыбаясь. Он опрокинул глоток виски, кивнул бармену, сжал свои тонкие губы и осмотрелся.

— Больно он умный! — сказал Калаган, наполняя его стакан.

— Да. — О'Туул выпятил грудь. — Он все еще мытарится в кузнице со своей сломанной рукой. Я просто хотел подогреть его: "Засунь, говорю, свою религию себе в задницу. А мне, говорю, бабу поймать — и ничего больше не надо".

— Ну, ты и номер! — сказал угольщик.

*Как будто он ударил в колокол
самого сердца тишины, он*

*смотрел на мир в ужасе.
Сейчас! Сейчас я должен. Помни —
в щели, там Он родится.*

— Черт! Могу поклясться на Библии, что бывают ночи, когда эти лестницы становятся выше. — На втором этаже Билл Уитни выглянул из окна в сторону Ист Ривер. — Ну и вонючая там куча! — И, оторвав взгляд от кучи, он посмотрел выше — на темную реку, на полоски света с проходящего катера, на дальний берег с разбросанными в темноте окнами фабрик, на призраки мостов на юго-востоке.

— А Джордж пялится, а я матерюсь и тычу ботинком в землю под собой, а колес нет. Ха! Ха! Такое и во сне не приснится...

И он пошел к часам.

*Холодные пальцы на ребре черпака.
Перед его глазами дрожал свет
на рельсах...*

Кланг! Клинг! Кланг! Клинг!

Плоская ступня Дана Мак-Интайра, водителя трамвая, прыгала на педали звонка. Прямо перед его кабиной торговец халвой лениво толкал свою тележку по рельсам. Мак-Интайр бесился. Он уже на несколько кварталов отстал от графика. И все из-за этого кондуктора, ленивого говна! Теперь на Авеню А он получит нагоняй от диспетчера Джерри. И этот проклятый идиот загородил дорогу.

Медленно, лениво торговец-армянин сдвигал свою тележку с рельсов. В последний момент он высоко поднял сжатый кулак.

— Фигу тебе, о, Мак-Интайр.

— Будь ты проклят, — взревел водитель, — разрази тебя Бог!

*Иди, иди! Иди! Вперед!
Но он не шевелился,
как будто примерз к стене.
Его застывшие пальцы сжимали черпак.*

— Ей-Богу, Мими, дорогуша... — У Калагана за столиком, близ розовой плесневеющей стены, Мэри со щеками, как тарелки, и с влажными глазами говорила, раскачиваясь, а Мими со щеками, как тарелки, и с глазами, как блюда, и с волосами цвета соломенных трамвайных сидений слушала ее: — Я была молодая и невинная, ей Богу, и я показала это кассирше. А она чуть под кассу не свалилась! "Хи! Выброси, говорит, дура!" А откуда мне было знать — ну и люди есть на земле — подложили мне. Я думала, что это такая штука, которую надевают на палец, когда порежутся. Ну и невинная я была!

*Теперь из теней, из туманной, пустой улицы
он ступил на эти камни. От испуга и
напряжения он был слеп,
как лунатик, он был глух.
Только стальной блеск рельсов
был в его глазах, тянул его вперед,
как канатом.*

Еще несколько шагов и Давид был там.

*Он согнул ноги и затаил дыхание.
Робкий конец ручки черпака
нащупал длинные, темные, ухмыляющиеся
губы-щель,
царапнул и, как меч в ножны, —
вонзился! И он бежал! Бежал!*

— Ничего? Да я ничего и не говорю. Но каждый раз, как я вижу симпатичную бабу, я хочу уложить ее в постель. И свою святую воду я могу высосать из молоденькой титьки! Вот какой я проклятый атеист! — говорил О'Туул, и все смеялись...

*Бежал! Но не излился на него свет,
не блеснуло невыносимое пламя.
Только глухой лязг железа
остался в его ушах. Глухой и пустой.
Почти у двери пивной он остановился, зарыдал
громко и обернулся...*

— Кто бы мог подумать? — Билл Уитни снова поднимался по лестнице, — ей-богу, кто бы подумал? Пьяный? Не-е, в то утро он не был пьяный. Трезвый, как пастор. Может, это я был пьяный?

*Как металлический флаг или
голова в шлеме, осматривающая камни,
тускло мерцающий черпак торчал,
наклонившись набок
между рельсами.*

...Не вышло. Не вошел до конца. Не горит. Вернись...

*Он повернулся медленно.
Никто не смотрит —
скорее! Скорее назад!
Осторожно, на цыпочках
подкрался он к черпаку,
осторожно,
как будто от его шагов
тот мог упасть.
И снова наклонился и
протянул руку...*

— Они продадут нас! — В трамвае на Авеню А голос бледного, в золотых очках, фанатичного гражданина прогремел над всеми другими звуками, перекрывая даже тоскливое пение "Откройте двери Христу", доносившееся из ближайшего парка. Это распевал хор Армии Спасения.

— Они продадут нас! — Над всеми звуками рос его голос: — В 1789, в 1848, в 1871, в 1905, Он, который должен что-нибудь спасти, снова сделает нас рабами! Или просто бросит нас, когда прокричит красный петух! Только трудящиеся бедняки могут освободить нас в день, когда прокричит красный петух!

*Освободить черпак. Почти осязаемое
напряжение ужасной силы*

— Ты, говорит, самое последнее трепло на земле...

*охватило его руку сквозь
узкое пространство между пальцами
и черпаком. Он откачнулся и выпрямился*

— Да. А я говорю: — Снимай штаны.

*и подтянул правую ногу —
Скррр!*

— Что?

*Он метнул взгляд в сторону реки,
спрыгнул с рельса и нырнул в тень.*

— Ты слышишь, Мак? Пучеглазый идиот со своим красным петухом!

*Река? Этот звук! Все его чувства
напряглись и прислушались к реке,
борясь с тишиной и тенями. Пусто?..*

— Поджарить ее на масле. Это же золотая жила, парень! Точно! Бог знает сколько народу можно накормить одной треской...

Да... пусто.

Скрррр!

*Опять! Это — о! — это — отец! Совсем, как он,
скрипит зубами.*

*Пусто... Наверное, баржа прошла
или дверь раскачивается ветром.
Никого... Он вернулся.*

*Зацепил ногой черпак и потянул.
Тот скрипнул, вздрогнул, двинулся, и...*

— Вот вам звезда! Смотрите!

Сила.

Сила! Как чудовищная лапа, титаническая сила

*вырвалась из земли, ударила об его тело
и сковала его. Сила! Невероятная, варварская
сила! Взрыв света сплавил его мозг и кровь
в фонтан огня.*

*И он извивался, схваченный смертельным
сиянием. И его мозг рос и рос, пока
галактики не стали крошечными,*

*микроскопическими
организмами, цепляющимися за жизнь.*

Он дернул ногой. Ужасные волны тьмы

*столкнулись,
и от их удара пространство стало хаосом. Тонкий
крик пробился сквозь спирали забвения, упал, как
тавро на воду, заш-ш-ш-шипел...*

— Что?

— Кто?

— Где?

— Что это?

Улица остановилась. Глаза, мириады глаз, грустных и веселых, мутных и ясных, оторвались от своего дела, от своей игры, от тарелок, лиц, газет, и их взгляды сошлись в одной точке. В начале Десятой улицы билось пламя. В челюстях между рельсами бился и прыгал черпак, пожираемый ревушим сиянием.

На Авеню Д длинный язык пламени вырвался из-под земли с таким ревом, точно в земном покрове образовалась трещина. Бежали люди, кричали дети. На Авеню С фонари трамвая мигнули и помутнели. Водитель выругался. В Королевском складе мигающий сторож боролся с упрямым окном. Из двери пивной высунулся угольщик, мигнул и не смог раскрыть глаза из-за резкого света.

— Святая Заступница! Господи! Смотрите!

— Что?

— Там парнишка! Горит!

— Иди ты! Где?

— На Десятой! Смотрите!

— О'Туул!

Улица наполнилась бегущими людьми. Их лица были резки и призрачны в неистовом свете. Трамвай медленно двигался вперед. Люди хрипло кричали. В воздухе хлопали открывающиеся окна.

— Боже, там ребенок!

— Да!

— Не прикасайтесь к нему!

— У кого есть палка?

— Палка!

— Палку, ради Бога!

— Майк! Лопата! Где твоя чертова лопата?

— Ой, ребенок!

— Костыль! Дайте костыль Пита!

— Ой вэй! Кто трогает твой горб, идиот!

— Сделайте что-нибудь! Мистер! Мистер! Мистер!

— Ты, сволочь, я видел, как ты подбирался ко мне сзади, — горбун развернулся и ускакал на своих костылях. — Сволочи!

— Ой! Вай-вой-вэй!

— Полисмена!

— Скорую помощь!

— Не прикасайтесь к нему!

— Бамбино! Мадре миа!

— Мэри! Смотри, совсем ребенок!

Толпа росла, увеличивалась, шумела. Они шурились на свет, на вытянутую фигурку в сердце огня, размахивая руками, показывали пальцами, хватались за головы, толкались, кричали, стонали...

— Хи! Хи! Вон, внизу! Хи! — кричал кто-то из окна наверху. — Да ты вниз смотри, вон туда!

— Дай сюда метлу!

— Осторожно, О'Туул!

— О, добрый человек! Дай тебе Бог...

— О-о-о! Бедное дитя, Мими!

— Он собирается это сделать!

— Осторожно!

— Не прикасайся!

Мужчина в черной рубашке медленно приблизился

на цыпочках к рельсу. Его глаза были сощурены от ужасного сияния, он защищал лицо поднятым плечом.

— Оттолкни его!

— Полегче!

— Осторожно!

— Вот это парень!

— Ой, помоги тебе Бог!

Свалявшаяся, побуревшая метла вползла между плечом ребенка и землей. Потом толкнула. Ребенок перевернулся на лицо.

— Еще раз! Еще!

— Вот так! Откати его!

— Быстрее! Быстрее!

Метла еще раз толкнула, и Давид откатился от рельсов. Кто-то схватил его, поднял и потащил к тротуару. Толпа кружилась вокруг густым водоворотом.

— Ой! Гвалт!

— Дайте ему воздух!

— У него ожог?

— Бенья, стой рядом со мной!

— Ожог! Посмотрите на его ногу!

— О, бедная мать! Бедная мать!

— Чей ребенок?

— Не знаю, Мак!

— Да и не толкайтесь вы!

— О, Иисусе! Несите его в аптеку!

— Не-е! Прижмите его к земле! Я работал на электростанции!

— Сделайте что-нибудь! Да сделайте же что-нибудь!

Извивающийся черпак почти весь сгорел. Пламя бросало на лица то зловещие, меловые, белогубые, то сажевые маски. Огромная тень толпы прыгала по стене склада, по мусорным кучам и по реке.

Кланг! Подъехала по рельсам тележка.

Женщина вскрикнула и упала в обморок.

— Эй! Уберите ее!

— Какого черта! Еще ее нам не хватало!

Шаркая подошвами, они оттащили ее в сторону.

— Говно! — Моторист прыгнул с тележки и взялся за метлу. — С дороги! Ну-ка!

— Вот так! Прижми его к земле, О'Туул! Вот так! Я работал на электростанции.

Орудую метлой, моторист убрал с рельса изувеченные остатки черпака.

Клац! И темнота.

Темнота!

Все охнуло и внезапно замолчали, придавленные тяжестью ночи.

Потом опять кто-то вскрикнул. Женщина, упавшая в обморок, застонала. Толпа забормотала, загудела, беспокойно кипя в темноте громкими голосами новых пришельцев, ныряющих в ее водоворот.

— Посторонись! Посторонись! — уверенно каркал человек в униформе, расчищая плечом себе дорогу, — посторонись!

— Полиция!

— Не наступите на него!

— Назад, вы! Назад! Вы слышите! Назад! Ну! — Они отступили перед грозной дубинкой. — Назад, пока я не вмазал! Очистить место! Шевелитесь! Пошевеливайтесь, говорю!

Полисмен сел на корточки рядом с человеком в черной рубашке.

— Вроде не видно, чтоб сильно обгорел.

— Только нога.

— Сколько времени он был под током?

— Бог мой! Не знаю! Я вышел от Калагана, и уже горело. Я только откатил его метлой.

— Ну-ка пусти, — полисмен оттолкнул его плечом и перевернул мальчика, — ему нужна первая помощь! — Крупные руки почти скрыли под собой узкую грудь. — Как утопающему. — Он нажал.

Кфир-р-р-рф! С-с-с-с

— Похоже, что ему конец. Где же эта чертова скорая помощь?

- Мы уже вызвали, капитан!
- Прижмите его ноги к земле, капитан, я работал на электро...

Кфир-р-р-р-ф! С-с-с-с

- Кто-нибудь знает его! Кто-нибудь из вас знает этого ребенка?

Близко стоящие проворчали что-то неразборчиво. Полисмен прижал ухо к телу ребенка.

- Видать, ему конец, но нельзя быть уверенным...

Кфир-р-р-р-ф! С-с-с-с.

- Он говорит, что он умер, Мэри.
- Умер!

(У-у-у-у. Уг-уг-уг-

Уголек вспыхнул... тускло... неопределенно).

- Вот эта штука, которую он туда всунул. — Моторист оттеснил толпу и показал кусок обугленного, искореженного металла.

- Да? Что это?

- Будь я проклят, если я знаю. Горячее! Черт!

Кфир-р-р-р-ф. С-с-с-с.

(Как красный зрачок в глазах темноты, уголек кружился и увеличивался, и в центре его горело белое пламя).

- Пятьсот пятьдесят вольт! Думаете, он поджарился?

- Да. Боже! Что же еще!

- Ух! — пыхтел полисмен, массируя спину ребенка.

Кфир-р-р-р-ф! С-с-с-с.

- Эй, мистер, может он просто упал на эту железку?

- Ну, конечно, так и было!
- Это вина компании!
- Балда, как же он мог упасть на нее? — злобно набросился на них моторист.
- Конечно мог! Запросто!
- Но она торчала! Он ее воткнул!
- Он подаст в суд, не беспокойся!
- Назад, вы!

Кфир-р-р-р-ф! С-с-с.

*(И в белом, морозном пламени
внутри красного зрачка, маленькая фигурка
скользила по заброшенной улице, через трещины
на асфальте, и над головой жужжали
тугие зимние провода...
Жужжали, соединяя небо с землей).*

Кфир-р-р-р-ф! С-с-с.

*(И мужчина с буксира, с волосами под
мышками, свисал со столба среди проводов,
и его белая майка ярко горела.
Он улыбался и свистел, и с каждой нотой
желтые птицы взлетали на крышу).*

- Посмотри, живой ли он?
- Да, жив ли?
- Где у него ожог?
- Говорят, — нога.
- У-ух!

*(Человек в проводах шевельнулся.
Провода зазвенели. Золотое облако
беспечных птиц заполнило небо).*

У-ух!

*(Кланг!
Молочные ящики звякали. Прыгая, он*

*приближался. С крыши на крышу, через улицы,
через аллеи, отец парил с легкостью пера.
Он поставил свои ящики и остановился,
как бы ища чего-то).*

— У-ух!

*(Молоток! Молоток! Он махал им, и тот щелкал,
как кнут.*

Птицы пропали. Ужас наполнил воздух).

— У-ух!

— Тяжелая работа!

— Ох! Помоги ему Бог!

— А парень, как мертвый.

*(А вокруг него камни
до самого горизонта, в вихрящейся тьме,
точно лица, застывшие в ужасе).*

— У-ух!

(Молоток кружился и свистел над головой.

*Двери медленно открылись,
на волнах темноты выплыл гроб
и начал расти, осыпaeмый дождем конфетти...).*

— У-ух!

(Человек в проводах извивался и стонал.

*Его тоненькие, розовые кишки выползали
у него между пальцев.*

*Давид коснулся его губ. Пальцы покрылись
сажей. Грязно. С криком он повернулся,
чтобы бежать,*

схватился за колесо тележки, чтобы забраться

на нее.

*Но в колесе не было спиц — только зубчики, как на
шестеренке от часов. Он снова крикнул и
ударил кулаком в желтый диск...).*

— У-ух!

Кфир-р-р-рф! С-с-с-с.

— Ты видал?

— Видал? Издалека, с Двенадцатой!

— А я даже из нашего дома видел!

— А я стоял в подвале, и как блеснет!

— Пятьсот пятьдесят вольт!

*(Как будто на петлях поднялись
пустые, огромные зеркала
и стали лицом к лицу.
Между ними развернулся коридор,
уходящий в ночь...)*

— У-ух! Мне кажется, он — еврейчик.

— Да, я сразу и не заметил.

— Бедняга.

— У-ух!

*(“Ты!” Сквозь свист молотка
прогремел голос отца. “Ты!”
Давид плача приблизился к стеклу,
заглянул внутрь. Но его не было там,
даже в самом последнем и маленьком
из бесконечных зеркал. Там была
стена хедера...)*

— У-ух!

*(Освещенная солнцем побеленная стена.
Человек в проводах стонал: “Один
козлик, один козлик”... И стена сжалась
и стала квадратом асфальта со следом
на ней — наполовину черным, наполовину зеленым...
“Я тоже здесь ходил”. И сжалось все
между зеркалами, и остался пирог из
таящего льда. “Вечные годы”, — причитал
голос).*

- У-ух!
- Выдохся? Дай я попробую!
- Не-е!
- Смотри, вспотел!
- Еще бы! В такой куртке не вспотеть!
- Что случилось, приятель?
- Хе! Он еще спрашивает!
- Назад, вы!
- У-ух!

Кфир-р-р-рф! С-с-с

(И растаял лед, и открылась коробка от ботинок, полная календарных листков. "Скоро красный день"...)

- У-ух! Он вроде пошевелился?
- Не видал.

— У-ух!

*(Но зеркала вдруг покачнулись, и —
"Иди вниз!" — прогремел голос отца, —
"иди вниз!" Невыносимый голос бил, как кулак по спине.*

Он вскрикнул и —)

- Едет! Едет!
- Вон, смотри, капитан!
- Давно пора!

Толпа, как вода, растеклась перед носом машины и стеклась за ее хвостом. Лысый доктор в белом ловко выпрыгнул из машины и протолкался сквозь водоворот тел. Его рука держала черную сумку.

- Электрический шок, доктор!
- Шок? Кто-нибудь видел как это случилось?
- Мы, мы видели, доктор!
- А-ну назад, вы! — полисмен приподнялся, но так и не встал.

— М-мм! — врач нащупал складки на своих брючинах, потянул их, присел на колени и приложил ухо к узкой груди.

— Ботинок сгорел. Видите, доктор?

— Снимите его, я хочу посмотреть.

— В один миг! — крепкие пальцы отодрали пуговицы, стащили ботинок и носок, открыв белую, пухлую вздутость вокруг лодыжки.

(Прекрасная пустота протянула руку с углем. Он был не холодный, но и не жег. Как будто вся нежность вечности была сплавлена в нем. Тишина охватила этот ужасный голос наверху и остановила молоток. Ужас и ночь ушли. Он поднял голову и крикнул тому, в проводах: "Свистите, мистер! Свистите!"...)

Доктор посмотрел, вытащил квадратный пузырек из сумки, погримасничал, вытаскивая пробку, и уверенной рукой поместил пузырек под безжизненные ноздри. Толпа замолкла, напряглась и наблюдала.

("Мистер! Свистите! Свистите! Свистите! Свистите! Мистер! Желтые птицы!")

На темном и растресканном тротуаре маленькое тело дернулось и задрожало. Врач поднял его и резко сказал полисмену:

— Держите его за руки! Он будет биться!

— Эй! Смотри! Смотри! Задергал ногами!

("Свистите, мистер! СВИСТИТЕ!")

— Что он сказал?

— Вот! Теперь держите!

(Лучистая звезда сознания больно вспыхнула в нем...).

- Мими! Он жив! Он жив!
- Да?
- Да!
- Иди ты! Иди ты!
- Да! Да! Да!

19

— Ну, ну, ну вот, сынок! — успокаивающее бормотание доктора проникло к нему сквозь водоворот изломанных образов. — Теперь все в порядке. И нечего бояться.

— Конечно! — сказал полисмен.

Давид открыл глаза. Вокруг него высилась густая стена тел, голосов, лиц. Они пялились, показывая на него пальцами, обсуждали его. Ночной кошмар! В этой мысли было утешение. Он закрыл глаза, стараясь вспомнить, как нужно просыпаться.

— Ну, как твоя нога, сынок? — снова прозвучал заботливый, спокойный голос. — Не так плохо, а?

Он вдруг почувствовал холодный воздух на своей голой ноге и непонятную пульсацию в лодыжке. И, почувствовав, он уже не смог уйти от реальности. Так это был не сон! Где он был? Что делал? Свет. Мать. Отец. Скандал. Кнут. Тетка Берта, Натан, ребе, подвал; Лео, четки. Нет, это был не сон! Он снова открыл глаза, надеясь, что реальность опровергнет все это. Но это был не сон. Те же два лица, склоненные к нему. Та же человеческая стена с глазами, направленными на него.

— Похоже, что он еще очень слаб, — сказал врач.

— Вы возьмете его с собой?

— Нет! — Врач решительно захлопнул черную сумку. — Зачем? Через пять минут он сможет сам идти. Как только полностью восстановится дыхание. Где он живет?

— Не знаю. Никто из них не знает. Скажи, где ты живешь, а? Ты хочешь домой?

— Девятая улица, — сказал он дрожащим голосом, — семьсот сорок девять.

— Вы нас подбросите, док?

— Конечно. Держите его.

— О-оп! — Крепкие руки подхватили его под колени и спину, легко подняли и понесли сквозь глазастую толпу к машине Скорой помощи.

Машина двинулась, и пульсация в лодыжке стала глубже, боль поднималась вверх по кости. Что он сделал? Что они скажут, когда принесут его наверх?

Отец! Он застонал...

— Не так уж и болит, правда? — весело спросил врач. — Завтра будешь бегать.

— Он намного лучше, чем я думал, — сказал полисмен за его спиной, — я думал, док, — он поджарился, Иисусе прости.

— Не. Ток ушел в землю. Это его спасло. Не понимаю, почему он так долго был без сознания. Слабость, наверно.

— Это будет тебе уроком, парень.

Машина завернула за угол и остановилась. Улыбающийся врач прыгнул на землю. Полисмен вынес Давида на руках. Дети, бывшие на крыльце, узнали его и завопили:

— Это Дэви! Это Дэви!

Женщина в коридоре схватилась в ужасе за щеку и откатнулась. Они поднимались по лестнице. Сзади шел врач. За ним несколько человек из толпы и дети этого дома.

— Что случилось? Что случилось, Дэви?

Открывались двери. Знакомые голоса кричали в коридорах.

— Это он! Сверху. Где драка была!

Чем выше они поднимались, тем тяжелее дышал полисмен, обдавая щеку Давида своим горячим дыханием.

Последний этаж. Окошко над дверью освещено. Они там. Что они скажут? Он простонал от страха.

— Где же это? — устало спросил полисмен.

— Вот, вон там! — слабо показал он.

Перед ним стояла мать, глядя напряженно и испуганно. Ее рука лежала на плече отца, сидящего рядом. Его щека лежала на кулаке, глаза были подняты. Они горели, как пламя. В них было оскорбление и жесткий, как удар кнута, вопрос. Больше никого не было. Давиду показалось, что целый век они смотрели друг на друга, замерев вот так. И потом, как только полисмен заговорил, мамина рука метнулась к груди, ее лицо стало белым, исказилось от ужаса, и она закричала. Отец отбросил стул и вскочил на ноги. Его глаза выпучились, челюсть отвалилась, и он побледнел.

На короткое мгновение Давид почувствовал сильный прилив торжества над побелевшим, согнувшимся отцом, и потом комната вдруг потемнела и закружилась.

— Давид! Давид! — прорвались сквозь туман крики матери. — Давид! Давид! Родимый! Что это! Что случилось?

— Спокойнее, миссис! Спокойнее! — Давид почувствовал, как полисмен отставил локоть, чтобы оттеснить магь. — Дайте слово сказать! С ним все в порядке! Ничего особенного! Эй, док!

Врач ступил между ними, и Давид сквозь застывший глаза мрак видел, как он решительно отводит мать в сторону.

— Ну! Ну! Не возбуждайте его, леди! Это вредно! Это вредно для него! Вы его пугаете! Понимаете? Нихт вер... Шлехт! Ферштейн зи? — повторил он на идиш.

— Давид! Дитя! — не слушая, стонала она, надрывно, истерично, одну руку протягивая к нему, а другой хватаясь за волосы. — Твоя нога! Что это? Что это, дорогой?

— Положи его на кровать! — махнул нетерпеливо врач в сторону спальни. — Слушайте, мистер, попросите ее не кричать. Нет причины так волноваться! Ребенок уже вне опасности! Он просто ослаб!

— Геня! — заговорил отец, и стало видно, что он по-

трясен. — Геня! Хватит! Хватит! — воскликнул он на идиш. — Он говорит, ничего страшного. Хватит!

Из толпы соседей, собравшейся на лестнице, наиболее смелые начали перетекать через порог и располагаться вдоль стен кухни. Некоторые из них даже начали делать замечания. Они с неодобрением показывали пальцами на отца и осуждающе качали головами. Когда Давида несли в спальню, он слышал, как кто-то прошептал на идиш: "Скандал! Они ссорились насмерть!"

В желанной полутьме спальни его положили на кровать. Мать, все еще вскрикивая, шла за ними, и за ней, придерживая ее за плечо, врач. За ними бледные, искаженные лица соседей заполнили дверной проход. В приливе бешенства Давид судорожно сжал кулаки. Почему они не уходят? Все они! Почему не перестанут указывать на него пальцами?

— В этот самый момент я хотела идти вниз! — мать плакала и ломала руки. — В этот самый момент я хотела идти искать тебя! Что это, дорогой? Это болит? Скажи мне!

— Ах, миссис! — полисмен раздраженно махнул рукой. — Он в порядке. Будьте благоразумны! Небольшой ожог и все. Небольшой ожог. Вы что, не видите, что с ним ничего страшного!

Она смотрела на него, не понимая.

Врач раздел Давида, расправил простыни и закутал его в одеяло. Гладкая простыня обласкала прохладой пульсирующую ногу.

— Теперь, — врач выпрямился и решительно повернулся к матери, — вы не поможете ему слезами, леди. Если хотите помочь, заварите ему чаю, и много.

— Чай, миссис Шерл, — из толпы выступила женщина. — Махт ему чай!

— Чай?

— Да! Чай! — повторил врач. — Быстро! Шнель!

Мать оцепенело повернулась. Женщина предложила свою помощь. Они вышли.

— Ну, парень, как дела? — улыбнулся врач. — Все в порядке?

— Д-да.

— Вот это парень! Еще немного и все будет совсем в порядке.

Врач повернулся, чтоб уйти. Толстая женщина с голыми руками стояла за ним. Давид узнал ее. Она жила на их этаже.

— Доктор! — торопливо зашептала она. — Нужно было видеть, что за драка здесь была! — Она съежилась и закачалась. — Ой-ой-ой! Уй-уй-уй! Он, этот человек, его отец, он его бил! Ужас! Ужасный человек! И здесь были их родственники, и они дрались. Ой-ой-ой! С криками! Со скандалом! И потом они выгнали мальчика из дому. И потом выгнали из дому родственников! А мы слушали, и этот человек плакал: "Я сумасшедший! Я сумасшедший! Я не знаю, что я делаю!" Ой!

— Вот как? — безразлично произнес врач.

— Это было ужасно! Ужасно! И, доктор, — она взяла его за руку, — может, вы мне скажете, почему мой сын Эликс ничего не ест. Я даю ему яйца и молоко, а он ничего не хочет. Что делать?

— Не знаю! — Врач вырвался от нее. — Сходите к доктору.

— Ох ты умница! — плюнула она ему вслед. — Ты что, за каждый вздох деньги получаешь?

Вернулась мать. Ее волосы были растрепаны. На ее ресницах еще блестели слезы, хотя она и перестала плакать.

— Через минуту будет чай, дорогой. Сильно болит?

— Н-нет, — соврал он.

— Они говорят, что ты был там, где рельсы. Как ты туда попал? Почему ты туда пошел?

— Я не знаю, не знаю, — ответил он. И это была правда. Он не мог сказать сейчас, почему он пошел. Он только помнил, что что-то заставило его, что-то, что было ясно и неизбежно, но с каждой проходящей минутой становилось все более непонятным. — Я не знаю, мама.

Она простонала и осторожно опустилась на кровать. Толстая женщина с голыми руками положила ей руку на плечо.

— Бедная миссис Шерл! — сказала она с лицемерной жалостью. — Бедная миссис Шерл! Зачем спрашивать его? Разве вы не знаете? Разве они думают о нашем кровоточащем, верном материнском сердце! Сколько слез мы должны пролить, пока увидим их взрослыми. Наши дети приносят нам страдания. И наши мужчины. Увы, наша горькая доля!

Она сложила руки на своем пухлом животе и горестно закачалась.

Мать ничего не ответила. Она напряженно смотрела в его глаза.

Из кухни было слышно, как полисмен допрашивал отца, и отец отвечал оцепенело, с дрожью в голосе. Чувство торжества снова шевельнулось в нем оттого, что отец заикался и был потрясен.

— Да, да, — говорил отец, — мой сын. Мой. Да. Восемь лет. Восемь лет и-и один месяц. Он родился в...

— Минуточку! — прервал его полисмен. — Док, пока вы не ушли, скажите, я правильно все сделал? Ну эту, первую помощь.

— Конечно! Прекрасно! Я бы сам лучше не сделал.

— Если мне понадобится рекомендация...

— Конечно, конечно, — засмеялся врач. — Я оставил для вас рецепт, мистер. На столе. Смажете лодыжку сегодня и завтра. Корка отпадет через день-два.

— Да.

— И если завтра он будет плохо себя чувствовать, приходите в Госпиталь Святого Имени. Адрес на рецепте. Но все будет в порядке. О'кей, лейтенант, увидимся.

— Да. Пока, док.

Вошла женщина, неся чашку чая. Мать молча подоткнула подушку ему под спину и стала поить его с ложечки. Он вздыхал, чувствуя, как возвращается жизнь. Но пока ее хватало только на то, чтобы чувствовать

слабость в теле. Между простынями больше не было прохладных мест для повреждений ноги.

— Скажите, — слышался голос полисмена, — вам нужны все эти люди здесь?

— Я — мне, — робко ответил отец. — Я — вы...

— Конечно. Пошли, девочки. Ребенку нужен покой. Шарканье ног и тихие протесты.

— Я принес ботинки и носки Дэви, мистер, — протрубил детский голос. — Мы с ним ходим в один хедер.

— Молодец! Оставь их здесь. Выходите, выходите.

Ноги прошаркали через порог, голоса стихли. Дверь закрылась.

Чай кончился. От внезапной волны жара, заполнившего его усталое тело, у него на лбу и губах выступили точки пота. Белье прилипло к телу. Простыни стали влажно-теплыми и неудобными. Он подполз к прохладному краю кровати, где сидела мать, и обмяк, упав на спину.

— Еще? — спросила она, ставя чашку на подоконник.

— Нет, мама.

— Ты ничего не ел с самого утра, мой родной. Ты ведь хочешь есть, правда?

Он отрицательно покачал головой.

Отец появился в дверном проеме, и черты его лица были неразличимы в темноте. Только блеск глаз, направленных на распухшую, серую лодыжку. Мать заметила взгляд отца и тоже посмотрела на вздувшуюся ногу. Ее трудное дыхание свистело между губ.

— Бедный малыш! Бедный мальчик!

Отец положил тяжелую руку на косяк.

— Он написал название какого-то лекарства, — сказал он хрипло, — намазать на ногу.

— Да? — она приподнялась. — Я пойду принесу.

— Сиди! — В его властном тоне не было обычной силы, точно он говорил скорее по привычке, чем по убеждению. — Я быстрее принесу. Твои соседки не задержат меня своими языками. — Но он не двигался с места. — Доктор сказал, ему станет лучше через день-два.

Она молчала.

— Я говорю — ему через день-два будет лучше, — повторил он.

— Да. Конечно.

— Что?

— Ничего.

Пауза. Отец прочистил горло. Когда он заговорил, в его голосе была странная резкость, как будто он в одно и то же время сдерживал и подталкивал себя.

— Ты-то считаешь, что это моя вина, да?

Она устало покачала головой.

— Какой смысл говорить о вине, Альберт? Кто мог это предвидеть? И если уж говорить о вине, то моя тоже здесь есть. Я никогда тебе не говорила. Я позволила ему услышать это много месяцев назад. Я даже уводила его вниз... чтобы...

— Чтобы защитить его — от меня?

— Да.

Зубы отца скрипнули. Его грудь поднялась.

— Пойду, принесу. — Он тяжело повернулся на пороге.

Твердые, неэластичные шаги отца пересекли пол кухни. Дверь открылась, затем затворилась. Волна тихой жалости поднялась в груди Давида, как в глубине тех зимних ночей, когда он просыпался и слышал эти твердые шаги на лестнице.

— Может, ты скоро захочешь есть, — убеждала мать. — Когда отдохнешь немного, и мы положим тебе лекарство на ноги. Немного молока и яйцо. Будешь это есть?

В ее вопросе звучало утверждение, и ответ не требовался.

— И потом ты заснешь и забудешь все это. — Она помолчала. Ее темные глаза искали его взгляд. — Засыпаешь, любимый?

— Да, мама.

Наверно это сон. Именно в то время, когда он засыпал, каждое движение его век вызывало вспышки в темноте, зажигало множество живых образов в

темных углах спальни: неровные блики на роликовых коньках, сухой свет на серых каменных ступенях, острый блеск рельсов, масляное мерцание ночной реки, свет на тонких, белых волосах, на красных лицах, на открытых ладонях множества и множества рук, протянутых к нему. Наверно это сон. Только во сне у его ушей была эта власть вызывать к жизни вопли, хриплые голоса, возгласы страха, колокола, дыхание, рев толпы и все звуки, таящиеся в тиши прошлого. Только во сне можно было чувствовать, что все еще лежишь на камнях, и слышать бегущие ноги, бегущие по твоему телу и через него, и чувствовать не боль, не страх, а невероятнейшее торжество, небывалое согласие. Наверно это сон.

Он закрыл глаза.

עיריית חיפה
מזכרת תרבות הפנאי
תרבות לעולים
גרשטיין - ספריה
.....

1222

СОДЕРЖАНИЕ

	От издательства	7
Книга I	Подвал	23
Книга II	Картина	145
Книга III	Уголь	208
Книга IV	Рельсы	253

РАНЕЕ ОПУБЛИКОВАННЫЕ КНИГИ:

- 1—2. Леон Юрис. ЭКСОДУС
3. Д-р А.И. Кауфман. ЛАГЕРНЫЙ ВРАЧ
4. Сарра Нешамит. ДЕТИ С УЛИЦЫ МАПУ
5. Арие (Лева) Элиав. НАПЕРЕГОНКИ СО ВРЕМЕНЕМ
6. Д-р Е. Хисин. ДНЕВНИК БИЛУИЦА
7. Макс Брод. РЕУВЕНИ, КНЯЗЬ ИУДЕЙСКИЙ
8. 6 000 000 ОБВИНЯЮТ. (Процесс Эйхмана.)
9. А. И. Гешель. ЗЕМЛЯ ГОСПОДНЯ
10. НА ОДНОЙ ВОЛНЕ. Еврейские мотивы в русской поэзии
11. Натан Альтерман. СЕРЕБРЯНОЕ БЛЮДО
12. Шаул Черниховский. СТИХИ И ИДИЛЛИИ
13. Теодор Гершль. ИЗБРАННОЕ
14. Ахад-Гаам. ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ
15. Арон Мегед. ХЕДВА И Я
16. Яков Цур. И ВОССТАЛ НАРОД МОЙ
17. Р. и У. Черчилль. ШЕСТИДНЕВНАЯ ВОЙНА
18. Стихи советского еврея. ПРИДЕТ ВЕСНА МОЯ
19. Говард Фаст. МОИ ПРОСЛАВЛЕННЫЕ БРАТЬЯ
20. И. Домальский. РУССКИЕ ЕВРЕИ ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
21. Игал Алон. ОТЧИЙ ДОМ
22. Юлия Шмуклер. УХОДИМ ИЗ РОССИИ
23. Хана Сенеш. ДНЕВНИК
24. ЕВРЕИ В СОВЕТСКОЙ РОССИИ (1917—1967)
25. Ш.Й. Агнон. ИДО И ЭЙНАМ. Рассказы, повести, главы из романов
26. Элизер Смоли. ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ
27. Товия Божиковский. СРЕДИ ПАДАЮЩИХ СТЕН
28. ОЧЕРК ИСТОРИИ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА I
29. ОЧЕРК ИСТОРИИ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА II
30. А. Итай и М. Нейштат. ЧЕРЕЗ ТРИ ПОДПОЛЬЯ
31. Эли Люксембург. ТРЕТИЙ ХРАМ
32. С. Г. Фруг. СТИХИ И ПРОЗА
33. КНИГА БРАТЬЕВ
34. ЭРЕЦ-ИСРАЭЛЬ. ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК
35. Дж. и Д. Кимхи. ПО ОБЕ СТОРОНЫ ХОЛМА
36. И. Башевис-Зингер. РАБ
37. Р. Бонди. ЭНЦО СЕРЕНИ
38. Иегуда Галеви. СЕРДЦЕ МОЕ НА ВОСТОКЕ
39. Шломо Цемах. ГОД ПЕРВЫЙ
40. Шаул Авигур. С ПОКОЛЕНИЕМ ХАГАНЫ

41. Ханох Бартов. ВОЗМУЖАНИЕ
42. Ружка Корчак. ПЛАМЯ ПОД ПЕПЛОМ
43. Бернард Маламуд. ПОМОЩНИК
44. ДРУЗЬЯ РАССКАЗЫВАЮТ О ДЖИММИ
45. МОЙ ПУТЬ В ИЗРАИЛЬ
46. Моше Натан. БИТВА ЗА ИЕРУСАЛИМ
47. Ицхак Маор. СИОНИСТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В РОССИИ
48. Ицхак Шенхар. СЫНЫ ЗДЕШНИХ МЕСТ

לכבוד
הנהלת "ספריית-עליה"
רח' בארי 14, חדר 208
תל-אביב
טל. 221262

1. Стоимость одной книги серии
"БИБЛИОТЕКА-АЛИЯ" — 25 изр. лир.

2. Стоимость 12 книг — 216 изр. лир.

Прошу выслать мне 12 из опубликованных книг.

(Указать номера книг)

Прилагаю чек на сумму 216 изр. лир.

Прошу выслать мне 6 из опубликованных книг.

(Указать номера книг)

Прилагаю чек на сумму 108 изр. лир.

Мой адрес:

Имя и фамилия

Подпись.

**Книга издава при учасии
Мифал Хапаис**

ГОТОВЯТСЯ К ВЫПУСКУ

СОЦИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ И СОЦИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА. Исторические очерки. Пер. с английского.

Сборник статей израильских и западных ученых и специалистов был подготовлен к изданию организацией ЮНЕСКО (Париж) при содействии Израильской национальной комиссии ЮНЕСКО.

Ахарон Мегед. ЖИВОЙ НА МЕРТВОМ. Роман. Пер. с иврита.

Ахарон Мегед (р. 1920) принадлежит к группе израильских писателей пальмаховского поколения. Автор в своей проблемной книге "Живой на мертвом" (1970) описывает в нелестных красках современное израильское общество, утверждая, что преемники первых пионеров не осуществили их чаяний и надежд.

Иосеф Гедалия Клаузнер. КОГДА НАЦИЯ БОРЕТСЯ ЗА СВОБОДУ. Избранные статьи по еврейской истории. Пер. с иврита.

Проф. И.Г.Клаузнер (1874—1958), еврейский ученый — историк и литературовед, а также критик, эссеист, редактор, публицист, оратор и видный сионистский деятель. Был одним из основоположников возрождения литературы и культуры на языке иврит. Он — основатель кафедры литературы на иврите в Иерусалимском университете; профессор еврейской истории периода Второго храма.

Проф. И.Слуцкий. ИСТОРИЯ ХАГАНЫ. 2 книги. Пер. с иврита.

Книга представляет сокращенный вариант многотомного труда "История Хаганы". Вместе с автором читатель проделывает нелегкий путь с момента возникновения еврейской самообороны в Эрец-Исраэль (Хашомер и др. оборонительные организации) и до последних этапов деятельности боевой организации Хаганы, созданной еврейским ишувом в 20-е гг.